

С. Липкин

ВТОРАЯ ДОРОГА

Зарисовки и соображения

**Москва
Олимп
1995**

С. Липкин

ВТОРАЯ ДОРОГА

Зарисовки и соображения

Москва
Олимп
1995

Семену Израилевичу Липкину Фондом Альфреда Тепфера в Гамбурге присуждена Пушкинская премия 1995 года за вклад в русскую литературу.

Липкин С.

Л61 Вторая дорога. Зарисовки и соображения. — М.: Олимп, 1995. — 272 с.

ISBN 5-7390-0377-6

ББК. 84(2Рос-Рус)6

© С. И. Липкин, 1995
© Агентство «Олимп», 1995

ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА

Много прекрасного, значительного связано в моей душе с небольшим кварталом Пушкинской улицы между Троицкой и Жуковской. Начать с того, что здесь, поближе к Троицкой, я провел первые два года своей жизни и потом часто приходил с отцом к прежним соседям, которые громко и певуче удивлялись тому, как я вырос, ласкали меня и угощали коржиками, и каждый раз отец со вздохом показывал мне двери, наполовину стеклянные, с приподнятыми шторами, и единственное окно того магазинчика, который он вынужден был покинуть, запутавшись в долгах, — по вине моей матери, не забывал он повторять, и наша семья перебралась, к стойкому огорчению матери-фантазерки, в дом победнее, попроще, в Овчинниковском переулке, где я жил до своего отъезда в Москву и где, задыхаясь от астмы, от эмфиземы легких, умер в муках мой отец.

Дом — двухэтажный, шестнадцать квартир — принадлежал французувиноторговцу, сам он жил в другом месте, а здесь, в длинном подвале, зарешеченном со стороны улицы, хранилось вино, и запах его был прочнее менявшихся после революции властей, и только при окончательно укрепившихся большевиках он окончательно исчез.

Мне было пять лет, когда нас с отцом позвала к себе на Пушкинскую бывшая соседка, кормившая себя и двух маленьких детей шитьем мужского белья: ее муж уехал в Америку, и о нем не было ни слуху ни духу. Мама тоже была приглашена, но не пошла, она ревновала отца к этой безмужней женщине. А та пригласила нас к себе из-за необычайного события: она жила на втором этаже, и у нее был балкон, выходивший на улицу, и с балкона можно было в этот день увидеть приехавшего в Одессу царя. Для отца это было небезопасно, он вел социал-демократическую пропаганду среди рабочих мелких мастерских. Шла война, он был оборонцем, сторонником Плеханова, но находился на сильном подозрении у полиции, редко ночевал дома, прятался там, где работал закройщиком, в мастерской богатого военного портного на Новосельской, в новом доме эклектической пышной архитектуры, ровеснике века. А если он ночевал дома, то наш городской, толстоногий и сивоусый, как Тарас Бульба, всегда пах-

нувший кислыми щами и крепким табаком, предупреждал его заранее о возможном обыске: городской получал от мамы краененькую каждый месяц.

Отец назначил нам свидание у фонтана в Александровском садике, недалеко от нашего переулка, мама привела меня к нему, он взял меня за руку, в другой руке он сжимал серебряный набалдашник трости, и мы отправились на Пушкинскую. Сейчас вряд ли кто поверит, что человек, скрывавшийся от полиции, настраивающий рабочих против существующего строя, мог свободно идти по центру города, да еще с какой целью? Посмотреть на царя!

Дойдя до Главной синагоги, мы уже издали услышали голоса военных труб. Кстати, именно эта синагога дала свое название Еврейской улице, точно так же как Троицкая получила свое название потому, что в конце этой улицы, в начале парка, располагался монастырь св. Троицы, белые здания которого, в чудной своей чистоте выглядывавшие из густой зелени, были уничтожены во время гражданской войны. А следующая улица именовалась Успенской в честь круглившейся на другом конце, на Преображенской, поныне действующей соборной церкви Успения Божьей Матери. То, что в портовом, пестром городе наименования улиц были обязаны храмам или названиям народов — имелись и Лютеранский переулок, и Польский спуск, и Греческая, и Итальянская, и Французский бульвар, а в том же парке, который начинался монастырем, над самым морем сохранялись мусульманские арки турецкой крепости, — придавало многонациональной Одессе своеобразную красочную прелесть, и не потому ли двуединство религии и нации так рано и сильно осветило мое детское сознание?

Мы свернули на Пушкинскую. Показалась важная процессия. Она двигалась от вокзала по направлению к Николаевскому бульвару, к Воронцовскому дворцу, предназначенному для краткого пребывания царя. По обе стороны улицы стояли любопытные. То не были знатные люди, допущенные по специальным пропускам, кто хотел, тот и пришел, и места впереди, у кромки тротуара, достались не самым проверенным, а самым прилежным.

Нас никто не вздумал останавливать, мы спокойно поднялись на второй этаж. Изю всех окон, с балконов старались разглядеть царя обитатели Пушкинской и их знакомые, большей частью евреи. У нас в городе улицы нередко делились на отрезки, соответствующие материальному и сословному положению жителей. На Пушкинской, начиная от вокзала, вдоль перпендикулярных к ней Новорыбной и Старорезничной с их Привозом, Большой и Малой Арнаутскими (свидетельство, что здесь когда-то селились албанцы, иначе — арнауты), Базарной, Успенской, Троицкой и Еврейской, сосредоточились дешевые, пользовавшиеся дурной славой номера, лавки ремесленников и мелких торговцев, хорошо помню бедную синагогу в глубине обшарпанного двора, а потом, начиная с Жуковской и Полицейской, улица богатела, чванилась, постепенно становилась частью Средиземноморья, появлялись великолепные дома и кариатиды могущественных банков, сверкающие надменной роскошью магазины, изуми-

тельное здание биржи (теперь там зал филармонии), построенное и украшенное итальянскими архитекторами и скульпторами, Бродская синагога толстосумов, воздвигнутая галицийскими выходцами из города Броды, первая в Одессе хоральная синагога с органом, с готическими башенками и вытянутыми, узкими готическими окнами, теперь полуразрушенная, — в сохранившейся изуродованной части размещено какое-то архивное управление.

Когда-то Пушкинская была многоцветной. Говорят, что такой ее впервые увидел Пушкин. Сухие ветры, горячее солнце Новороссии, осенние и зимние дожди, годы военного коммунизма и сплошной коллективизации погубили яркую окраску стен, штукатурку, но при мне в широких, гулких, загаженных, но веющих прежней роскошью парадных еще сохранились росписи. Не знаю, обладали ли они художественной ценностью, но помню то чувство праздника, приобщения к иному, зовущему, загадочному миру, которое охватывало меня, когда я, босоногий, забегал в чужие богатые парадные и смотрел на нарисованных людей и птиц, живущих незнакомой, может быть, вымышленной жизнью.

Конный кортеж двигался медленно. В толпе зевак виднелся только один городской. Он часто крестился, держа в левой руке фуражку. Буколические, беспечные времена — преступно беспечные, как вскорости выяснилось. Я просунул голову сквозь витую ограду балкона, мне мешал высокий платан. Царя я не запомнил, хотя мне на него указывали, — вот он, на лошади, но другие военные тоже сидели верхом, а кто из них царь?

Моя двоюродная сестра Дора, которая была на шесть лет старше меня, рассказывала, что она видела, на той же Пушкинской, не только царя, но и наследника, когда они приехали в Одессу в связи с 300-летием дома Романовых. Это было в год моего рождения. Сестру поразило, что наследника почему-то нес на руках огромный матрос. Наследник был в военной форме.

Этот рассказ так глубоко врезался мне в память, что я постепенно привык к мысли, будто я сам, собственными глазами, видел наследника. Он стал мне казаться существом сказочным, но близким, ведь он тоже был мальчиком, как и я. Мальчик, а одет, как военный. И еще то необыкновенно, что его нес на руках матрос. Наверно, так полагается? И вот я уже о нем рассказывал другим мальчикам, когда стал учиться в гимназии, рассказывал с подробностями, каждый раз все более уточнявшимися. Фантазерство я унаследовал от матери.

О наследнике я расспрашивал отца. «Несчастный ребенок», — пожалел его папа, глядя на меня печальными синими глазами. Я не забыл эти слова. Повторяю, я думал, что так полагается, чтобы матрос нес цесаревича на руках. Когда по пятницам я посещал с отцом баню Исаковича, я видел на худом отцовском теле бледно-розовые полосы, которые навсегда остались после ударов казачьих нагаек в 1905 году, и вот бунтовщик пожалел большого царского сына. Ох, недаром Ленин терпеть не мог меньшевиков!

Как давно это было! Мы выписывали «Ниву», некоторые старые номера сохранились в доме и после революции, и я хорошо помню тот фотоснимок, о котором так пронзительно написал Георгий Иванов:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно.
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица,
И как безнадежно бледны
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны.

Может быть, в моей памяти остались жить и другие фотоснимки тех бездну канувших лет и я соединяю с ними действительно пережитое?

Задумав эти записки, я решил, что буду писать, доверяясь только, побатюшковски, «памяти сердца», никуда не заглядывая, ни в старые газеты, ни в справочники, даже вот эти строки Георгия Иванова цитирую по памяти. Пусть страницы записок будут палимпсестом моей души, пусть прежние годы сами собой оживут под тем, что начертано годами более поздними.

Мой земляк, который в 1916 году, в день приезда царя, уже заканчивал гимназию, рассказывал мне: царь свернул с Пушкинской на Преображенскую, чтобы помолиться в Соборе. Против Собора выстроилась шеренга любопытствующих гимназистов. Помолившись, царь вышел, закурил, но быстро бросил папиросу на мостовую. Между ним и гимназистами не было никакой охраны. Из шеренги выбежал мой земляк и поднял окурок. Папироса была не фабричная, на гильзе виднелся золотой ободок...

О меньшевизме отца. Он вовлекся в рабочее движение на рубеже двух столетий, сживал в царских тюрьмах, где пристрастился к чтению. Теперь кажется невероятным, что политический заключенный имел возможность в тюрьме читать русских и иностранных классиков, римскую историю Моммзена, популярные книги Рубакина, Мечникова. А еще с воли как-то добирались до арестантов и сочинение Каутского «Экономическое учение Карла Маркса», и более опасные. У отца была могучая память самоучки — он знал наизусть рассказы Чехова, Горького, Куприна, Короленко и даже роман Достоевского «Идиот». Однажды в Киеве ему удалось попасть в тюрьму вместе с родственником (племянником, кажется) сахарозаводчика Бродского, и богатая семья присылала лукулловы обеды всем политическим. Нет, что ни говорите, а такое неразумное государство должно было рухнуть.

После революции 1905 года отец, снова посаженный в тюрьму, а потом отправленный в ссылку в Сибирь, бежал по фальшивому паспорту за границу, стал эмигрантом, жил несколько лет в Париже, научился свободно (возможно, с ошибками) говорить по-французски. Он рассказывал мне: у него заболели зубы, товарищи посоветовали ему обратиться к врачу социал-демократу, живущему, как и они, в Париже в эмиграции. То был Раковский, впоследствии председатель Совнаркома Украины, а при дальнейшем последствии — расстрелянный как троцкист.

Рабочий портновской мастерской обалдел, когда вошел в буржуазную квартиру зубного врача. Товарищ по партии осмотрел его рот и на ломаном русском языке не то болгарина, не то румына сказал: «Вам надо се-

рзезно лечиться, у меня вам будет не по карману, я вас направлю к другому врачу».

В 1910 году отец вернулся в Россию, женился на моей матери, а когда началась мировая война, постепенно отошел от революционной деятельности, разделяя патриотическую позицию своего божества — Плеханова. Большевиков он терпеть не мог и откровенно высказывал свои чувства в советские годы. Впрочем, он был не оригинален, в нашем переулке, да и во всем городе, жители не терпели большевиков, за редким исключением. Отцовскими высказываниями соседи объясняли арест отца летом 1925 года, но они ошибались, дело было не в болтовне: в это время, когда покончили с выходцами из буржуазных партий, стали по всей стране сажать бывших эсеров, меньшевиков, бундовцев, анархистов. Отца поместили в камеру вместе с известным в городе журналистом Соколовским-Седым, чья дочь была первой женой Троцкого. Я привозил им в ДОПР (дом принудительных работ — такой псевдоним выбрала себе тюрьма) хлеб, халву, пшенку с солью и сифон сельтерской. Мальчишке разрешалось навещать заключенных каждый день. Трамвай двигался по Люстдорфской дороге, он был битком набит крикливыми женщинами, подростками, детьми, жаждущими искупаться у берегов немецкой колонии, и только я один не устремлялся к морю. С трудом протискиваясь сквозь потную и плотную груды тел, я выходил на остановке около кирпичных зданий камер и мастерских. А напротив вольно и пусто пылилась и зеленела степь.

От политических заключенных требовали, чтобы они отреклись от своего прошлого. Соколовский-Седой в конце концов сдался, он и отца уговаривал сдать: «У вас маленькие дети, на стороне большевиков не только сила, но и историческая правота», но отец стоял на своем: «От политической деятельности отошел давно, но в ней не раскаиваюсь, я сторонник Плеханова и Каутского». Вскоре он остался в камере один, Соколовского-Седого выпустили. Ничего не знаю о его дальнейшей судьбе. Отца, просидевшего около полугода, тоже выпустили, взяв с него подписку, что он впредь не будет заниматься политикой.

Это произошло на пятом в нашем городе советском году. До этого, как известно, власти у нас менялись часто. При Деникине мне удалось поступить в старший приготовительный класс пятой гимназии. Я выдержал экзамены на все пятерки — иначе я вряд ли попал бы в гимназию. Готовил меня мой дядя Абрам, занимавшийся репетиторством, он давно окончил частную гимназию, но в университет поступил тогда же, когда я в гимназию, ему было далеко за тридцать. Осенью 1941 года его убили немцы где-то под Новороссийском. Как репетитор, он пользовался уважением, недурно зарабатывал. Я ему обязан еще и тем, что он научил меня основам русской версификации, и я уже в детстве мог отличить не только ямба от хоря, но и амфибрахий от анапеста и дактиля.

Гимназия помещалась далеко от нашего дома, в полчаса ходьбы, и по той же Пушкинской улице я шел вплоть до Новорыбной, в конце которой, около Земской, поближе к морю, виднелось справа до сих пор меня волнующее многоэтажное серое здание. Пятую гимназию, с присущей ему ху-

дожественной точностью, описал Валентин Катаев, там преподавал его отец, там он и сам учился, конечно, задолго до меня. Среди моих друзей есть такие, которые считают меня образованным человеком, это ошибка, просто все одичали, однако должен сказать, что если я что-нибудь знаю, то это благодаря тому, что я проучился полтора года в гимназии, а когда пришли и прочно утвердились большевики, то в новой, советской школе остались прежние учителя, мы еще долго учились по старым учебникам, даже латынь у нас ликвидировали не сразу, а лишь тогда, когда от голода умер преподаватель.

Я любил свою гимназию, любил метлахские плитки длинного зала, высокие окна в сад, высокие классы, до которых доходил шум поездов, — вокзал был близко, любил учителя словесности Петра Ивановича Подлипского, стройного, седого, но еще не старого статского советника с орденом на сюртуке — говорили: Станислава второй степени. Зажмурив глаза, он читал нам Полонского, — помню его молодой, высокий голос, — «Думы с ветром носятся, ветру не догнать». Он преподавал и в советское время и выделял меня из гущи учеников, потому что я с чувством и разумением декламировал на уроках стихи Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Никитина.

Еще я любил подниматься в гимназии на второй и третий этажи, где учились старшеклассники, уже разделенные политическими убеждениями, и на самый последний, четвертый этаж — его занимала церковь св. Алексея: так, сказали мне, она была названа в честь наследника. По большим праздникам там молились и жители соседних домов.

Я забыл, как она была устроена, помню только странное для мальчика, выросшего в многонациональном городе торговли, мореплавания и ремесел, чувство благоговения и неосознанного умиления, которое нежно овладевало мной в гимназической церкви. Точно такое же чувство, всегда свежее, я испытывал потом в других церквях — и в Соборе (он уничтожен) на Преображенской рядом с домом Попудова, и в костеле на Екатерининской, с его яркостью и живой наглядностью изваяний, и на той же Екатерининской в греческой церкви с витражами на евангельские темы, и в католическом храме св. Петра на Гаванной, который, направляясь по спуску к морю, посещали француженки-модистки и пузатые виноделы и кондитеры, и в кирке на Новосельской, в которую важно, с сознанием своего превосходства богатых, набожных крестьян вступали целыми семьями окрестные лютеране, а в более поздние годы — в калмыцком хуруле, где старенький, изнутри светящийся отрешенной добротой гелюнг подарил мне маленького Будду-Майтрейю, чтобы мне была помощь в работе над переводом священного эпоса, и в мечетях Самарканда и Бухары, и в бурятском дацане, и, наконец, в индуистских храмах в Дели, Мадрасе, Калькутте. Бог в этих храмах был тот же, что и в синагоге, тот же, что и во мне, но в синагоге я жил дома, а в тех храмах я был в гостях у приветливых, благочестивых хозяев.

Кроме преподавателя русского языка моим покровителем в гимназии был батюшка Василий Кириллович Флоря, по происхождению молдаванин. Я посещал его уроки Закона Божьего, хотя был от них освобожден.

Ему была по душе моя детская религиозность. Я продолжал с ним дружить, когда стал московским студентом, и по-прежнему, как в детстве, бывал у него в доме на улице Петра Великого, недалеко от кирпичи и консерватории. Был он небольшого роста, худенький, всегда улыбающийся, на морщинистом личике жгуче выделялись выпуклые цыганские глаза, волосы у него были длинные, но редкие. В конце первой мировой войны рядом с его квартирой во флигеле в глубине двора поселилась семья евреев—беженцев из Галиции, там был мальчик по имени Цаля, который через чердак забирался на крышу основного дома и плясал на самом краю ее, к ужасу прохожих. Василий Кириллович бранил его басурманом. Когда при петлоровцах в городе ожидали погрома, Василий Кириллович прятал Цалю у себя, Цаля этого не забыл и, когда вырос, приносил дошедшему до полунищеты Василию Кирилловичу деньги под православные праздники, а то приводил живого индюка: отец Цали при нэпе разбогател.

Будучи московским студентом, я в пору каникул снабжал Василия Кирилловича книгами, которыми тогда увлекся: изданными до революции сочинениями Хомякова, Данилевского, Бердяева, Булгакова, Мережковского, Гершензона. Батюшка внимательно их читал, ему кое-что нравилось, но суждения его были скорее отрицательными: «Все хотят обосновать, у протестантов научились, головой веруют, а не сердцем. Вот Хомяков верует сердцем, на других не похож».

Приехав в 1933 году на каникулы, я, как всегда, пришел навестить его, но в квартире жили уже другие люди, Василия Кирилловича отправили, как мне сказал Цаля, учившийся в мореходке, на Соловки, там он погиб. Не знаю, что стало с матушкой и тремя их рослыми, в мать, длинноносыми дочерьми, они вынуждены были переселиться на окраину города, в самый конец Градоначальнической, Цаля их перевозил, дал мне их адрес, но я поленился к ним пойти, объясняя самому себе это тем, что я мало с ними общался. Мой грех.

Моим учителем в гимназии был преподаватель истории Игнатий Кузьмич Лысяк — несмотря на то, что я увлекался его предметом, старательно учился (я хорошо учился в средней школе и посредственно в высшей). Игнатий Кузьмич во время занятий зло смеялся над тем, что я, посещая уроки Василия Кирилловича, одновременно, после гимназии, хожу в хедер, — не знаю, как дошли до него эти верные сведения. Не думаю, что я был очень наблюдательным мальчиком, но я заметил, что, когда в городе властвовали французы, немцы (австрийцы) или — недолго — большевики, Игнатий Кузьмич ко мне не придирался, но стоило город занять добровольцам или одной из украинских банд, как житья мне от него не было. Его предмет, историю, мы изучали по учебнику Иловайского, того самого, на дочери которого был женат первым браком отец Марины Цветаевой... Учебник начинался словами: «Наши предки славяне...» — а в классе наряду с украинцами, русскими, поляками сидели сыновья армян, греков, немцев, караймов и два еврея — я и Дуська Гренадер, впоследствии майор НКВД по строительной части. Лысяк меня невзлюбил еще с того дня, когда я поступал в гимназию. Главный экзамен принимали

сразу три преподавателя — русского языка, истории и Закона Божьего. Я должен был прочесть наизусть стихотворение («с выражением»), назвать коренные слова (то есть с буквой «ять»), ответить на вопросы, связанные с историей, — стихотворения подбирались экзаменаторами соответствующим образом. На мою долю выпала пушкинская «Песнь о вещем Олеге». В начале дело пошло хорошо. Стихотворение прочел «с выражением» и коренные слова назвал правильно, четко ответил и на вопрос батюшки — кто был Олег, почему у него неславянское имя. Игнатий Кузьмич, пододвинув верхней губой густые усы к изогнутому и заостренному, гоголевскому носу, как будто в рот ему попала какая-то кака, спросил:

— Не попытаетесь ли вы нам объяснить, почему Пушкин назвал хазар неразумными?

Я не ограничивался Иловайским, жадно читал купленные мне отцом (вместе с ним читал) книги по истории древних и средних веков, хазары будоражили мое воображение, так как были единственным послебиблейским народом, принявшим иудейство, я сумел ответить на вопрос довольно подробно. Но Игнатия Кузьмича я раздражал самым своим существованием, это было ясно всем. Он задал новый вопрос:

— Может быть, вам известно название столицы хазарского царства и где она была расположена?

В учебнике об этом не было ни слова. Я не смутился:

— Столицей хазарского царства был город Итиль. И Волгу хазары называли Ителем. Город помещался между нынешними Астраханью и Саратовом.

— Хорошо вызубрили. А на каком языке разговаривали хазары?

Тут-то он меня поймал. Ответить «на хазарском» было опасно, я, девятилетний, угадал ловушку и признался:

— Не знаю.

Тем самым отрезал себе дорогу в гимназию. За меня заступился батюшка, сказал историку:

— Нельзя так.

Историк вывел мне пятерку.

Я не случайно написал, что хорошо помню синагогу на Пушкинской в глубине обшарпанного двора. Синагог было много, все не упомнишь, да еще такую невзрачную, но дело в том, что под нею помещался мой хедер.

Улица была названа Пушкинской потому, что Пушкин на ней жил, недалеко от моря, от молодого порта, по которому властно расхаживал бывший корсар Марали и куда, то-то радость, на южных кораблях прибывали устрицы. Пушкин жил недалеко от знаменитой ныне Дерibasовской, да, в сущности, и от Садовой, от Ришельевского лицея, где впоследствии учился его младший брат Лев. Дом, в котором жил Пушкин, сохранился, правда перестроенный еще в конце прошлого века, здесь долгое время действовал филия украинского Союза писателей. Пушкин, надо думать, прогуливался по улице, но вряд ли доходил до моего заветного квартала, а тем более дальше, до того дома, где в мое время были бедная синагога и хедер, хотя и этот дом весьма старый, середины девятнадцатого столетия. Я полагаю, что в те годы город обрывался близко от того

места, где жил Пушкин, а дальше простиралась то многозеленая, то выгоревшая, голая степь.

Ворота двора, который я собираюсь описать, пусть бегло, были низенькие, улица опускалась к ним примерно на пол-аршина. Двухэтажное приземистое здание, выходявшее на улицу, казалось сугубо городским по сравнению с широким двором, чья пыльная земля по-деревенски обнажалась, кое-где прикрыв наготу булыжником, а флигельки вокруг были, в сущности, сдвоенными или строеными мазанками. Против ворот было другое двухэтажное здание, без входов, без окон, только арка была прорублена в стене, через арку проходили на черный двор, в конце его соседствовали сортир и темный подвал с мусорным ящиком. Слева и справа от арки, со стороны черного двора, взбегали на второй этаж узкие деревянные лестницы в синагогу, одна — в помещение для мужчин, другая — в отгороженную часть для женщин. Перед входом в помещение для мужчин имелся так называемый пулэш — вестибюль, что ли, в углу его стояли длинная жесткая метла и ведро, орудия производства Тевеля Винокура, шамеса (служки) синагоги. Он-то и был нашим меламедом (учителем). Его жильё находилось под лестницей и состояло из очень большой, полутемной кухни, служившей одновременно и столовой и спальней для двоих, кажется, детей и светлой продолговатой комнаты со скошенным потолком. Эта комната и была нашим хедером. Комната замыкалась низенькой нишей, в которой едва умещалась двуспальная деревянная кровать с множеством подушек — видно, на всю семью, — а посередине комнаты, почти во всю ее длину, простирался стол без скатерти, за которым, склонив головы, сидели ученики — курчавые, стриженные, черные, рыжие — и читали книги справа налево, и лишь изредка поглядывали на стены, на портреты раввинов-богословов, длиннобородых, в лисьих шапках, и только баронет Мозес Монтефиоре, знаменитый филантроп, красовался хотя и в ермолке, но в европейском белом жабо.

Мой отец был против того, чтобы я учился в хедере. Он не верил в Бога. Сам сын меламеда, прекрасно знавший древнееврейский, он ненавидел иудаистскую схоластику. Он уважал и ценил только русскую образованность. Я не могу объяснить свою раннюю упрямую религиозность. Отец был вынужден уступить моему желанию учиться в хедере. К тому же я завоевал его горделивое расположение, став гимназистом: я был во всем околотке единственным еврейским мальчиком — учеником казенной гимназии.

Хедер содержался на средства погребального братства, но Тевель Винокур получал от родителей добавочную плату за обучение детей. Был он высок, рыж, тощ, глаза его постоянно слезились, прикрываясь длиннейшими ресницами, бородачка редкая, жалкая. Не по-одесски набожный, он говорил: «Одесса — город грешников, вокруг нее на семь миль пылает ад». Он обходил стол, проверял, читают ли ученики древние слова, за спиной держал в руке ремешок, «кантик», но никого ни разу не ударил, разве что, рассердившись на шалуна или на нерадивого, бил по спинкам нескольких стульев — большинство учеников сидело на табуретках. Вопросы задавал на идише или же, детям из интеллигентных семей, двум или

трех, на загадочной смеси польского, украинского и одесско-русского. За столом сидели ученики разных возрастов, от семилетних до тринадцатилетних, одновременно изучали кто букварь, кто Пятикнижие, кто последующие разделы Библии. Никакой методологии не было, нужна была память, и память нешуточная, иные ученики, достигшие тринадцати лет, возраста зрелости, застревали на азбуке, но зато из тех, кто учился успешно, порой вырабатывались личности незаурядные.

Я уже дошел до чтения Пятикнижия, когда в Одессу вступили большевики, на этот раз окончательно. Начался голод, деньги потеряли стоимость, надо было платить Тевелю Винокуру продуктами, а мы сами голодали, и так кончилось мое учение в хедере, и я забыл святой язык, хотя еще после хедера в течение нескольких лет нараспев читал я Пятикнижие и даже одолел, хотя и с трудом, «Сказание о погроме» Бялика.

Три книги, три мироздания вошли в мою жизнь, чтобы я двигался вместе с ними: Библия (Ветхий и Новый Завет), «Илиада» и сочинения Пушкина. Они вместе, для меня нераздельные, составляют солнце моих дней. Собственно говоря, в них заключена моя жизнь, в них я нашел то, что люди называют Красотой, а что есть Красота, как не Истина? И чем больше другие книги приближаются к этим трем, тем ближе они к моим представлениям о Красоте-Истине. Гомер и Пушкин кажутся мне такими же пророками, как и библейские. Мы ничего не знаем о Гомере и, в сущности, очень мало о Пушкине, о его внутренней жизни. Чем больше накапливается фактов о его внешней жизнедеятельности, тем меньше он становится нам понятен. То, что Гомер был слепым, не есть характерная подробность: у многих народов сказители считаются слепыми, — тем самым подчеркивается их внутреннее, боговдохновенное зрение. Зная теперь жизнь Пушкина чуть ли не день за днем, можем ли мы его назвать пророком? А почему же нет? Что нам известно о тех годах, когда Исайе, Иеремий еще не исполнилось сорока? Нет Бога, кроме Бога, и Пушкин — русский пророк Его, и Пушкинская улица — моя на всем моем земном пути.

Меня в детстве таинственно притягивали к себе, страстно волновали Бог и история, то есть Бог и его подобию, и не только Бог Ветхого Завета, но и трехипостасный Бог Евангелия, и смутное, темное приближение к Создателю чувствовалось мне в пантеонах языческих богов Греции, Ассирии-Вавилонии, Египта, в богах Рима, отчасти заимствованных у греков. Я читал в богато изданных книгах по мифологии, в романах Эберса «Дочь фараона» и «Уарда» о делах и приключениях этих странных богов. А люди? Куда девались ханаанейцы или хиттийцы (не хетты ли?), филистимляне или эморей? По правде говоря, я и теперь недалеко ушел от поэтических, философских вопросов детства, и ныне меня по-настоящему, сильно и прочнее всего интересуют, волнуют, влекут, мучают, восхищают, обволакивают только два нераздельных явления — Бог и нация. О них я начал сочинять стихи в семь лет, о них я пишу и в семьдесят, взрослые упрекали мои стихи, когда я был ребенком, в умозрительности, в ней же упрекают меня порою и нынешние друзья.

Впервые такого рода упрек, не понимая его как следует, я услышал от Семена Соломоновича Юшкевича, знаменитого в те времена писателя.

Семен Соломонович постоянно жил, кажется, в Петербурге, а в Одессе останавливался у своего брата, Павла Соломоновича, видного экономиста, меньшевика, знакомого моего отца. Он занимал большую квартиру на Еврейской улице, недалеко от нас. Павел Соломонович осуждал своего прославленного брата за то, что тот был отчаянным картежником, проводил вечера в ресторане при гостинице «Венеция» — за углом, на Александровском проспекте.

Пьесы Семена Соломоновича ставили лучшие наши театры, а его романы, например «Лерн Дрей» (в сущности, переделку «Милого друга» Мопассана), читала вся Россия. Он числился во втором разряде знаньцев, где-то рядом с Чириковым, Зайцевым, Найденовым, Гусевым-Оренбургским. О нем в своих поздних записках с симпатией отзывается Бунин. Его произведения тематически, а не стилистически чем-то предварили «Одесские рассказы» Бабеля, Лев Никулин сложил такую будущую эпитафию-эпиграмму на Валентина Катаева:

Здесь лежит на Новодевичьем
Помесь Бунина с Юшкевичем.

Столичный писатель пришел к нам в гости в какой-то из осенних праздников, не то на Рош Гашона, не то на Суккот, — помню только пятна нашего черноморского солнца на его серой визитке. Был он крупен, даже тучен, но артистичен, волосы его поблескивали бриллиантином, в глазах — нежность и доброта. При мне он рассказал навсегда мне запомнившееся забавное происшествие, связанное с именем Бунина, перед которым — это видно было даже мне, мальчику, — он благоговел. Иван Алексеевич оставил в «Одесских новостях» рукопись рассказа и уехал. Когда рассказ набрали, два сотрудника нашли грамматическую ошибку. Тогдашний влиятельный редактор «Одесских новостей» Владимир Евгеньевич Жаботинский, впоследствии известный сионистский деятель, учитель Менахема Бегина и других «ястребов», рассердился на сотрудников: «Если два еврея находят ошибку у Бунина, то прав Бунин, а не два еврея». Через некоторое время Бунин прислал письмо в редакцию, вежливо поблагодарил за опубликование рассказа, но посетовал на то, что, по его вине, в рукопись вкралась ошибка и, увы, повторилась в печати.

Отец велел мне прочесть свои стихи знатному гостю, настоящему писателю. Семен Соломонович выслушал меня внимательно, как взрослого, и сказал примерно следующее:

— Ты чувствуешь размер, это уже кое-что, но у тебя есть неправильные ударения, читай книги вдумчиво, в особенности стихи, ритм подскажет тебе правильные ударения, поменьше рассуждай, описывай то, что видишь, — вот шелковица растет перед вашими окнами, девочка катается по двору на роликовых коньках.

Его устами, как я понял позднее, говорил довольно прочный, но тусклый опыт сборников «Знания», их узкая правота. Я его послушался, сочинял стихи о шелковице, и о роликовых коньках, на которых катается стриженная после тифа девочка, и о мастерской, где седые рабочие и подростки-ученики шьют военные мундиры, ерундовые, конечно, беспомощ-

ные стихи, они пропали, как и более поздние, юношеские, за исключением тех, кажется, пятнадцати, которые были помещены в московских журналах. Да и из журналов остались у меня два или три номера.

Возможно, что когда-нибудь в подходящем месте своих воспоминаний я объясню причину пропажи.

Было мне четырнадцать лет, когда я начал посещать литературный кружок учащихся художественной профшколы. В Одессе тогда существовал такой порядок: средние школы были семиклассные, желающим продолжать учение предоставлялась возможность, если они не были детьми лишенцев, поступать в двухгодичные профшколы. Имелись химпрофшколы, металлпрофшколы, электропрофшколы, мукомольные, торгово-промышленная, в которую почему-то устремлялись будущие гуманитарии. Художественная профшкола занимала часть помещения нашей пятой гимназии, ставшей обычной семилетней советской школой. Общие предметы преподавали у юных художников те же учителя, что и у нас, вот почему, не блистая способностями к рисованию и с младых ногтей склонный к консерватизму, я, окончив семилетку, поступил в художественную профшколу, где все мне было знакомо и мило — и классы, и учителя, и чудесный двор, где ранней весной начинала зеленеть меж камешками пахучая киммерийская наша трава, а за забором слышались звонки трамваев, направлявшихся к морю — на Большой Фонтан, в Аркадию. В новой школе я узнал и новых учителей — руководителей мастерских: живописной, живописно-прикладной, архитектурной и скульптурной.

Во главе живописной, где увлекались чистым искусством, т. е. станковой живописью, стоял художник Михаил Константинович Гершенфельд, человек колоритный. У него была кокетливая походка — вилял бедрами. До революции он прожил несколько лет в Париже, один раз выставлялся вместе с Матиссом (у него дома я видел каталог вернисажа), печатал статьи в «Аполлоне». Я их прочел в нашей Публичной библиотеке, когда, после встречи с Багрицким, узнал, что собой представляет «Аполлон»: то были крошечные корреспонденции о событиях художественной и театральной жизни в Одессе. В одной из комнат в Доме ученых на Елизаветинской, где происходили заседания Южно-Русского общества писателей, которые, заканчивая школу, я начал посещать, висела картина Гершенфельда — городской пейзаж, написанный в пуантилистской манере. Михаил Константинович читал, для учащихся всех мастерских, курс истории искусств, начиная его так: «Уже на заре человеческого существования нас восхищают рисунки на кости мамонта». Старшеклассники говорили, что каждый год он произносит одно и то же, заучив свой текст.

Мне это не мешало. Я с благодарностью вспоминаю его лекции. Может быть, они были невысокого качества, но душа мальчика с жарким восторгом узнавала о том, как человек с помощью кисти, резца и чертежных принадлежностей уподобляется Богу не только обликом своим, но и способностью творить живое, — начиная от человека первобытного до ассирийцев, египтян, греков и римлян, от Леонардо и Микеланджело вплоть до французских импрессионистов и отечественных мирискусников.

В мастерской Гершенфельда занимались только редкие фанатики живописи. Остальные ученики над ним посмеивались, прозвали «французом». Их смешило его виляние бедрами, раздражала его повседневная высокопарность, он казался им человеком вчерашнего дня. Уже будучи взрослым, я познакомился с двумя славными одесситами, оба — профессора, один — медик, другой — историк. Они были ровесниками Гершенфельда и на мой вопрос — знали ли они его — ответили одинаково: пустой, манерный, а художник никакой. Может быть, так оно и было, если учесть единодушное мнение старых ученых и подростков-учеников. Но хорошо сказал один восточный краснойбай: в пещере невежества радуйся и слабому светильнику. Я обязан Михаилу Константиновичу умением любить живопись и даже немного знать ее, а начало любви всегда прекрасно, всегда памятно.

Противоположностью Гершенфельду был руководитель прикладников Леонид Евсеевич Мучник, красавец мужчина, высокий, широкоплечий, эффектно одевавшийся. Увы, он начинал полнеть. Он участвовал в первой мировой войне, был гусаром. Подумать только, еврей гусар! В одесском музее живописи висит его картина «Подвоз провианта к броненосцу «Потемкин». Глядя на нее, вспоминаешь выражение Пушкина о сонной кисти художника-варвара. Ученики им восхищались, в особенности ученицы. Стоило ему подсесть, чтобы подправить рисунок, к какой-нибудь хорошенькой, рано развившейся, как он начинал тяжело (ученицы говорили: страстно) дышать. Наверно, он был ловким рисовальщиком, но его темперамент не нашел своего выражения в искусстве.

Он был добрый малый. Ко мне он относился хорошо, смотрел сквозь пальцы на то (он это знал), что рисовать обложки, бордюры, обои и прочее мне помогали мои гораздо более способные соученики. С его помощью окончив школу, я получил аттестат 13-го разряда, а самый высокий был 14-й. Он благоволил ко мне потому, что я писал и даже начал публиковать в местной печати стихи: а вдруг из меня получится нечто не совсем серое? Ремесленник, а не художник, он презирал низменное, преклонялся перед возвышенным, нежитейским.

Мастерские Гершенфельда и Мучника, с большими окнами, выходившими на двор, отделялись друг от друга тоненькой, не достигавшей потолка перегородкой. Нам было слышно все, что творится у Гершенфельда, было слышно, как ораторствовал, можно сказать, византийствовал «француз», красноречиво произнося неизвестные имена, вроде Пикассо, Леже, Марке, Штук, а иногда совсем загадочное — Аполлинер. Что это — производное от Аполлона? Прикладники громко, с непонятной злостью его передразнивали, «замолчите» приказывал им Леонид Евсеевич, но подмастерья чувствовали, что мастер на их стороне.

Из-за перегородки огрызались, и грубее, повелительнее всех — Шура Мордань, молившийся на своего Михаила Константиновича. Мордань был сыном кузнеца, работавшего на судоремонтном заводе имени Андре Марти. Он был старше меня года на три, самый сильный мальчик у нас в классе, не раз меня выручавший во время школьных побоищ. Он мало читал, отставал по всем предметам (кроме рисования), но в нем жила та

особенная и бесплодная одержимость искусством, которая свойственна цельным, ограниченным натурам. Как оказалось, одержимость еще не есть талант. Мордань в Москве стал профессиональным живописцем, членом МОСХа, регулярно выставлялся, но не стал художником. В школе нас сблизило то, что мы оба приходили к Михаилу Константиновичу домой, Мордань — как его любимый ученик и опора, я — ради бесед об искусстве, о французской поэзии. Я немного понимал по-французски (научил отец), а Михаил Константинович с неподдельной очарованностью читал нам Верлена и парнасцев — от него я узнал это слово.

Да, Михаил Константинович нуждался в опоре! В нашей художественной школе немало было детей непролетарского происхождения, особенно непролетарские были почему-то девочки, и комсомол прислал нам вожака по фамилии Бердичевский, высокого, худого, патлатого, с воспаленными инквизиторскими глазами. Он быстро учуял, что среди преподавателей главный враг — Михаил Константинович, он с комсомольским презрением называл его «аскетом» (хотел сказать «эстет») и начал с того, что запретил Михаилу Константиновичу читать лекции по истории искусств как далекие от марксизма и потому весьма вредные, что ударило нашего «француза» не только по самолюбию, но и по карману. Я, как редактор стенгазеты, имел право присутствовать на заседании педсовета и сам слышал, как долгоносый Робеспьер кричал на Михаила Константиновича: «Я хочу знать ваше кредо (ударение на «о»), моя задача — уничтожить вражеское гнездо вашего логова». Остальные преподаватели молчали, боялись. Бояться научились не рано и не поздно, а вовремя.

Действительно, как далек был Михаил Константинович, одесский сотрудник «Аполлона», от комсомольца Бердичевского, тупо возбужденного горячкой классово-борьбы, как далека была от нескладного парня в кожаной тужурке или в черной косоворотке большая, метров, наверно, тридцать, комната Михаила Константиновича в бывшей буржуазной квартире на Пушкинской, рядом с домом, где теперь помещается музей западной живописи (некоторые — ценные — картины подарил в свое время музею Михаил Константинович), какой эlegantный беспорядок был в этой комнате с высоким лепным потолком, как пахла она крахмальной свежестью холостяцкой постели, красками и мужскими духами.

А между тем Бердичевский нашел среди преподавателей и другую жертву — руководителя скульптурной мастерской Марка Луиджи Молилари. Сын скульптора-итальянца, участвовавшего в отделке великолепного здания нашей биржи, Молилари родился в Одессе, никогда не был за границей, но так и не научился правильно говорить по-русски. Он владел одноэтажным домиком на Отрадной улице, самой обильной в городе, стены дома были увиты плющом и диким виноградом, посреди двора (мы его называли «патио») рос широкий платан, под его навесом Марк Луиджи угощал нас, сочувствующих ему учеников, самодельным вином и ругал Бердичевского, называя его проклятым «тедеско», т. е. немцем. Почему немцем? Может быть, он при мне не хотел называть своего гонителя евреем? Или со времен австрийского ига у итальянцев «тедеско» стало ругательством? Лет под шестьдесят, крепкий, загорелый, с больши-

ми, сильными руками, всегда в шапочке с помпончиком (он был совершенно лыс), с бородкой, как у испанского гранда, он кричал (он вообще никогда не говорил тихо): «Бельдически! Проклятый тедеско! Он сказал, что я есть фашисто! Я не есть фашисто! Я не есть любитель фашисто! Он сам есть фашисто в черной рубахе! А я есть любитель Джузеппе Гарибальди, а не Бенито Муссолини, который есть кровавая собачка!»

Так он кричал, наливая избранным, любящим его школьникам вино в длинные, узкие кружки из вполне античного кувшина, а близко, рядом, под оползневым обрывом, синел той же античной синевой наш Понт Эвксинский.

Через двенадцать лет после описываемых событий Бердичевского, выгнанного отовсюду, опустившегося, бездомного, арестовали, он исчез в таежной мгле, а Марк Луиджи Молилари и Михаил Константинович умерли достойной смертью в родном городе. Жаль, конечно, Бердичевского, но есть какая-то высшая правда в том, как Господь распорядился судьбой этих трех людей.

А пока нуждался Михаил Константинович в такой опоре, как сын кузнеца Мордань, который с непритворной яростью и порою завидной непререкаемостью необразованного адепта защищал, где только мог, своего учителя. Уж если Мордань чему-то поклонялся, то поклонялся только с яростью, только с непререкаемостью. Вслед за Михаилом Константиновичем он нападал на безобидного старого одесского художника Кишиневского, тусклого, милого эпигона передвижников, на талантливых Волокидина и Фраермана, — потому что они третировали Гершенфельда. Став студентом художественного института, Мордань с яростью объявил себя крайне левым, азартно подражал украинскому футуристу Пальмову, потом, когда годы искусства повернулись вправо, он с той же яростью последователя рисовал мирную сирень, утверждая, что Кончаловский — единственный стоящий у нас художник, потом ярость его начала угасать, из-под его кисти поступали на выставки на Кузнецком, на Беговой, в Манеже банальные, большие, скучные картины. Сам он ими громко, непререкаемо восхищался. Впрочем, он был недурным человеком, добрым товарищем. Так, по крайней мере, я думал, пока не наступила пора «Метрополя». Но об этом после.

В школе я подружился, помимо Шуры, еще с Филей, который, хотя и жил в кварталах бедноты, на Молдаванке, был сыном владельца небольшого завода по изготовлению кафельных печей. Сблизились мы, посещая литературный кружок. Однажды Филя прочел в кружке стихотворение, которое поразило всех тщательностью отделки, правда старомодной. Увы, скоро выяснилось, что это стихотворение принадлежит Огюсту Барбье, русский перевод Филя переписал из календаря. О происшествии заговорила вся школа. Филя затрясся в страхе. Не без влияния Бердичевского было решено устроить показательный суд.

У Филя была школьная любовь — красивая шестнадцатилетняя девушка Женя Тарасенко, младшая сестра жены Ильфа, тогда еще неизвестного. Она склонялась было к высокому, сильному, парню из народа Морданю, но однажды, когда мы вместе возвращались из школы, неся в руках

этиодники и чертежные доски — свои и девушек, — Женя, указывая на Морданя, сказала: «Вот моя симпатия». Мордань ответил: «Уйди, зараза». Он не знал, что означает слово «симпатия», думал, что оно оскорбительно. С этого дня положением овладел прихрамывающий, но милостивый и нарядно, в отличие от всех нас, одевающийся Филя. И вот Женя, повелительно улыбаясь огромными надменными глазами, подошла ко мне во время перемены и властно попросила выступить защитником Фили на показательном процессе. Как отказать такой девушке? Я согласился. Да и за товарища следовало заступиться.

В актовом зале собрались даже те ученики, которые никогда не приходили на занятия литературного кружка. Несколько слов о внешности адвоката. Валя Мироненко, нищий обломок малороссийского дворянского рода, которой я незадолго до суда объяснился в любви, сказала, закуривая папиросу (тогда — для школьницы — чарующая экстравагантность): «Сема, но вы же такой маленький!»

Речь я построил так: да, Филя виновен — выдал за свое стихотворение Огюста Барбье. Но разве стихи, печатающиеся в наших газетах, не похожи одно на другое, как рисунки на обоях? Авторы и не замышляют что-либо присваивать друг у друга, они не списывают, Боже сохрани, но так как они не умеют мыслить, то получается, что все эти многочисленные вирши плетет один человек. Не хотел ли Филя несколько странным, отнюдь не заслуживающим похвалы способом дать урок этим виршеплетам? Не лучше ли явное, но бескорыстное присвоение чужого, чем скрытое, но корыстное? Поблагодарим же нашего товарища за неумелый, может быть, но поучительный урок.

Дело я проиграл с треском. Бердичевский несколько раз требовал лишить меня слова, называл шутком гороховым. Филе дали строгий выговор и запретили навсегда посещать литературный кружок. Однако же речь моя понравилась большинству собравшихся: я впервые почувствовал слабое, но сладкое дуновение славы. Женя Тарасенко преподнесла мне пышно-махровую центифолию, а преподаватели русского языка Петр Иванович Подлипский и химии — Оганес Александрович Шахдинарьянц (чье имя, отчество и фамилию я себе присвоил, решив выдать себя за армянина, когда в 1942 году на юге попал в окружение) — смотрели на меня более чем одобрительно: они не столько жалели Филю, сколько ненавидели Бердичевского.

Об этом суде заговорили и в соседней (рядом с вокзалом) торгово-промышленной школе, там тоже был литературный кружок, известный среди городских школьников (на его заседаниях иногда выступали профессиональные местные поэты, например, Кирсанов, Бондарин), мы устроили совместное занятие двух наших кружков, я прочел свои стихи, меня похвалили, потому что слышали о моей речи на показательном суде. Успех вскружил мне голову, я решил отнести стихи в главную городскую газету «Одесские известия». Петр Иванович Подлипский одобрил мое решение, выбрал наиболее, по его мнению, подходящее.

И вот я аккуратно переписал мои творения в новенькую тетрадку, на зеленой обложке густо чернела голова Троцкого, а под ней изречение:

«Грызите молодыми зубами гранит науки», и прямо из школы, никому ничего не говоря, с бьющимся сердцем направился на Пушкинскую улицу, в тот квартал между Троицкой и Еврейской, где, вблизи от дома, в котором я родился, помещались «Одесские известия», а также редакция «Вечерней газеты», комсомольской «Молодой гвардии», тонкого журнала «Шквал», редактором которого был заезжий человек, подписывающийся восточным псевдонимом «Суфи», впоследствии известный Петр Павленко, а его заместителем, беспартийной рабочей лошадей, — образованный, умный, сластолюбивый Станислав Адольфович Радзинский, отец ныне заметного драматурга Э. Радзинского.

Все эти редакции переехали сюда сравнительно недавно из старинного — пушкинских времен — дома Вагнера, занимавшего кварталы на Екатерининской и Дерибасовской и два обширных проходных двора которого своей скрытой от иногородних сельской сущностью спорили с нарядными фасадами, с кокетливыми вывесками кондитерских, с живописными корзинами цветочниц, с уличной франтовской толпой. А здесь, на Пушкинской, помещалась раньше только типография, и, когда я, бывало, проходил мимо, гутенберговский гул казался мне тем же, что, наверно, мусикийский лад лиры для греческих рапсодов, комуз для сказителей киргизского эпоса, вины для поэтов Индии, не декламирующих, а поющих свои стихи.

Я вошел в подъезд. Ворота напротив вели во двор типографии. Слева было парадное. Я поднялся по его ступенькам на второй этаж.

По коридору с показной озабоченностью сновали мужчины в новомодных роговых очках и женщины, сжимающие накрашенными губами (тогда это было не совсем обычно) папиросы. Я застыл, не решаясь задать вопрос — не только вследствие понятной робости, но и потому, что не знал, как вопрос сформулировать. Насвистывая, крутя головой, танцующей походкой подошел ко мне высокий, с несоразмерно маленьким личиком и большими растопыренными ушами молодой человек и спросил:

— Что ты тут делаешь?

Я выпалил:

— Где ваш редактор?

— Главный редактор? Товарищ Ольшевец? Для чего он тебе?

— Я принес ему стихи.

— Лично ему? Нет? Тогда тебе нужно к консультанту. Много должно пройти лет, чтобы тебя с твоими стихами принял главный редактор. Начни с того, что пойдешь по коридору прямо, свернешь налево, потом направо, упрешься в дверь. Можешь ее смело открыть, не постучавшись, там и сидит консультант.

Так же как и необычное лицо ушастого сотрудника, я навсегда запомнил прокуренные коридоры, завораживающий стук пишущих машинок и ту дверь, которую я открыл без спроса. Я попал в большую, очень большую комнату совершенно без окон. Она мутно освещалась электрической лампочкой. У стен, слева и справа, стояли два длинных конторских стола и два стула. На одном из столов лежал, закрыв глаза, толстый, очень толс-

тый мужчина в сандалиях на босу ногу. Он лежал на спине, держа под головой могучие круглые руки. Напротив двери, через которую я вошел, но несколько наискосок в самом углу виднелась другая дверь. Из-за нее доносился ровный долгий гул. Я приоткрыл эту дверь — и возникла передо мной типография. Вот она, святая святых! Только отсюда путь ведет к признанию, сочувствию, пониманию, может быть, к славе. Мне хотелось войти в типографию, но я понимал, что этот светлый, многооконный зал, шумный и работающий, запрещен для посторонних. Что делать? Я приблизился к спящему. Давно небритый толстяк с некоторым, однако, сонным любопытством приоткрыл один глаз. Несколько минут он молча озирает меня этим глазом. Я прервал тягостное молчание:

— Гражданин консультант, прочтите мои стихи.

Толстяк открыл и второй глаз, взгляд у него оказался добрый. Сойдя с конторского стола, незнакомец, большой, тучный, улыбнулся близоруко и сказал, приятно картавя:

— Какой я тебе гражданин, гы-гы. Так ты пишешь стихи? Для этого надо много прочесть. Вот я прочел много, гы-гы. Впрочем, раз ты уже дефлорировался, начал писать, так ты меня знаешь. Там (он протянул свою атлетическую руку в сторону типографии) набираются мои стихи. Завтра их прочтет вся Одесса. Я — Давид Бродский. Да, да, ты видишь Давида Бродского, гы-гы. Не ожидал?

— Я не знаю, кто вы такой.

— Что же ты знаешь? Ты ничего не читал, ты ничего не знаешь. «Век был двух лет, когда я родился». Это строка Виктора Юго. У нас его называют Гюго. И когда я родился, век тоже был двух лет: 1902 год. Случайность? Совпадение? В поэзии не бывает случайностей. Только поняв это, получаешь право приступить к писанию. Сейчас придет товарищ, которому поручено читать самотек. Черная работа, она не для Давида Бродского, гы-гы. Вот ему ты покажешь свои стихи. Он романтик, а я реалист. Понимаешь разницу?

— Что такое самотек?

— Я же говорю, что ты ничего не знаешь. «Сошли грибы, но крепко пахнет в оврагах сыростью грибной». Этот Бунин. Я пишу так же, но новее, нервнее. Ты, конечно, не знаешь имени Рембо.

Я ничего не знал. Я не знал, что Давид Бродский станет моим старшим товарищем, что мы будем с ним вместе жить в комнате под Москвой, в Кунцеве, что он знакомит меня с новой французской поэзией, что мне первому он прочтет свой знаменитый и несовершенный перевод «Пьяного корабля» Рембо.

Он закурил и, явно не затягиваясь, направился в типографию, скрылся за дверь. Я остался один в этой странной комнате без окон, на таинственном, незримом, заминированном опасностями рубеже между редакционными разговорами в папиросном дыму и типографскими станками.

И вот появилось новое лицо. Это было необыкновенное лицо! Артист? Художник? Серо-голубые глаза, вдохновенные и насмешливые, птичий нос, спутанные седеющие волосы. Он был высокого роста, слегка сутулился, одетый во что-то летнее, мягкое, кажется в парусиновые брюки и ру-

башку. Округлые, женственные плечи. Я подумал про него: одновременно Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак.

Из типографии вышел Давид Бродский.

— Давид, здравствуйте, — сказал вновь вошедший. — На страже, как всегда? — И обратился ко мне, как будто давно меня знал: — У него стишки набраны, так он боится, что в последнюю минуту их выбросят, вот и стережет. Да не волнуйтесь, дуся, все будет в порядке. Наверно, опять о железной дороге, о бабах, торгующих морошкой на станции. Угадал?

Говорил он певуче, но не так, как у нас на юге, а артистично, распораясь языком нежно, глубоко, властно. Голос у него был немного хриплый. Видимо, вспомнив, что видит меня впервые, спросил.

— Конечно, молодой человек, вы принесли стихи?

Я понял, что это и есть консультант, и вручил ему свою зеленую тетрадку.

Он сел за стол, скрипуче дыша. Хотя волосы его, как я уже заметил, начинали седеть, видно было, что ему лет тридцать, не больше. Почему же он так трудно дышит? Я тогда не знал, что у него мучительная астма.

Продолжая громко и трудно дышать, он довольно быстро перелистал тетрадку и вдруг вонзил в меня птичий недвижный взгляд:

— Вы тут заявляете: «Лишь в движенье мы жизнь постигаем и преображаемся в нем». Испоганили Гумилева, обокрали его: «Ах, в одном божественном движенье косным нам дано преображенье».

— Я поэт Могилева никогда не читал.

— Могилева? Ой, поцайло! Вы вообще каких-нибудь поэтов читали?

Я обиделся:

— Я читал всех известных русских поэтов.

— Врете. Кого же именно?

Стыдиться мне было нечего. Уверенный в себе, я начал перечислять.

— Кто из них вам нравится больше других?

— Пушкин и Никитин.

— Никитин? Почему Никитин? Ей-Богу, это уже неплохо. Более поздних, современных, вы знаете?

— Читал в газетах. Запомнил Демьяна Бедного и Эдуарда Багрицкого.

— Вот как, запомнили? Кто из них лучше?

— Кажется, лучше Багрицкий. Он очень красиво пишет про море. Не сравнить с Пушкиным и Языковым, но красиво. Зато Демьян Бедный пишет смешнее.

— Да, смешнее. Между прочим, Эдуард Багрицкий буду я.

— Эдя, — вмешался Бродский, — мальчик прав. Устами младенцев. У вас нет юмора. Вот у меня есть юмор, гы-гы. Правда, изысканный, не до всех доходит. Вы заметили, что скрытый юмор есть и у Малларме?

Я смутился. Мне уже в раннем детстве довелось близко видеть настоящих писателей: Семена Юшкевича и великого Бялика. О встречах с Бяликом я рассказал в другом своем сочинении. Но Юшкевич был прозаик, Бялик писал не по-русски. И вот предо мною русский поэт, чье имя часто мелькает в одесских изданиях.

— Давид, — сказал Багрицкий, — не лезьте в серьезный разговор, продолжайте стеречь свой опус.

Он понял мое смущение, но, сердясь на Бродского, спросил и меня сердито:

— Неужели вы никогда не читали Бальмонта, Игоря Северянина, наконец, Есенина? Их обожают вся грамотная и полуграмотная Одесса.

— Я читал поэму Блока «Двенадцать».

— О, об этом стоит поговорить. Ну и что?

— Частушки какие-то. Но есть красивые места.

— Частушки? Биндюжник! Это великая поэзия. Какие же красивые места вы заметили?

— Например: «У тебя на шее, Катя, та царапина свежа».

— Почему это красиво?

— Представляешь себе. Шею видишь.

— Сколько вам лет?

— Скоро пятнадцать.

— Самое время поглядывать на женскую шею. Да, вы перечислили поэтов, которых знаете, от Державина до Аполлона Коринфского, а Тютчева не назвали. Не знаете?

— Еще как знаю. Забыл назвать.

— Можете прочесть что-нибудь наизусть?

Я прочел «Не то, что мните вы, природа».

Опять неподвижный птичий взгляд, но более внимательный:

— Вы читаете стихи как пономарь. Имеете представление о Дальницкой улице?

— На Молдаванке. Туда идет трамвай от Тираспольской.

— Я хожу оттуда сюда, на Пушкинскую, пешком. Но фразера добираются и на трамвае. Остановка у Джутовой фабрики. Приходите ко мне в воскресенье, часов в шесть, начнем учиться. В вашей тетрадке что-то шелкает, есть слух. Самое дерьмовое стихотворение «Весна». Нечетные строки длинные, четные короткие. Спасибо и за это. Совершенно пустое упражнение. Его и напечатает. И запомните: в газете печатают только самые плохие стихи. Забыл спросить: Фофанова вы любите?

— Люблю.

— Клянись жизнью Давида Бродского, я так и знал...

Я шел по Пушкинской улице, и сердце мое пело. Ноги сами привели меня к дому, где я родился. За окном девушка поливала цветы и, встретившись с моим пристальным и, наверно, тупым взглядом, высунула язык... Сейчас помещение, в котором я родился, соединено с соседним и над дверью — небольшая вывеска: детская библиотека номер такой-то имени Э. Г. Багрицкого.

Не стану описывать волнение, охватившее нашу семью, когда все узнали, что мое стихотворение будет напечатано в газете, которую читает весь город, что меня, как взрослого, пригласил в гости поэт, чье имя известно даже тем, кто стихов обычно не читает. На оценку «совершенно пустое упражнение» никто, даже я, не пожелал обратить внимания — до того ли нам было? Моя тетя Маня, портниха, работавшая в знаменитой у нас

фирме Берзона, быстро сшила мне из старой портьеры бархатную блузу. Родители каждый день впивались в «Одесские известия». Нет и нет. Наступила суббота, газета вышла с литературной страницей, но и там нет. Другие вещи есть, а моей «Весны» нет. Поздно вечером прибежала ликующая Маня и, еще не войдя в квартиру, сунула через окно «Вечернюю газету». Опубликована «Весна»! Подпись: «Сема Липкин, учащийся художественной профшколы». Папа с тросточкой с серебряным набалдашником двинулся на Дерибасовскую, в магазин Дубинского, нэпмана-старовера, купил полфунта чайной колбасы и четверть фунта ореховой халвы. Пировали полночь. Мама сказала: «Он у нас будет академиком науки».

В воскресенье, в бордовой бархатной блузе — под горлом черный бант, — в новых брюках, перешитых из отцовских, я отправился на Дальническую. Улица оправдала свое название, ею заканчивалась северная окраина города. Мне дали двадцать копеек на трамвай, туда и обратно, но я решил пойти пешком, как это делал сам Багрицкий.

Несколько лет назад, приехав в Одессу, я повторил этот путь. Он занял у меня два часа. Но тогда я дошел минут за сорок. Багрицкий хорошо растолковал мне свой адрес, объяснил, что живет в доме сторожа футбольного поля, принадлежавшего команде Джутовой фабрики. Я до сих пор не знаю, почему он не жил в родительском доме в центре города, на углу Базарной и Ремесленной, где я был у него, когда он, уже знаменитый, приехал в Одессу из Москвы.

Немного отклонюсь от ровного течения рассказа. Мое знакомство с Багрицким состоялось в самый тяжелый год его жизни. Его почти перестали печатать в местных изданиях. Он мне рассказал, как это произошло. Я потом понял, что верить следует не всем его рассказам. Он не чуждался вымысла. Например, в своих стихах он пишет, что во время первой мировой войны участвовал (возможно, в качестве вольноопределяющегося) в нашем удачном турецком походе, дошел до Персии, до Энзели, с блеском нарисовал картину двигавшихся по горным переходам пулеметов. В действительности его победоносное шествие оборвалось в Полтаве: он заболел дизентерией и быстро вернулся в Одессу. Однажды он мне намекнул, что служил при Керенском в контрразведке. Правда ли это? Бог его знает и — простит.

Вот его рассказ о тогдашних трудностях — насколько я запомнил:

— Моей кормушкой был «Моряк», есть у нас такая газетка. В прошлом году приехал в Одессу Маяковский. То ли Семка Корчик (Кирсанов) ему что-то наплел, то ли сам на меня рассердился, а выступил он на городском партактиве, сказал с издевкой — он умел это делать: «Некий Джордж, или Эдуард, или еще какой-то Вильям, вместо того чтобы стихом помочь черноморцам в их нелегкой работе, печатает в боевом «Моряке» баллады о рыцарях, которые пьют вино «Шабли», а сам, наверно, настоящее «Шабли» не пробовал, пил вино типа «Шабли». И стихи его не стихи, а типа стихов». Клянусь жизнью Севки, никакого «Шабли» в моих стихах не было. Я печатал переводы с английского о благородном разбойнике Робин Гуде. В редакции испугались и вышвырнули меня из «Моряка».

Видимо, Багрицкий если и фантазировал, то в пределах, близких к факту. Сергей Бондарин и Лев Славин, каждый в отдельности, рассказывали мне уже в Москве, что редактор «Одесских известий» Ольшевец, ставший заместителем главного редактора столичных «Известий», объяснил Маяковскому его ошибку, напомнил ему, что еще до революции, чуть ли не в 1915 году, Багрицкий опубликовал в Одессе стихотворение, в котором приветствовал молодого Маяковского, и Маяковский, пожалев безвестного собрата, дал как-то знать одесскому идеологическому начальству, что был не прав, когда напал на Багрицкого, и материальное положение Багрицкого улучшилось.

Все же я не думаю, что Маяковский симпатизировал творчеству Багрицкого. Я присутствовал на вечере Маяковского в Политехническом. Поэту задали вопрос — как он относится к Багрицкому. Ответ Маяковского: «Он лучший из краснонивских». В то время приложением к «Известиям» выходил тонкий журнал «Красная нива», в котором, как правило, печатались посредственные стихи.

Так это было с Багрицким или не совсем так, но в тот памятный день я попал в дом нищего. Под косым майским дождиком я прошел, как мне было указано, мимо мазанок, мимо начинающих цвести калачиков мальвы, мимо заборов, на колях которых висели вверх дном глечики, и приблизился к строению вроде сарая, но довольно высокому. Я постучался, ответа не последовало. Я открыл дверь — и ничего не увидел: так было темно в этом сарае. Я сделал несколько неуверенных шагов и вдруг услышал:

— Болван, вы прете на корыто.

— Здравствуйте, — с облегчением, без обиды сказал я, узнав этот певучий голос с хрипотцой, но еще никого и ничего не видя. Постепенно мои глаза привыкли к темноте. Посредине потолка был фонарь, которым освещалось помещение, он протекал, потому-то поставили под ним корыто. Обстановка: кухонный стол, он же и обеденный, несколько стульев разной формы и крепости, две железные узкие кровати в одном углу, а в другом — покрытый клетчатой шалью матрац на топчане, шкаф с выломанной дверью, прислоненной рядом к стене, кирпичная плита, обмазанная синей известкой, около которой возилась молодая женщина в очках, — худенькая, не по-городскому румяная, как я потом заметил. Это была Лидия Густавовна, жена Багрицкого. Мальчик лет четырех-пяти, тот самый Севка, именем которого любил клясться Багрицкий, играл на кровати сам с собой в самодельные шашки. Около его кровати стояли у стены камышовые удочки и какой-то предмет в чехле, как оказалось — охотничье ружье. Мальчик на меня не взглянул, углубившись в игру. Он, видимо, тогда еще не был тем буяном, которого я через несколько лет встретил в Кунцеве. Возле топчана возвышались, один на другом, два больших ящика, кажется из-под папирос, в них виднелись книги, а на верхнем лежали длинные обрывки — полосы газетной бумаги и огрызки карандашей.

Начался чудесный вечер. Багрицкий мне читал стихи. Не свои. Его голос до сих пор звучит во мне «Шагами Командора», Блока, «То было на

Валлен-Коски» Анненского, «Коллежскими ассессорами» Случевского, описанием концерта из «Первого свидания» Белого, «В разноголосице девического хора» Мандельштама. «Этими строками Мандельштама, — сообщил Багрицкий, — я лечу свою астму. Помогает».

Он ничего не объяснял, ни к чему не приковывал мое внимание, он только читал, и его радость от прочитанного — думаю, единственная радость его жизни — стала для меня наилучшей наставницей. Серебро двадцатого века так ослепило меня в темном сарае на Молдаванке, что потускнело (на несколько лет!) в этот вечер золотого девятнадцатого.

— Мальчик, — неожиданно резко прервал себя Багрицкий, — сорвите с себя этот мещанский бант, вы же не актер без ангажемента, без гроша в кармане. Кстати, а есть гроши?

— Мама дала мне двадцать копеек на трамвай, но я пошел пешком.

— Лида, у него есть двадцать копеек, и он любит шпроты. Вы же с ума сходите от шпрот (это ко мне). Лида, купи босяку шпроты.

Лидия Густавовна посмотрела на меня с ненавистью.

— Эдя, двадцати копеек не хватит на банку шпротов. Ты отлично знаешь. Да и как в дождь доберусь до Степовой.

Я залепетал:

— Я вовсе не люблю шпроты. Я не знаю, что это такое. Эдуард Георгиевич шутит. И назад я хочу поехать трамваем, уже поздно.

Багрицкий твердо стоял на своем:

— Он врет. Он с раннего детства обожает шпроты. Избалованный одесский ребенок. Кошмар! А дождь прошел, слышишь, Лида, корыто замолчало. Клянусь жизнью Севки, у тебя припрятаны два гривенника. Хватит на шпроты для этого гурмана.

Лидия Густавовна, от гнева еще больше раздумывавшаяся, глядя черными глазами, сердито и остро поблескивающими из-за очков, накинула на себя покрывавшую топчан клетчатую шаль, взяла у меня двадцать копеек и, злая, отправилась за шпротами. Кстати, до Степовой, главной улицы Молдаванки, было довольно далеко.

Багрицкий достал из нижнего ящика несколько тоненьких книжек.

— Теперь я вам прочту Гумилева, чтобы вы его больше не путали с городом из черты оседлости. Четыре года назад Петроградская Чека его расстреляла.

— Как Андре Шень?

— Вот-вот. Бойтесь этого поэта. Гумилев так завораживает, что вы теряете самого себя. Я сам только недавно вырвался из его колдовского плена. Помните «Страшную месь» Гоголя? Поверьте мне на честное слово, что Гумилев такой же колдун, какого описал великий хохол, равно-го которому я не знаю никого в мировой литературе. Гумилев сознавал, что в нем есть нечистая сила: «Милый мальчик... на, владей волшебной скрипкой и погибни славной смертью, страшной смертью скрипача».

Он начал чтение с «Капитанов». Господи, милый Бог, что со мной стало! Какие необыкновенные слова я услышал в этом нищем сарае на нищей, жалкой городской окраине! «Арабы-скитальцы, искатели веры, и первые люди на первом плоту». А какие удивительные рифмы — «обнару-

жив — кружев», «области — доблести», «хартый — карте». Таких слов, таких рифм не было у тех поэтов, которых я знал. А «Заблудившийся трамвай»? «Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон!» Я даже такого слова не слышал — вагоновожатый, у прежних поэтов его не было, не могло быть, а в Одессе водителя трамвая почему-то называли «ватман».

Разумеется, Багрицкий понял, что со мной происходит. Он так и задумал. Воткнув свои толстые пальцы с длинными, пушкинскими ногтями в мою густую шевелюру, он сказал:

— Я вам дарю «Жемчуга», «Колчан» и «Огненный столп» — последнюю, лучшую его книгу. Я не хочу их держать у себя. Хватит. Мне с ними душно. Я хочу дышать свежим, соленым ветром новой жизни.

Вернулась Лидия Густавовна, молча и гневно скинула с себя шаль, сделала второй бросок — и на кухонном столе появилась банка шпротов. Оказалось, что эти консервы продавались вместе со вскрывательным ножиком. Багрицкий с какой-то лихой жадностью присел к столу и быстро опустошил всю банку — без хлеба. Потом спросил у меня:

— Правда, вкусно?

Молчавший все время Севка, вдруг оторвавшись от шашек, сообщил:

— Все сам сожрал.

Что это было — детское озорство Багрицкого? Однажды, уже в Кунце-ве, он мне сказал:

— Сейчас ко мне приедет хлопчик из богатой московской семьи, сын адвоката. Пишет стишки. Обещал привезти альбом несслыханных марок.

Вскоре приехал золотоволосый подросток лет шестнадцати, будущий известный стихотворный писатель Долматовский. Он действительно привез альбом с марками. Я заметил: Багрицкий, рассматривая альбом, поддевал длинным ногтем понравившуюся ему марку, и та падала под стол. Что это — тоже озорство?

А шпроты? Но что мне эти шпроты? Что мне земная пища, когда мне щедро подарена небесная. По совету Багрицкого, я сорвал с себя бант и перевязал им три гумилевских книжечки. Я возвращался домой по безмолвным улицам полуночной майской Молдаванки, порой сверкали за-поздалые, недоступные для меня трамваи, а в душе сиял другой, не элек-трический свет, сияли музыка и счастье.

Предсказание Багрицкого сбылось. Несколько лет я жил, заколдован-ный Гумилевым. Конечно же я выучил все три книги наизусть, иначе и быть не могло, я читал Гумилева всем знакомым и полузнакомым.

Гумилев долгие годы находился у нас под запретом, да и сейчас в печат-и его имя упоминается кисло и нехотя, поэтому исследователи обдуман-но не замечают его огромного воздействия на советскую поэзию. Если у Маяковского советская поэзия заимствовала его беспрекословную, не рассуждающую подчиненность, служебность Государству, его приземлен-ность, его фельетонную, плакатную броскость, схоластику мышления и лишь некоторые — считанные — взяли на вооружение его великолепную версификацию и опять же плакатные, резкие изобразительные средства, то Гумилев привлек к себе советских стихотворцев воинской мужествен-

ностью, ясностью, наглядностью деталей, блеском классически-прозрачного стиха. Тихонов, Саянов, Сурков, Симонов и множество менее известных — подражатели Гумилева. Для них благородный стиль Гумилева то же самое, что греческие колонны для сталинской архитектуры. Я хорошо помню, что для интеллигентных группок начинающих стихотворцев моего поколения наиболее привлекательными из числа старших современников были не Ахматова, не Мандельштам, не Кузмин, не Ходасевич — их понимали и ценили единицы, — а гораздо более левые Пастернак, Сельвинский, Цветаева, чей голос доходил из-за рубежа, и рядом с ними — Гумилев. Не случайно Маяковский в сентябре 1929 года заявил в своей речи на втором пленуме РАППа: «Говорят относительно поэтессы Цветаевой: у нее хорошие стихи. Это полонщина (поэт имеет в виду своего противника — критика В. П. Полонского, того, кого РАПП ненавидел — и съел), которая агитировала за переиздание стихов Гумилева, которые «сами по себе хороши». А я считаю, что вещь, направленная против Сов. Союза, направленная против нас, не имеет права на существование, и наша задача сделать ее максимально дрянной и на ней не учить».

Между прочим, у Гумилева нет ни одной строки, «направленной против Сов. Союза». Маяковский произнес эти слова за полтора года до самоубийства, он с острой болью чувствовал, что теряет уважение, интерес к себе и уже не в силах кощунственно «сделать максимально дрянной» поэзию тех авторов, кого любили, ценили и знатоки, пусть весьма многочисленные.

Еще раз забегу далеко вперед. В 1949 году арестовали моего приятеля Р. Д. Морана, журналиста и переводчика. Ему дали восемь лет, но отсидел он только пять благодаря зачетам: последние каторжные свои годы он работал слесарем на строительстве Волго-Донского канала. Вернувшись, он мне рассказал, что на Лубянке ему предложили прочесть показания Павла (фамилию не называю, может быть, еще жив), нашего сотоварища по одесскому литературному кружку, ныне члена Союза писателей. Вызванный по делу Морана как свидетель (чего?), он показал, что «Моран — друг Липкина, который в молодости, в Одессе, пропагандировал стихи белогвардейца Гумилева, расстрелянного советской властью». В каком-то смысле доносчик не соврал. Он и сам полюбил Гумилева, услышав от меня его стихи.

Сейчас в моих глазах Гумилев не высится в первом ряду поэтов двадцатого века, в том ряду богов, в котором я вижу Анненского, Ахматову, Блока, Бунину, Мандельштама, Пастернака и Ходасевича. Гумилев принадлежит к полубогам. Но в те начальные мои годы, когда Багрицкий умно и увлекательно объяснял мне истинность, красоту, значительность этих поэтов, да и других, мне неизвестных, — Бенедиктова, Случевского, Кузмина, Клюева, Нарбута, — долго еще Гумилев оставался для меня самым дорогим.

Багрицкий, открывший мне Гумилева, только и делал тогда, что его развенчивал. У меня до окончательного отъезда Багрицкого в Москву было с ним несколько встреч. Один раз он пришел ко мне в школу на Новорыбную и, с разрешения директора, увел меня с уроков. Мы двинулись

к Отраде по ближайшему пути к морю. Шли молча, он только спросил: «Завтрак захватили?» Миновали Уютную — и из мира замкнутого перенеслись в беспредельный. Далеко внизу волшебноплотно синело, колдовало море. Я начал спускаться по узкой, покрытой древней пылью тропинке, но что-то заставило меня оглянуться. Багрицкий, задумавшись, стоял наверху, на смеси пыли и сухой травы. Он сказал:

— Спуститься просто, спуститься — мне цены нет. А вот как потом подняться?

Слова эти меня удивили. Я забыл о его астме. Только через несколько лет, когда жестокой астмой заболел мой отец, утратил работоспособность, двигался с трудом, всегда согнувшись, я понял, как мучился Багрицкий.

Может быть, астма — одесская болезнь? Страдал же ею Бабель, но был разумен, регулярно лечился, а Багрицкий запустил свою болезнь и так рано умер — его свалило воспаление легких...

Все же мы спустились к морю: я уговорил Багрицкого, предложив назад вернуться через Ланжерон, там не такой крутой подъем.

На берегу было пустынно, как всегда в Одессе в мае. На террасе над берегом пограничники в трусах гоняли мяч. Жирные чайки горланили, как греки в кофейне. От моря исходил тот странный, трудно обозначаемый запах, которым, наверно, пахла Вселенная, когда она создавалась. Багрицкий отбросил сандалины, снял рубаху, но остался в брюках. Тело его отличалось какой-то нездоровой белизной. Я поплыл. Вернувшись, я начал с моря обдавать Багрицкого солеными, еще холодными брызгами, как бы зазывая его к себе, к волнам. Багрицкий подрагивал рано полнеющими, болезненно-белыми плечами, сердился. Вскоре выяснилось, что певец моря не умеет плавать.

Я лег с ним рядом на теплый песок. Он неожиданно признался, что пишет поэму об украинце-хлеборобе, который дезертировал из красноармейского отряда и попал к Нестору Махно — как раз тогда, когда батько, после совместных действий с Красной Армией, внезапно повел свою орду против сил Котовского.

— Я пишу эту вещь в стиле Шевченко, — сказал Багрицкий. — Силлабический украинский стих не удастся русским переводчикам, даже такому, как Сологуб. Я докажу, что силлабика может отлично звучать по-русски. Послушайте.

Он прочел мне изумительные строки об Устинье, жене Опанаса. В прославленную «Думу про Опанаса» эти строки не вошли. Кажется, Устинья — действующее лицо в либретто оперы, написанном Багрицким впоследствии по мотивам «Думы». А в прочитанной мне главе Устинья собирается рожать, когда на Украине бушует гражданская война, мужа нет, он воюет где-то далеко, крестьянка не хочет, боится рожать в такое время, кричит, просит: «Рушником вяжите груди».

Теперь Багрицкого начинают забывать. Когда-то один из самых ценных и популярных поэтов (впрочем, Ахматова и Мандельштам и в те времена высказывались о нем пренебрежительно), он перестал интересовать молодых стихотворцев и стихолобов. Всем существом своим стремясь

идти в ногу со временем, он не понимал, куда идет время. Он сочинил немало дурных стихов. Сначала в родовых муках он освобождался от эпигонского южного акмеизма, потом (повторю выражение из своих стихов) «самообман он впрыскивал в себя как наркоман». Но я уверен, что «Думе про Опанаса» и, может быть, десятку его стихотворений суждено жить в русской литературе. А это немало. Никто так, как Багрицкий, не описал в стихах трагедию украинского крестьянина, обманутого всеми режимами. Есть в «Думе» мелкие неточности, паникадило спутано с кадиллом, вряд ли пажить, т. е. пастбище, «свищет житом», т. е. рожью, но зато в этой поэме столько пленительных картин, столько музыки, столько строк, ставших крылатыми. В молодости я знал ее наизусть и умел читать, подражая хрипловатому, задыхающемуся и в то же время певучему голосу Багрицкого.

Между прочим, Катаев, чья память всегда отличается точностью, как-то сказал мне, что сравнение цвета коня с рафинадом подарил Багрицкому он. В этом сравнении чувствуется склад крестьянского украинского ума — сахарных заводов на Украине было много, а сахар стоил дорого, был в хате редкостью:

Жеребец под ним сверкает
Белым рафинадом.

И еще один раз он взял меня с собою на прогулку. Мы пошли с ним на «охотничий рынок». Не помню, где он помещался, запомнил только, что мы прошли до самого конца Нежинской, пересекли Конную. Меня поразило, как он хорошо знает птиц. Он подводил меня к клетке и называл: «Вот щеглы, вот снегири, вот сизари, турманы, воркуны». Он долго стоял около голубей, хотел купить, но денег ему не хватало, а уйти от птиц не было сил.

Вскоре после нашего знакомства Багрицкий уехал в Москву. Через несколько лет он мне рассказывал:

— Приехал из Москвы Валька Катаев. Он пришел ко мне на Дальницкую и сказал: «Эдя, едем в Москву. Там тебя ждут. Я купил билет. Соберай вещи». А какие у меня вещи? Я взял клетку со щеглом.

Он поехал навстречу славе.

«Дума про Опанаса» была напечатана в сокращенном виде Иосифом Уткиным в «Комсомольской правде» и полностью в «Красной нови» Александром Воронским. Тут мне вспоминается такой эпизод. Багрицкий уже как-то пробовал, еще в 1923 году, поехать в Москву за славой, и, казалось бы, небезуспешно. Воронский опубликовал стихотворение провинциального поэта в «Красной нови». Однажды (пересказываю Багрицкого), когда он сидел в кабинете редактора, вошел туда Есенин. Воронский представил ему Багрицкого, сказал: «Вот, собираем литературные силы, товарищ приехал из Одессы, мы его напечатали» — показал Есенину свежий номер журнала. Есенин прочел стихотворение, небрежно заметил: «Здесь нехорошо «земля рассолодела», нужно «рассолодела». Багрицкий возразил — мол, его ударение правильное. «Зачем спорить, — решил помирить поэтов Воронский — заглянем в Далья». По словам Багрицкого,

Даль подтвердил его правоту. «Что он понимает в русском языке, этот жид», — будто бы сказал Есенин о Дале.

Вслушав рассказ Багрицкого, я пошел в нашу Публичную библиотеку на Херсонской, взял четвертый том Даля, — впервые взял в руки словарь. Прав оказался Есенин. «Разсолодеть», — утверждает обрусевший датчанин.

Как я мог убедиться, Багрицкий в своих литературных симпатиях или антипатиях никогда не исходил из соображений личного характера, но, может быть, после этого эпизода он невзлюбил поэзию Есенина? Он очень любил Клюева, но посмеивался над крестьянскими поэтами, называл их «Из альманаха «Анадьсь»».

Знакомство с Далем, совершившееся столь случайно и перешедшее в постоянное, излюбленное чтение, дало неожиданно сильный толчок уже зарождавшимся во мне намерениям. Хотя я говорил без одесского акцента, хотя мой собственный словарь, благодаря хорошему слуху и не только молитвенному, но и пытливому чтению русских классиков, был не беден («У Семь идиотическое чувство русского языка», — позднее скажет обо мне Багрицкий), — я понимал, что настоящую, живую, богатую и чистую русскую речь услышу не здесь, на пестром, многонациональном юге, а в России. Я должен жить и учиться в России.

Не помню, когда Багрицкий навсегда переехал в Москву. Я окончил среднюю школу, стал усердно посещать литературные кружки и объединения — «Станок» при «Одесских известиях», «Молодую гвардию» при губернской комсомольской газете того же названия, Южно-Русское общество писателей, странно и глухо доживавшее свои последние дни, «Перевал», ничего общего не имеющий с московским. Но Багрицкого я не забывал, мысленно продолжал читать ему свои юношеские произведения, мысленно конструировал его мнение о них.

Он научил меня понимать прекрасное и распознавать уродливое. Его наставничество сводилось к следующему. У скульптора есть нечто существенное — глина, мрамор, у живописца — краски, а у поэта нет ничего материального, только слово, звук, а ему, поэту, надо создавать живое — дерево, птицу, зверя, облако, человека, создавать из ничего, из слова. Между тем слово — это все. Вот почему, добавлял Багрицкий, мы должны поступать по совету Кольриджа: расставить наилучшие слова в наилучшем порядке. Теперь я понимаю, что Багрицкий упрощал дело, приравнивая к пониманию подростка, но само дело было хорошим, полезным. Тогда я не знал, что сравнение поэта со скульптором и живописцем Багрицкому подсказал Баратынский, позднее Брюсов.

Я много пишу о Багрицком не только потому, что с ним связаны годы моего отрочества и юности. Так же как не случайно то, что его ценили знатоки и Государство, не случайно и то, что теперь от него отступили знатоки, а Государство толком не знает, как с ним быть. Во время борьбы с космополитизмом критик Тарасенков объявил «Думу про Опанаса», до этого блиставшую в «золотом фонде» советской поэзии, произведением сионистским, нападают на Багрицкого и нынешние черносотенцы. Его характер я как-то попытался очертить в небольшой поэме

«Литературное воспоминание». У меня впоследствии в Москве, в Кунцеве, были с ним жестокие споры, порою кончавшиеся, хотя и непродолжительными, разрывами. Я кричал (да, кричал) на него, когда он решил вступить в зловонный гадюшник РАПП, — я не хотел понять, что туда его толкали материальные трудности, надежда (сбывшаяся) получить постоянное жилье в Москве вместо снимаемой им половины избы в Кунцеве, где не было самых необходимых удобств, особенно необходимых человеку больному. Все дурное отошло, а хорошее живет во мне поныне. Две вещи я буду помнить всегда: то, что Багрицкий был поэт, и то, что он научил меня азбуке прекрасного. Главная черта этого блестяще-талантливого и безвольного до безнравственности человека — обожание поэзии. Именно — обожание. Мысль о том, что «поэзия есть Бог в святых мечтах земли», никогда не была для него крылатой фразой Комозенса—Жуковского. Она была его вероисповеданием. Может быть, он потому и не стал первостепенным поэтом, что любил поэзию, как Бога — робко и с трепетом грешника, часто впадающего в государственное безбожие. А с Богом, видимо, надо попробовать бороться, как это сделал Иаков, чтобы победа борющегося стала победой Бога. Стихи Багрицкого вроде «tbc», или «Смерти пионерки», или «Февраля» суть не борьба с Богом, а постыдная — тем более постыдная, что искренняя, — капитуляция перед дьяволом.

А какие чудесные строки, даже в последние его годы, рождались из-под его карандашного тупого огрызка, упрятанного в толстые пальцы. Например, эти:

Весеннего мира челядь —
Ящерицы, жуки,
Они нашу землю делят
На крохотные куски.
Ах, мальчики на качелях,
Как вздрагивают суки!

Мне запомнилось, как этими строками восхищался Михаил Кузмин, сидя у Багрицкого в Кунцеве на крестьянском столе рядом с аквариумом, снимая очки и расширяя в восторге большие — два черных блюда — креольские глаза и в то же время болтая ножками в каких-то (подумал я так) прюнелевых полусапожках. Он уже мало был похож на известный сомовский портрет — суше стало лицо, на висках появилась седина, и только глаза остались сомовскими. Одна из последних, написанных незадолго до его смерти статей Кузмина была крайне хвалебным отзывом о поэзии Багрицкого...

Окончив художественную профшколу, я не поступил сразу в высшую. Причин было несколько. Прежде всего, в Одессе к тому времени ликвидировали нашу гордость — Новороссийский университет, на его месте учредили Инархоз — институт народного хозяйства, для меня отнюдь не привлекательный. Мало того. В институт принимали в первую очередь рабочих крупных фабрик и заводов, а также «незаможников», сельскую бедноту, затем рабочих мелких предприятий, кустарных мастерских, затем —

детей лиц перечисленных категорий. У последних было весьма немного шансов попасть в высшее учебное заведение, еще меньше — у совслужащих, людей свободных профессий и их детей. Но самое главное — мне хотелось уехать в Москву, учиться по-русски, а наш Инархоз был украинизирован. Я любил и люблю украинский язык, но родной, единственный для меня — русский.

Я принадлежал к третьей категории граждан, так как мой отец работал закройщиком на небольшой швейной фабрике имени Леккёрта, которая помещалась в одном из примечательных зданий — в старинном полу-круглом доме на Греческой площади. Чтобы улучшить мое социальное положение в преддверии студенческой карьеры, дать мне возможность перейти во вторую категорию, стать членом профсоюза, отец договорился со скорняком Шварцманом, и тот принял меня в ученики. Этого Шварцмана под фамилией Беленький я вывел в своей неизданной повести «Записки жильца».

Скорняжное мастерство мне не удалось. Шварцман для начала поручил мне вымочить шкурку каракуля и прибить к доске будущий воротник. Я поранил себе пальцы, гвоздики у меня ломались, шкурка, в особенности лапки, дырявилась. Шварцман в околотке слыл богатым человеком, но одевался с нарочитой, вызывающей бедностью, зимой — в одну из предназначенных на продажу хорьковых шуб без верха, летом — в нечто засаленное и рваное, бывшее когда-то меховым жилетом. Делал он это не из скупости, он не был Плюшкиным, и не из страха перед фининспектором — в той декларации, которую он подавал ежегодно, он указывал сумму своих немалых доходов цифрой, близкой к истине, — он был полон древней тоски и наступательного безразличия к жизни, к ее радостям. Семья его обитала напротив мастерской, в многокомнатной квартире, на той квартире он только ночевал, обеда ему не приносили, он питался всухомятку, чаще всего кефиром с бубликом, и выпивал целый самовар чаю с крохотным, крепким кусочком, отколотым от сахарной головы в синей бумажной обертке. Глаза у него всегда были красные. Однажды, когда я ставил самовар в каморке за магазином, я услышал, как он всхлипывает. Говорили, что его семейная жизнь сложилась неудачно. Еще говорили, что он выдумщик, соседи называли его «враль Шварцман». Убедившись, что я плохо приспособлен к скорняжной работе, он посмотрел на меня слезящимися, красными глазами и сказал:

— Разве твое дело — каракуль? Или белка? Или выдра-котик? Твое дело читать мне газету, но с объяснениями.

Был тот знаменательный, нынешним поколениям непонятный год, когда в «Правде» регулярно печатался дискуссионный листок. Представители оппозиции, все, кроме Троцкого, свободно высказывались, чаще других — Бухарин, Рыков, Каменев, Зиновьев и что-то кричал с места некто Мойсеенко. Так и запомнились жирным шрифтом слова: «Мойсеенко с места». А в «Крокодиле» была помещена карикатура на главу правительства: Рыков, растопырив огромное, больше всего лица, ухо, прислушивается на Сухаревском рынке к злобной клевете торговков. Афины, Аркадия, да и только!

И вот в мастерской Шварцмана, в те летние дни, когда меховая коммерция замирает, стали собираться меховщики, чьи заведения помещались поблизости, между Покровской церковью и Ришельевской. Они слушали мое чтение, нервно, нетерпеливо требовали от меня комментариев, я их давал, как умел, искал доступную форму, чтобы все меня понимали. Честно говоря, самую суть они понимали лучше меня, препятствием для них была словесная оболочка. На вопрос моего отца, каковы мои успехи в скорняжном ремесле, Шварцман ответил: «Я мальчиком доволен». Отец ему не поверил, Шварцману мало кто верил, но успокоился.

Во время чтения дискуссионных листов самые трудные — и самые умные — вопросы задавал мне мастер, непомерно тучный, старый, но еще чернокудрявый, носивший меховую фамилию Корсак. Однажды, когда чтение закончилось, Корсак, тяжело пыхтя и отдуваясь, сказал:

— Надо закрывать дело и поступать в артель. Эти воры жить нам не дадут.

К удивлению соседей, он быстро задешево распродал все шубы, шкурки, готовые воротники, горжетки, палантины, добровольно отдал помещение своего магазина (теперь там нотариальная контора) в распоряжение коммунотдела и стал рядовым членом артели. Через год, когда наступил великий перелом и у других меховщиков отобрали все, нажитое долгим, умелым трудом, а некоторых даже посадили и выслали далеко на север, соседи поняли, как толково изучил Корсак дискуссионный листок нашей партии с моими мальчишескими комментариями, как своевременно и удачно сделал правильный вывод.

Получилось так, что и мне пришлось сделать правильный вывод из одного события на идеологическом фронте. Я особенно старательно посещал литературный кружок при газете «Молодая гвардия», наименее интересный в городе. На то были причины. Связь с газетой давала мне возможность получать время от времени некоторый заработок. Иногда я подменял заболевшую корректоршу, иногда меня как корреспондента редакция посылала на село. Заработок мой, хотя и ничтожный, был ощутим в нашей бедной семье — отец работал на пять ртов. Болезнь его ухудшалась, ему недолго оставалось жить.

Из моих кратких сельских командировок мне особенно запомнилась одна. Речь шла об убийстве селькора. Деревня была необычная: население ее составляли одни болгары. Во многих хатах, наряду с портретами родственников, висели портреты болгарского революционера Благоева и Тургенева — последнего чтили как создателя образа Инсарова. Было нетрудно выяснить, что селькора убил односельчанин не по политическим мотивам, как трубили газеты, а из ревности. Мою заметку, где характер преступления был изложен в соответствии с действительностью, в газете не поместили, поместили другую, сочиненную сотрудником, который из редакции не выезжал, все выдумал так, как ему велели. А что касается болгар, то все они оказались кулаками. Они и вправду, как и соседние немецкие колонисты, жили зажиточней украинцев. У самого неудачливого были две-три коровы и лошадь, а кур и гусей — не счесть. В пору страды они нанимали батраков-украинцев. И вот братушек, поголовно всех, выслали.

Это был двойной геноцид — классовый и расовый. Я был в той болгарской деревне в день депортации. Через много лет я написал стихотворение «Лунный свет» — о высылке крестьян. Твардовский, единственный редактор, который иногда печатал тогда мои оригинальные стихотворения, забраковал «Лунный свет», сказал: «Не так и не вам об этом писать». «Что не так — допустим. Но почему же не мне? Вы же об этом не пишете», — кратко заметил я. Но могут ли спорить слова с силой? Оказывается, могут. В моей книге «Кочевой огонь» это стихотворение 1963 года напечатано.

Но в начале 1929 года неприятности у меня произошли с другим стихотворением. Называлось оно просто: «Бог». Только самонадеянный юнец способен был так назвать свое стихотворение. Я его потерял, но в 1980 году, когда, в связи с «Метрополем», вражеские голоса стали изредка упоминать мое имя, одна одесситка, посещавшая, как она мне написала, наш кружок и переселившаяся (может быть, насильственно) в Сибирь, прислала мне, на адрес Союза писателей, из которого я только что вышел, это стихотворение, случайно у нее сохранившееся на протяжении полувека. Оно оказалось совершенно беспомощным и по мысли, и по исполнению (что одно и то же), рифмы неряшливо-усеченные, но одна строка мне показалась сносной:

Вступаем в моельни, читаем молитвы, кадим,
Но кто объяснит, почему
Все просим и просим, а дать ничего не хотим
Творцу своему?

По дурусти я прочел «Бога» на занятии молодогвардейского кружка. Это сейчас трудно себе представить: 1929-й, грозно-переломный год, кружок при комсомольской газете — и такое, с позволения сказать, произведение.

Был скандал. Меня вызвала к себе хорошенькая редакторша «Молодой гвардии» Феня Мальц — одна из тех, которые теперь называются «комсомольцами двадцатых». Я всегда сомневался в их искренности. Возможно, что я ошибаюсь. Феня топала ножками в балетках, грозила. На другой день ко мне в Овчинниковский пришел завотделом губкома комсомола по фамилии, как мне кажется, Селиванов. Он говорил со мною дружелюбно, интересовался моими планами, воспитывал:

— Ты учишь у хороших поэтов, у Безыменского. У него не только содержание богатое, но и форма исключительная. Например, вслушайся: «А я иду и думаю упорно о себестоимости советских товаров». Усек? Два раза «иду»: иду и думаю. Называется аллитерация. Учишь, работай, заходи ко мне в губком, — знаешь, на Герцеской.

Заходить не пришлось. Селиванова вскоре арестовали как троцкиста.

Что же касается происшествия с моим стихотворением, то оно, к счастью, растаяло, растворилось в потоке дней. Но тогда началось мое смирение. Не сразу — я еще не сдавался несколько московских лет, — а началось. И не то, совсем не то смирение, к которому нас, гордых, призывал Достоевский, а постыдное, рабское, не перед Богом смирение, а перед людьми, тоже рабами. Долго же оно длилось...

Непосредственным результатом происшествия было то, что меня лишили возможности подрабатывать в газете, а одна простая душа запомнила и записала беспомощные, но искренние строки и половину столетия хранила их в Сибири. Спасибо ей. Именно такие, как она, а не «комсомольцы двадцатых» — двигатели новой России. Не позабытые Демьян Бедный или Безыменский, не более поздние фавориты Лужников — а Ахматова, Мандельштам, Пастернак, поэты гениальной гражданственности, явились силовым полем русской поэзии советского периода, в них дыхание и тепловая энергия нашей эпохи.

Можно пожалеть таких, как Бердичевский, веровавших в свою веру, — правильное будет сказать — в свое изуверство, как веровали хлысты, иступленно и жестоко. А те ровесники Бердичевского, которые не веровали ни во что, — именно они стали нашими господами, они выросли на доносах, на крови своих товарищей, их ремесло — предательство, палачество, грабежи и кражи.

Можно пожалеть и недалекого идеолога Селиванова, но кто мне ответит, почему обладающие даже самой крохотной властью считают себя вправе нагло, свирепо, самоуверенно и невежественно распоряжаться литературой. И ведь так поступали не только низовые работники, а все могучие самодержцы, особенно тогда, когда и они были сочинителями, — и поэт Нерон при Петронии, и поэт султан Хусейн Байкара при Навои, и поэт Сталин при Мандельштаме, и поэты Мао и Хошимин, — все, начиная от эмиров и кончая борцами за мир.

Кажется, сырым мартом 1929 года Багрицкий приехал в Одессу, приехал победителем, знаменитостью. Бывший житель сарая на футбольном поле Джутовой фабрики был теперь одет романтически, как и полагается столичному поэту с громким именем. В узкой кожаной шапке с высокой тульей, в кожаном черном пальто, в неопикуемых крагах, он приехал, чтобы ошеломить Одессу, в которой еще недавно узнал унижение, бедность. Мне запомнилась веселая горечь одной его фразы:

— Я встретил Маркуса, своего соседа по Базарной. Роскошный парень, король железнодорожных спекулянтов. Увидев меня, он первым делом пощупал мое пальто: «Кожа — дешевка, маде ин Марьиной роща». Он и не слышал, что я автор «Думы про Опанаса». Вот вам и слава».

Был устроен вечер Багрицкого в Доме печати, в длинном, узком зале на Ланжероновской. То ли в зале было холодно, то ли форса ради, Багрицкий стоял на подмостках в своем кожаном пальто. Он прочел всю «Думу» целиком, «Контрабандистов» и другие эффектные вещи, читал он превосходно, поэты, как правило, читают свои стихи лучше, чем актеры, а Багрицкий владел этим искусством с особенным блеском, успех был огромный, его нищая молодость, хотя и с запозданием, торжествовала.

Он провел в Одессе всего несколько дней. Уже никого в городе не было из числа его литературных сверстников. Он скучал. Я был у него в доме на Базарной. Мне кажется, что отношения его с матерью были отчужденными. Мы каждый день гуляли с ним вдвоем под мокрым солнцем марта. Однажды на Николаевском бульваре, у входа в бездействующий фуникулер, я спросил его, одобряет ли он мое намерение уехать в Москву.

— Надо ехать, — сказал он твердо. — Вам будет нелегко, хазу в Москве теперь найдешь не быстро — это главная трудность, но придумаем что-нибудь, например, около меня, в Кунцеве, это близко от города, сезонный билет стоит пустяки. Мне бы самому надо было поехать в Москву раньше, пока астма была послабее, а я помоложе, но меня напугал Олеша, говорил, что в стихах теперь требуется сквозной лирический сюжет, а что это значит? Я подумал, что никому в Москве я не нужен, пропаду в холоде и в голоде. Мне кажется, что вы в Москве найдете свое место. У вас есть артистическая жилка, и очень возможно, что вы поэт. Вряд ли получится из вас большой поэт, но небольшой получится. Поверьте мне, я в этом деле съел свору собак, редко ошибаюсь. Я предсказал Гехту, что он станет писателем, и вот какой ни есть, а писатель из него вышел, даже Бабель кое-что хвалит.

Провожали его в Москву несколько человек. Среди них мне был знаком только один газетчик. Никого не было из его близких. Мать на вокзал не пришла. Он уезжал в плацкартном вагоне, в руках у него был продолговатый баул, обитый потрепанной кожей.

А через несколько месяцев, в конце августа, мы всей семьей двинулись по Пушкинской улице к тому же вокзалу. Миновали здание редакции и дом, в котором я родился, и дом, в котором помещался мой хедер, и Афонское подворье с голубыми, как одесское небо, куполами — чудесную церковь. Она действует и сейчас, мы с Инной Лиснянской посетили ее два года назад, жена поставила три свечи перед иконой Божьей Матери, мы вышли, чувствуя в сердце свет, из полупустого храма, и я вспомнил, как совсем молодым проезжал мимо этой церкви на извозчике, отец молчал, мама смеялась и плакала.

Я сел в бесплацкартный вагон — билет в плацкартном был нам не по карману, — поставил чемодан на самую верхнюю полку, боковую, на которой мне предстояло пролежать две ночи. Когда молод, особенно чувствуешь жесткость полки, ничем не покрытой, с годами это проходит.

Где будет мое столичное пристанище? Перрон провожал меня своим южным голошением. Эти люди были мне не знакомы, но я их знал всегда, они родились рядом со мною и живут и будут жить во мне. Сейчас пространство разлучит меня со здешним временем, с деревьями и зданиями на Пушкинской улице, а те и другие нередко одного роста.

Отец был задумчив, мама утирала слезы платочком, младшие сестренка и братик взбирались на подножку вагона и весело прыгали с нее. Пространство взвизгнуло, позвало свистком, поезд тронулся, я стоял у окна, а мои дорогие еще бежали по перрону, что-то кричали мне, но я их не слышал. А отцу уже тогда бежать было трудно.

Август 1985

ВЕЧЕР ШЕНГЕЛИ

Почти сто лет назад, в 1888 году, Чехов писал Григоровичу: «Из поэтов начинает выделяться Фофанов. Он действительно талантлив, остальные же как художники ничего не стоят. Прозаики еще туда-сюда, поэты же совсем швах. Народ необразованный, без знаний, без мировоззрения. Прасол Кольцов, не умевший писать грамотно, был гораздо цельнее, умнее и образованней всех современных молодых поэтов, вместе взятых».

Был ли прав Чехов? Время, о котором идет речь, действительно принято считать периодом упадка русской поэзии, хотя зажигал свои «Вечерние огни» великий Фет, развивалось дерзкое, оригинальное творчество Слуцкого, заворачивал юного Бунина кумир передовой молодежи Надсон, да и Апухтиным, и тем же Фофановым нельзя пренебречь, и уже близилась эпоха, когда начинали печататься старшие символисты — Мережковский, Гиппиус, Минский, предтечи Блока. И все ли тогдашние молодые — и достаточно известные — поэты составляли «народ необразованный, без знаний, без мировоззрения»?

Перебирая в памяти моих неудачливых собратьев той поры (до которых, скажу пополам, мне далеко), остановилось на самых неудачливых, ныне забытых. Дмитрий Цертелев защитил в Лейпцигском университете диссертацию на немецком языке «О теории познания Шопенгауэра», был удостоен степени доктора философии. В многочисленных трудах развивал взгляды Шопенгауэра и Гартмана. Перевел первую часть «Фауста». На его слова сочиняли музыку Танеев, Ипполитов-Иванов. Запомнились строки:

За пределами мира земного,
Где кружатся все мысли людей,
Есть страна всемогущего Слова
И прообразов вечных идей.

Последняя строка плоха, но сама мысль о существовании страны Слова и прообразов вечных идей за пределами дольнего мира не утратила и поныне своей тепловой энергии.

Знаменитые композиторы охотно сочиняли музыку и на слова Арсения Голенищева-Кутузова. Блеск графского титула он сочетал с блеском образованности, но не догадывался, как нынешние, что банальность можно нарядить в бессмыслицу, украсив ее панельной наглостью и продажностью. Позабыт он не случайно. Время — судья строгий, нередко жестокий, но всегда — всегда! — справедливый, однако и этот судья одобрил бы, как мне кажется, «Плакальщицу» Голенищева-Кутузова:

Следы побоища поспешно
Сначала вьюга замела,
Исчезла кровь, земля бела,
Но вьюга плачет безутешно
И по снегу несет печаль,
Как будто ей убитых жаль.

Любезный читатель, сойдем с заоблачных вершин Олимпа русской поэзии, минуем предгорья, холмы и холмики, обозрим оползневые берега Леты, да и в Лету заглянем. Господи, какие были люди, как были они, смертные, связаны родственной связью с бессмертными! Вот эта связь резко и счастливо отличает их от многих нынешних, не только малограмотных, но даже и не подозревающих о всей глубине своей болотной тьмы, совершенно чуждых русской культуре, хотя корысть, а также рабство, сознательное и подсознательное, делает их теми Искаритовыми, патриотами из патриотов, о которых писал Курочкин, переводчик Бранже.

Кто спорит, гениальный Чехов имел право писать о поэтах, своих современниках, что они «совсем швах». Но теперь, через сто лет, не дано ли и нам право удивляться тому, какие яркие были у них биографии! Они могли о себе сказать словами Андрея Белого: «Бывало, боги-женолюбцы сходили к нашим матерям».

В детстве, в годы голодного и холодного военного коммунизма, я жадно при свете копилки читал Бог весть как сохранившиеся у нас в доме дореволюционные сборники «Чтецы-декламаторы», и во всех почетное место занимали стихотворения Аполлона Коринфского, чьи имя и фамилия, в своем сочетании, кажутся безвкусным псевдонимом, что неверно. Аполлон Коринфский (это его настоящие имя и фамилия) поступил в Симбирскую гимназию в первый класс — в тот самый, где учился девятилетний Володя Ульянов. В юношеские годы В. И. Ленин бывал у своего соученика, сына городского судьи, кандидата естественных наук, пользовался его прекрасной библиотекой в языковском доме, где проездом останавливался в Симбирске Пушкин. Все связано, все неразделимо! Стихом Аполлон Коринфский владел великолепно (что, разумеется, еще не свидетельствует о таланте художника). Вот строфы из «Красной весны»:

Летник — прозелень, оборчатый —
Облегает стройный стан,
Голубой под ним, узорчатый
Аksamитный сарафан.

Ни запястий, ни мониста нет,
Ожерелий и колец,
И без них-то взглянешь — выстынет
Сердце, выгорит вконец!

Каков Аполлон! Еще до Маяковского, Пастернака, Цветаевой рифмовал «мониста нет — выстынет!» О мои душевные, позабытые, как я вас понимаю, как я вас по-братски люблю! Досягну ли я до вас, сравняюсь ли с вами, уйду ли я, как и вы, из памяти малочисленных читателей в страну Слова за пределами мира земного, и кто-то когда-нибудь вспомнит ли и меня, как я вас?

Вот вы, например, великий князь Константин Романов, поэт К. Р., возьмете ли вы с собою и меня, сына одесского ремесленника, обнимете ли вы меня, чтобы в Лету мы канули вместе? Президент Российской Академии наук, вы образовали в ней разряд изящной словесности. Первыми академиками стали не только граф А. К. Толстой, не только дворянин П. Д. Боборыкин, но и сын мелкого лавочника, внук крепостного А. П. Чехов, и враг Романовых, революционер В. Г. Короленко. Вы были справедливы, мой добрый К. Р.! Как знать, не будь вы великим князем и живи в наше время, вы, при своем скромном даровании, могли бы стать классиком советской поэзии. Вы предугадали тот стихотворный пошиб, который предложил нам в советское время сын смоленского крестьянина. Вспоминаю ваше «Письмо из-за границы»:

Гой, измайловцы лихие,
Скоро ль вас увижу я?
Столковалась по России
И по вас душа моя.
Я фельдфебеля рассказы
Стану слушать по утрам
Про солдатские проказы
По соседним кабакам,
Про артельную лошадку,
Про количество больных,
Про гимнастику, прикладку
И успехи молодых.

Узнаёшь ли, любезный читатель, стиль и голос Василия Теркина? Тот же ритм, та же солдатская выправка строки, то же пристрастие к прозаизмам: «количество больных», «гимнастика», «прикладка». Стихи, а все понятно. Чувствуется не только литературная, но и духовная близость великого князя и крестьянского сына. Как и Василий Теркин, царский солдат нес тяжелую свою судьбу честно, весело, преданно. Конечно, стихи обоих авторов далеки от жгучего реализма русской литературы, от трагических картин солдатской службы, которые мы увидели в толстовском «После бала» или в купринских рассказах, но отметим с признательностью, что и К. Р. и Твардовский не рисуют сплошь розовыми красками жизнь солдат, которые

От той же отторгнуты жизни привольной,
От жен, матерей и отцов.

Им стала второю семьею та рота,
Сроднил меж собою их полк,
Одна их связала друг с другом забота,
И царская служба, и долг.

Далее под пером К. Р. возникает уже совершенно Василий Теркин:

Веселый и ревностный, бойкий, смысленный,
Он с честью носил свой мундир,
И вышел лихой из него отделенный
И взводный потом командир...
Дожди ли над лагерем нашим прольются,
Тоску наводя на людей,
В палатке его и поют, и смеются,
Хоть вымокли все до костей.

После смерти Сталина Твардовский задумался, одумался, написал «Теркина на том свете», но, кандално зависимый от внешних идеологических обстоятельств, никогда он не достигал той христианской силы сострадания к тяжкому уделу простого люда, какая слышится нам в безыскусственных стихах великого князя:

Умер, бедняга! В больнице военной
Долго, родимый, лежал.

И еще одна необычная биография. Граф Петр Бутурлин родился во Флоренции, куда переселился его прадед, вельможа екатерининских времен, камергер и сенатор. Первые стихи Петрино писал по-английски, издал их во Флоренции отдельным сборником. В пятнадцатилетнем возрасте приехав в Россию, начал писать стихи по-русски. Сочинял он всю свою жизнь (недолгую) только сонеты. «Родился я на родине сонета». Чехов не обратил (а мог бы!) внимания на его сонет «Чехарда», написанный в 1895 году:

Царю тринадцать лет. Он болен, худ и слаб.
Бойтся пушек, гроз, коней и домового.
Но блещет взор, когда у сокола ручного
Забьется горлица в когтях зардевших лап.
Он любит, чтоб молил правитель-князь, как раб,
Когда для подписи уж грамота готова,
И часто смотрит он, не пророня слова,
Как конюхи секут сенных девиц и баб.
Однажды ехал он весной на богомолье
В рыдване золотом — и по пути, на всполье,
Заметил мальчиков, игравших в чехарду.
И, видя в первый раз, как смерды забавлялись,
Дивился мальчик-царь: и он играл в саду
С детьми боярскими, но те не так смеялись.

Забудем о том, что так жестко о царе пишет граф. Это примечательно, однако не столь уж важно. Но много ли ты назовешь, любезный читатель, нынешних стихотворцев, учлененных в Союзе писателей, способных в краткой, трудной форме написать такой сложный психологический по-

ртрет, такой красочный по словесной живописи и точный, резкий по рисунку? Да, назовешь шесть или семь имен из числа многих сотен. А между тем Бутурлин читателями забыт. Так прекрасны и могучи боги, полубоги и герои, пребывающие на Олимпе русской поэзии, что забываются те, кто однажды был позван к ним на пир и пригубил их чашу. Что же станет с теми шестью или семью? Бог ведает.

Им тем более трудно, что их жизнедеятельность зависит от невежественного стихотворного скопища, от бесчисленных саламандр, которым талант вынужден порой угождать. Таких же темных, бездарных, безграмотных встречал сто лет назад молодой Чехов в редакциях журнальчиков и газетенок, кое с кем даже вступал в дружеские отношения, но то была нищая, голодная, бессильная братия, иногда пьяная, а нынешняя хотя и пьянь, хотя и столь же бездарная и безграмотная, как и рифмачи прошлого века, но пьянь сытая, самоуверенная, самоуправная, начальственная, по-сиамски сросшаяся с компетентными органами.

Я вовсе не хочу сказать, что такие, как Бутурлин, забыты несправедливо. В России никогда не было непризнанных поэтов — «проклятых», как во Франции. Все всегда на своих местах стояло, в худшем случае — на свои места рано или поздно становилось. И беда не в том, что, как писал Чехов, сейчас поэты «совсем швах». Беда наша в том, что этот «народ необразованный, без знаний, без мировоззрения» находится у литературной власти, разрешает (или не разрешает) публикации, определяет тиражи, раздает премии, квартиры, льготы, привилегии, ласки, поощрения и при этом не знает (вернее, не хочет знать), что он «швах». Он не только по злобе (а она велика), но и искренне, по своему невежеству, считал нашу национальную русскую гордость Иосифа Бродского, уже в юности обещавшего нам огромного, драгоценного поэта, — ерундой, он этот темный, но имеющий власть стихопишущий народец, состоящий из авторов чуть ли не сорока прижизненных книг (у Тютчева — две, у Анненского — одна, если не считать трех трагедий на сюжеты античных мифов, у Ахматовой — шесть), искренно полагал, что никакой цены не имеют стихи Марии Петровых, Александра Кочеткова, Аркадия Штейнберга, Арсения Тарковского (пустившегося на дебют, имея пятьдесят два года от роду). Обсуждая альманах «Метрополь», все эти сочинители, озлобленные, завистливые и одновременно самодовольные, жадные чиновники, от тайных советников до титулярных, с искренним невежеством издевались над одним из самых значительных поэтов русской современности Юрием Кублановским.

Характерная их черта — они отсекают от таланта культуру. Под культурой я понимаю не стяжательское накопление заимствованных сведений, а наследственную, я бы сказал — легитимную способность деятельного развития духовных ценностей. Добавлю к этому. Если музыка — самый интернациональный род искусства, то стихотворная поэзия — самый национальный, ибо, как душа и плоть, слилась с языком. Даже наиболее отчаянные авангардисты не в силах оторвать поэзию от языка. Терпели поражение даже такие таланты, как Бальмонт, бесспорные шедевры которого загажены волапуком, как Игорь Северянин со своими

дешевыми, чужеродными русскому языку неологизмами, как Маяковский, обновивший понятие русской рифмы, бедными возможностями которой огорчался еще Пушкин, но так и не вырвавшийся, хотя и всю жизнь пытался, из нерушимых границ нашей метрики. То, что основано на незабываемых законах русского языка и русского трансцендентного миропонимания Кантемиром, Ломоносовым, Сумароковым, Державиным, ни один наш стихотворец не в состоянии разрушить. Истина элементарная. Саламандры ее не знают.

Впрочем, не дадим раздражению, даже объяснимому, даже простительному, управлять нашим пером. Многие советские стихотворцы в частной жизни люди, приближающиеся к порядочным. Суть в том, что они, знаменитые и безвестные, «тихие» и эстрадные, умелые и беспомощные, прогрессивные и реакционные, западники и славянофильствующие, не связаны с русской национальной культурой, для них Державин, или Жуковский, или Тютчев, или Случевский — громкие далекие имена, а не действующие и поныне могучие движущие силы. Они, эти виршеписцы, невежественны и потому, что существуют вне христианской цивилизации, за воздушными стенами того дома, в котором двадцать веков живем мы, будь то атеисты, будь то верующие, принадлежащие к различным конфессиям.

Средневековые восточные поэты, рабски подносившие шахам и эмирам панегирические свитки, были бесконечно свободнее нынешних чиновников: они имели в душе Бога. Но что может быть ужаснее и, в сущности, несчастней раба, не знающего Бога.

Жертвой тотального и правящего стихопишущего рабского невежества стала и поэзия Георгия Шенгели.

Я часто думаю о его судьбе. Среди не изданных у нас работ Анны Ахматовой сохранился «План книги». Раздел второй называется «Люди». Перечисляются имена. На четвертом месте — Шенгели.

В 1927 году вышел небольшим тиражом памфлет «Маяковский во весь рост». Мне было шестнадцать лет, когда я в Одессе прочел эту книжицу. Имя ее автора, Шенгели, было мне знакомо, но смутно. Маяковский — единственный в мире крупный писатель, которого я никогда не любил и не люблю, но от памфлета Шенгели повеяло на меня чем-то дурным. Чувствовалась вражда не общественно-литературная, а личная. Плохой признак.

Вначале памфлетист скорее сдержан. Он отдает должное своему герою: «Талантливый в 14-м году, еще интересный в 16-м». Беспристрастный исследователь должен был убедительно показать, в чем и как проявился талант в указанные годы. Но памфлетист торопится заявить: «В 27-м уже не подает никаких надежд... и способен лишь реагировать на внешние раздражения вроде выпуска выигрышного займа, эпидемии расстрат, моссельпромовских заказов на рекламные стишки».

В чем же причина положительных суждений критики и многочисленных читателей Маяковского? Шенгели находит броскую формулировку. Поэзия Маяковского, по его мнению, — «плод творческого усилия особой социальной прослойки, которую я называю люмпен-мещанством».

Эта мысль выглядела бы, возможно, более убедительной, если бы Шенгели развил ее, если бы на минуту стиховеда в нем сменил философ и социолог. Он пытается это сделать — с некоторой робостью:

«Люмпен-мещанин создает свою поэзию — поэзию индивидуализма, агрессивности, грубости и при наличии некоторого таланта (значит, талант есть!), при болезненной общественной нервности критической эпохи добивается порой некоторого успеха».

Но что это такое — «люмпен-мещанство»? Каковы его роль, его значение в нашем государстве? Здесь Шенгели не хочет (опасается?) додумать, фраза его становится неряшливой.

Шенгели обретает силу, когда исследует особенности мастерства Маяковского. Памфлетист резко и логично отвергает утверждения Маяковского о том, что «старые размеры», «ямбы и хорей» давно «подохли», что современному поэту стыдно, при бешеных темпах жизни XX века, пользоваться этим стихом, которым пользовались в XVIII веке, когда никаких автомобилей не было!

С уверенностью эрудита Шенгели разбивает тезис Маяковского:

«Четырехстопный ямб, которым написан «Евгений Онегин», может быть построен, оставаясь четырехстопным ямбом и имея только мужские и женские окончания, — более чем тремястами способами в одной строке (грандиозное замечание!). Две строки этого размера, следовательно, могут дать девяносто тысяч комбинаций, а четыре строки — свыше восьми миллиардов комбинаций. Целые же стихотворения, в 16, 20 строк, открывают возможности, выражаемые астрономическими числами. Совершенно ясно, что только микроскопическая доля этих возможностей была осуществлена на практике и, следовательно, каждый поэт в рамках «дохлого» четырехстопного ямба может быть вполне индивидуален, может отыскать новые системы ритменных звучаний. То же самое можно утверждать касательно всех других «дохлых» размеров».

Шенгели прозорливо прав. Так оно и случилось. В поэзии нет и не может быть так называемого новаторства. Кто талантлив, тот и нов. Версификаторские новации, порой изобретательные, не новаторство. А те, кого называли или называют новаторами, живут в литературе могильной жизнью.

В чем же беда памфлета Шенгели? В чудовищной пристрастности. Вот он цитирует известные строки раннего Маяковского:

Время! Хоть ты хромой богомаз,
Лик намалой в мою божницу
Уродца века.
Я же одинок как последний глаз
У идущего к слепым человека.

«Здесь, — чуть ли не издевается Шенгели, — жажда оставить хоть какой-нибудь след в «божнице уродца века». Замечание глухого, не услышавшего гениального трагизма заключительных строк:

Я же одинок как последний глаз
У идущего к слепым человека.

Не одного Шенгели раздражал свойственный «новой» литературе язык лабазных зазывал. С негодованием приводит он текст афишки, расклеенной Маяковским в Нью-Йорке:

Состоится вечер
Владимира Маяковского
Великого поэта СССР.

Афиша вызывает отвращение. Но почему же Шенгели умиляется тому, что Игорь Северянин «честно помещает титул «короля поэтов» на обложках своих книг»? Одна компания. Памфлетист это хорошо понимает: «Самореклама — естественное следствие люмпен-мещанского мироощущения. В ней видят показатель силы, а в действительности она — вывеска глубоко упрятанного бессилия».

Шенгели часто остроумен. Вот его замечание о знаменитых строках Маяковского:

Кто там шагает правой?
Левой, левой, левой...

«Шагают и правой, и левой попеременно: прыгать же на одной ножке по меньшей мере утомительно».

Не забывает Шенгели и о том, какие авторитеты одобряли Маяковского. Он напоминает читателю, что о вышеприведенных строках Блок сказал: «А все-таки хорошо». В чем же сущность того хорошего, которое увидел Блок? Шенгели об этом не говорит, а обязан был бы сказать. Так теряется доверие к автору памфлета.

Когда в 1929 году приехал в Москву, я почувствовал, что многие стихотворцы относятся к Шенгели презрительно, с негодованием приравнивая его нападки на Маяковского к нападкам Булгарина на Пушкина. Еще живя в Одессе, я спросил о Шенгели у Багрицкого. Мне запомнились два слова. О Шенгели-поэте Багрицкий сказал «позер», о человеке выразился нецензурно, хотя и беззлобно. Я узнал, что Шенгели несколько послереволюционных лет провел в Одессе, был близок к кругу местных поэтов. В своей (неизданной) пародии на «Василия Шибанова» А. К. Толстого, описывая завсегдатаев Дома Герцена («За пушкинской задницей пышно цветет советская литература»), Багрицкий делает такое наблюдение:

Там Уткин не Уткин, а Шелли,
И корчит поэта Шенгели.

Забегу вперед. Несколько лет назад Валентин Катаев сказал мне о Шенгели: «Мы его недооценили». Другой видный представитель юго-западной плеяды, Юрий Олеша, дружил с Шенгели, любил его стихи и, когда мы хоронили Георгия Аркадьевича, произнес прекрасную надгробную речь.

Прочтя в Одессе столь неприятный мне памфлет, я решил познакомиться с поэтическим творчеством автора, раздобыл изданную в 1922 году книгу его стихов «Раковина». Меня поразило стихотворение:

открывающее сборник. Так как «Раковина» стала библиографической редкостью, да и имя автора редко кто теперь помнит, я приведу это стихотворение полностью. Написано оно в 1919 году.

Ты помнишь день; замерала ртуть; и солнце
Едва всплыло в карминном небосклоне,
Отжелевшее; и снег звенел;
И плотный лед растрескался звездами;
И коршун, упредивши нашу пулю,
Свалился вдруг. Ты выхватил кинжал
И пальцем по клинку провел, и вскрикнул:
На сизой стали заалела кожа,
Охваченная ледяным ожогом...
Не говори о холоде моем.

Вот такой ледяной ожог я почувствовал, читая «Раковину» — лучшую, по-моему, книгу Шенгели. Среди тогдашних горячечных, истеричных вскриков и воплей имажинистов, футуристов да и пролетарских, холод стихов Шенгели нес читателю жаркое дыхание. Поэт безбоязненно обнажал прием:

Я скрипку в прорубь окуну,
На льдяном ветре заморожу
И легким пальцем потревожу
Оледеневшую струну.

Нет, холод этих стихов не показался мне холодом позера, эстета. Он сливался с холодом годов «военного коммунизма», с холодом нетопленых, заледеневших квартир, замерзшего вокзала, застывшего в своем мрачном движении индигового моря, бездействующего порта. А словарь Шенгели был, в ножнах старых метров, резким, режущим, как клинок. Шенгели убежден, что поэт должен «мысль рассечь ланцетом».

Да, только в молнийной игре, во вздохах
Насоса нагнетательного, в звонах
Дрожащих иступленных рычагов,
В порхани, свистящем лете поршней,
Отмеривающих стихи и строфы,
Ты золото из глубины подымешь
И вверх его по желобу косому
Тяжелой песней усмиришь.

Тяжелая песня, тяжелая лира... Есть что-то общее, при всей наглядной разнице в объеме дарования, у Шенгели и Ходасевича. «Жив Бог: умен, а не заумен, хожу среди своих стихов», — писал Ходасевич. А примерно в те же годы — Шенгели:

Люблю слова, певучую их плоть:
Моей душе, неколебимо пленной,
Их вестниками воли шлет Господь.

Автор предпочитает старые метры, больше всего — пятистопный ямб и александрийский стих, но найдем у него и верлибр, и изысканные разме-

ры. В «Краткой литературной энциклопедии» в качестве редко встречающегося метра приводится строфа из его «Барханов»:

Безводные золотистые пересыпчатые барханы
Стремятся в полусожженную неизведанную страну,
Где праят в уединении златолицы богдыханы,
Вдыхая тяжелодымную златоопийную волну.

В «Раковине» сверкают две жемчужины: «Державин» и «Ермолов». Вот строфы из «Державина»:

Он очень стар. У впалого виска
Так хладно седина белеет,
И дряхлая усталая рука
Пером усталым не владеет.
Вот и вчера. Сияют ордена,
Синеют и алеют ленты,
И в том дворце, где медлила Она,
Мелькают шумные студенты,
И юноша, волнуясь и летя,
Лицом сверкая обезьянним,
Державина беспечно, как дитя,
Обидел щедрым подааньем...
Бессильный бард, вернувшийся домой,
Забыл об отдыхе, о саде,
Присел к столу и взял было рукой, —
Но так и не раскрыл тетради.

С таким же острым пониманием человека, с таким же словесным блеском и проникновением в чудо словесности — например, как чутко воспроизведена обида Державина на то, что юноша его, великого поэта, «обидел щедрым подааньем», — написан портрет Ермолова. Узнать это стихотворение — радость, и я хочу этой радостью, мой любезный читатель, поделиться с тобой.

Он откомандовал. В алмазные ножны
Победоносная упряталася шпага.
Довольно! Тридцать лет в тяжелый плуг войны
Как вол упрямая влекла его отвага.

Пора и отдохнуть. Дорогу молодым.
Немало думано и свершено немало.
Чечня и Дагестан еще дрожат пред ним,
«Ермоловъ» выбито на крутизнах Дарьяля.

И те же восемь букв летучею хвалой
В Кавказском пленнике сам Пушкин осеняет.
Чего еще? Теперь Ермолов пьет покой,
В уединении Ермолов отдыхает.

И злость безвластия лишь раз его ожгла,
И птицы старости лишь раз ему пропели,
Когда июльским днем с Кавказа весть пришла
О том, что Лермонтов застрелен на дуэли.

Он хрустнул пальцами и над столом поник,
Дыбились волоса и клокотали брови,

А ночью три строки легли в его дневник:
«Меня там не было: я бы удвоил крови.

Убийцу сей же час я бы послал в поход,
В передовой огонь, в дозоры и патрули,
Я по хронометру расчислил бы вперед,
Как долго жить ему до справедливой пули».

В эти же годы написаны еще два портрета, «Денис Давыдов» и «Бетховен». Для Шенгели, «поэта большой литературной культуры» (из статьи о нем академика А. И. Белецкого), — искусство, поэзия, люди искусства и поэзии — превыше всего. Художник — «скворещник вольных граждан». Строка Вячеслава Иванова стала заповедью для Шенгели. Не свойство ли это небольших, но истинных талантов? Не оно ли было присуще и Игорю Северянину — учителю и покровителю юного Шенгели? Стихотворение «Бетховен» связано у меня с таким воспоминанием. Мы, уже подружившиеся, выступали с Шенгели в студенческой аудитории. Почему-то в зале стоял гул, мешавший читать всем выступающим. Когда представили слово Шенгели, гул усилился. Может быть, слушателям был известен памфлет «Маяковский во весь рост»? Но Шенгели, сверкая огненными восточными глазами из-за стеклянной прохлады очков, с властной громкостью выкрикнул в зал одно слово: «Бетховен». Зал неожиданно затих. Шенгели прочел — не о себе ли?

Хозяин к ушам прижимает испуганно руки,
Учтивостью жертвуя, лишь бы не резали звуки,
Мальчишка от хохота рот до ушей разевает, —
Бетховен не видит, Бетховен не слышит, — играет!

«Раковину» завершает поэма «Поручик Мертвецов». Моряк с кладбищенской фамилией, которому, по мнению адмирала, «керосину не выдумать», был отчислен с броненосца, переименован из мичманов в поручики и стал служить в адмиралтействе — «попал в сургучную Валгаллу». Однажды ему приснился «подлый сон»:

Сидит он нагишом в степи и видит:
Вдали идут покойники, в порядке
И по ранжиру, тоже нагишом;
И каждый тащит курицу под мышкой,
Ошипанную, гнусную на вид.
Подходят чередой к нему, слагают
У ног его всю эту пададь, тихо,
Таинственно и ласково шепча:
«Учителю, учителю...» И в страхе
Проснулся униженным поручик.
Курятинны с тех пор не ел он вовсе.

Безумный сон сменяется в крымском городке безумной явью революции. Собираются в каменоломнях забродчики, фронтовики, гамзеи в кленчатых фуражках, в бескозырках. Стрекочет фальцет пропагандиста. Голод. Дорожает кокаин. «Протоиерей постыдно окорнал волосы седые и рясу снял». С севера текут сермяжные фаланги, и матрос

С двумя серьгами, пьяный и кудрявый,
Захлебываясь «яблочком», сняя
«Авророю» на двухаршинной ленте,
Уже купал свой пыльный броневик
В водах Салгира.

Красные отступили. Мертвецов выволок из-под железной крыши «щуплого жиденка» Малкина и повесил его за ноги, потом повесил за ноги и курицу — субботний обед мальчика.

Георгий Шенгели и позднее часто влекло к эпосу, но лучшей его поэмой, на мой взгляд, остался ранний «Поручик Мертвецов». Хотя литераторы (и сам себя Шенгели) причисляли его к неоклассикам, к парнасцам, хотя многие видели и видят в нем эпигона русской поэзии девятнадцатого века, «Поручик Мертвецов» опровергает это мнение. Шенгели далек от классических образцов нашего «золотого века». Ближе он к прозе и стихам Бунина, с их необыкновенной, почти звериной зоркостью, с их праздником подробностей. Но Шенгели, в отличие от Бунина, мыслил тривиально. Он стремился к поэзии мысли, но мыслить не умел. Он умел рисовать. Наглядный пример — его убогая по мысли и убедительная по живописи поэма «Ушедшие в камень».

В своих воспоминаниях о Мандельштаме я привел сказанные мне слова Осипа Эмильевича: «Каким прекрасным поэтом был бы Георгий Аркадьевич, если бы он умел слушать ритм». Я думаю, что это не совсем так. Истинному поэту Шенгели мешало стать прекрасным другое. Он был лишен крыльев мысли. Бунин уверенно ходил по земле, но он и летал. Таким разным, как Бунин и Пастернак, «всесильный бог деталей» не был преградой для полета.

Когда мы познакомились и подружились, Шенгели подарил мне свою маленькую книжечку «Еврейские поэмы», изданную в 1920 году мифическим издательством «Аоницы», а в действительности — иждивением автора. В книжечке тринадцать стихотворений, все они полны сочувствия к многострадальному народу, все они мастерски написаны, но ни в одном нет оригинальной мысли, и, хотя поэт пишет о Иегове, которому «ведомо времен предназначенье», рукой поэта ведет не Бог Книги, а языческий бог деталей — например, в стихотворении «Пустыннику»:

И рыжким золотом под этим бледным небом
Плывет вербложья шерсть на согнутых плечах,
Там, где Фавор прилег окаменелым хлебом.

«Окаменелый хлеб Фавора» — как смело сказано, смело — и побунински сильно. Кстати, Шенгели — единственный из знакомых мне поэтов своего поколения (кроме Катаева, начавшего как поэт), ценивший стихи Бунина. Шенгели мне рассказывал, как в Одессе он пришел к Бунину и как понравилось Бунину определение, которое Шенгели дал его поэзии: «Средиземноморский лиризм».

Когда я приехал учиться в Москву, оказалось, что мои друзья, молодые поэты Штейнберг, Петровых и Тарковский, видели в Шенгели если не своего наставника, то старшего в их содружестве. Не помню, кто из них

привел меня к Шенгели. Он жил в одном из арбатских переулков, Малом Ржевском, в квартире, занимаемой детским садом — типично московская фантазмагория тех лет, — и только одна комната принадлежала Шенгели и его жене, поэтессе Нине Леонтьевне Манухиной. Позже я узнал, что в первые годы революции хозяйкой квартиры была Цветаева.

Комната, довольно большая, была разделена книжными шкапами на две или три части, одна из которых служила спальней. Книг было много, очень много, на разных языках. На одной из полок виднелась дощечка с выгравированной надписью: «Книг на дом не даю».

Шенгели был красив, не русской, а новороссийской, смуглой красотою. Хорошего роста, темноглазый, артистичный, с оттенком барственности. Он говорил, что в его жилах течет смесь русской, польской, грузинской и еврейской крови. В стихах он пишет: «Прашур мой — Суворов». Не знаю, троп ли это или же факт биографии? Красива была и Нина Леонтьевна, высокая, тоненькая.

Я прочел юношеские стихи — для этого меня и привели. Стихи понравились, я был признан своим.

Постепенно я кое-что узнал о Шенгели — от него самого и от наших общих друзей. В юности он сблизился с Игорем Северянином, писал «под него», как и многие тогдашние молодые стихотворцы (например, Юрий Олеша), выступал вместе с ним в различных городах, «легко на эстраду взлетал». Ранние книги Шенгели носят типично эгофутуристические названия: «Лебеди закатные», «Розы с кладбища», «Зеркала потускневшие». Парнасцем он стал величаться потом (тот же путь проделал Бенедикт Лившиц), но благодарную любовь к Игорю Северянину сохранил до конца жизни. Я предполагаю, что его ненависть к Маяковскому основывалась и на грубой неприязни последнего к Игорю Северянину.

Шенгели был не лишен не только честолюбия, но и тщеславия. Он не забывал, что после Брюсова стал председателем Всероссийского союза поэтов, окончившего свое существование к тому времени, когда я приехал в Москву. А жаль. Каждый состоявший в союзе поэтов (а попасть в него было просто) мог издать под его маркой сборник стихов. Для этого надо было внести триста рублей. Деньги по тогдашним меркам немалые, но мне удалось бы их собрать. Я уверен, что тот же Шенгели мне бы помог. А цензура была не слишком хищная.

Я имел возможность убедиться в том, что Шенгели был хорошим, заботливым другом — и Боже упаси было получить в нем врага!

В дружбе он был бесконечно добр. Вся наша четверка испытала это на себе. Тарковский, в двадцать лет оставшийся без жилья, нашел временный приют в его единственной комнате, спал почему-то, как он мне рассказывал, под столом.

Шенгели привел меня на «никитинские субботники», рекомендовал меня как будущего участника заседаний. Это была большая квартира в старинном доме на Тверском бульваре, принадлежавшая Евдоксии Федоровне Никитиной. Во главе длинного стола сидели хозяйка дома, полная, благообразная литературная дама в чепце, Андрей Белый, чья лысина была увенчана ореолом седых кудрей, а синие глаза пылали, как у проро-

ка или гипнотизера, профессор-филолог С. К. Шамбинаго, над монгольским лицом которого половецки чернела академическая ермолка. Пили чай с печеньем. Публика разношерстная, некоторых я уже видел раньше или даже знал: Уткин, Луговской, Георгий Оболдуев, Сергей Бобров (у этих двух был свой маленький литературный салон на Кузнецком мосту), Марк Тарловский, Лидин, Новиков-Прибой, Буданцев. Для нас нашлись места в самом углу у окна, где сидела пара: крутолобая красавица еврейка и человек лет сорока с необыкновенно выразительным, необыкновенно завораживающим лицом бедуина, одетый в длинный черный пиджак. Шенгели поздоровался, ему ответили небрежным, даже безразличным кивком. Я тихо спросил: «Кто это?» — «Пастернак с женой», — раздраженно произнес Шенгели. Чета Пастернаков вскоре ушла. Я заметил, что поэт, пробираясь между занятыми стульями, слегка волочил ногу.

Может быть, я когда-нибудь расскажу о том, как я читал стихи на «никитинских субботниках», как Андрей Белый сказал только одно снисходительное слово — «музыкально», как благодаря этому, поселившись через несколько лет в Неопалимовском переулке и став неожиданно соседом Андрея Белого, жившего в полуподвале высокого дома, где, однако, было центральное отопление, я получил возможность выслушивать его бессвязные, безумные, волшебные речи, касавшиеся главным образом математики, которые он выпевал, приплясывая на снегу узкого тротуара — там, где на месте уничтоженной церкви Неопалимой Купины теперь возвышался дом, построенный в стиле «раннего сталинизма». Однажды, резко оборвав свои математические рассуждения, Белый выкрикнул, взвизгнул: «Малый театр в постановке «Мертвых душ» выдавил из Гоголя весь гоголин!» Но перейду к делу.

Зимой 1930 года, скорее всего в феврале, в Доме Герцена был объявлен вечер Шенгели. Об этом возвещала афиша в парадной.

Я пришел со своими новыми друзьями — поэтами Марком Тарловским и его женой Ладой Руст, умной, милой, образованной, некрасивой, старше мужа лет на десять, ближайшей подругой Нины Леонтьевны. Лада была чисто русская, Екатерина Александровна (впрочем, в отчестве не уверен, а теперь уже некого спросить). В аляповатом постдекадентском вкусе она избрала себе псевдоним, потом, придя в себя, оставила от псевдонима Руставели первые четыре буквы, а имя Лада за ней закрепилось.

У входа в дом уже стояли Нина Леонтьевна и широкоплечая женщина, прикуривавшая от спички: поэтесса Софья Парнок. Появился и Георгий Аркадьевич. Лицо его выражало тревогу и обиду — публики не было. Мы неловко молчали. Только у Нины Леонтьевны вырвалось: «Бедный Йорик». То не было знаменитым восклицанием Гамлета — в детстве Георгия Аркадьевича так называли домашние. Шенгели повел себя превосходно, подшучивал над собой, рассказывал о подобных происшествиях, случившихся с другими литераторами, но видно было, что ему не до шуток.

Почему никто не пришел? Был ли тому причиной трехлетней давности памфлет? Либо в годы, когда в литературных кругах гремели Пастернак, Сельвинский, Луговской, Багрицкий, Тихонов, Светлов, Заболоцкий —

столь разные и по манере письма, и по масштабу дарования, — никого не интересовал эпигон традиционного стихотворства? А где были близкие друзья? Как потом выяснилось, у того заболела жена, та заболела сама, третий уехал на охоту в подмосковную глушь.

Минут через двадцать — тридцать, когда стало ясно, что ждать слушателей не имеет смысла, Шенгели, гордо и зло улыбаясь, сказал:

— Пойдем поужинаем. Угощает герой несостоявшегося вечера.

Ресторан Дома Герцена описан не раз, лучше всех, конечно, Булгаковым («Дом Грибоедова»). Умиравший нэп медлил расставаться со своей вкусной приманкой.

Шенгели сорвал в парадной афишу со своим именем. Мы спустились вниз, в полуподвал. Скучно освещенный длинный и узкий зал был пуст. Большие мягкие люстры низко озаряли сервированные столики. Мы уселись. Подошел официант с записной книжечкой в кожаном переплете. Шенгели заказывал, не заглядывая в меню, как завсегдатой. Названия некоторых блюд я услышал впервые. «Что будем пить, — спросил герой несостоявшегося вечера. — Я, как всегда, «Кюрдамюр».

Три наши дамы пожелали водки. Тарловский и я к ним присоединились.

Пили, закусывали, болтали, смеялись, у всех на душе было тяжело. Сидевшая рядом с Шенгели Софья Яковлевна Парнок иногда гладила его по плечу. В ее чертах мужская вольтеровская язвительность то и дело сменялась нежной женской беспомощностью.

И вдруг появилось новое лицо. Маяковский. Он вошел в пальто, в кеги, с тростью. Не глядя на нас, на единственный занятый столик, он двинулся в конец зала. Мы слышали, как он шумно снимал пальто, усаживался. К нему устремился бородатый важный мэтр. В затихшем зале раздалось: «Бутылку моего вина, пачку моих папирос».

Не в другой, а именно в этот позорный для него вечер Шенгели оказался под одной ресторанной крышей со своим заклятым врагом. И когда? За два месяца до самоубийства Маяковского. Как не поверить в эллинский Рок?

Мне Маяковский не был виден, так как Тарловский, Лада и я сидели к нему спиной, а обернуться хотелось, но было неудобно. Мы продолжали болтать, пить, есть, смеяться, но нервно чувствовали присутствие этого молчащего человека в этот необычный вечер. А что чувствовал Маяковский? Знал ли он в лицо того, кто написал «Маяковский во весь рост», того, кто «молотобойцев обучает анапестам», того, чью фамилию он зарифмовал с издевательским «не в шинке ли»? Знал ли он в своем смятенном состоянии, что скоро по собственной воле уйдет туда, откуда никто еще не возвращался?

Я не раз бывал на выступлениях Маяковского в Политехническом, а незадолго до этого вечера, может быть недели за две, сидел близко от него — и тоже за столиком. Дело было так.

Мы, несколько молодых стихотворцев (я запомнил Павла Железнова, бывшего беспризорного, автора книги «От «пера» к перу», других выступающих не помню), выступали за какие-то гроши по радио. Студия поме-

щалась в новом здании телеграфа на Тверской, входили с переулка по пропускам. Вскоре пришел Маяковский, он тоже должен был выступить — надеюсь, не за гроши. Мы, четверо или пятеро, Маяковский в том числе — времена были демократические — собрались в небольшой комнате перед аппаратурой. Кто-то из молодых с ним заговорил, Маяковский не ответил. Диктор, видимо еще малоопытный, включив все, что надо, взглянув в список, возвестил на всю страну: «Свои стихи читает поэт Маяковский». Да, да, Маяковский! Маяковский прочел то, что ему надлежало прочесть, а когда закончил, с нарочитой внятностью произнес: «Вэ, Вэ Маяковский» — и вышел, рассерженный. Отбарабанив каждый свое, тихо выходили и мы. Приятное было в том, что предназначенные нам гроши выплачивались тут же, надо было подождать полчаса, от силы час. Мы ожидали в буфете. Как я уже заметил, нэп умирал, вводились продуктовые карточки, в буфете имелись для нас только бутерброды с кабачковой икрой и чай без сахара. Мы уселись за столик, а Маяковский, пренебрегая буфетом, за другой. Пренебрег он и нами.

Буфет располагался как бы в большой нише между двумя коридорами. Из одного торопилась в другой молодая брюнетка, по всему — сотрудница Радиокомитета. Маяковский окликнул ее: «Таня». Она подседа к нему. Мы услышали слегка глуховатый бас Маяковского:

— Выходите за меня замуж. Нет? Почему нет? Красив? Красив! Богат? Богат! Знаменит? Знаменит!

Брюнетка, видимо довольная, весело, грудным голосом зазвенела:

— Вы не тот, кто мне нравится, — и убежала по своим делам...

То была зима накануне его самоубийства. Я, конечно, понимал, что он шутит, но не понимал того, что творилось в его душе. И вот он сейчас один, за бутылкой «своего» вина, а рядом — чуждые, неинтересные ему люди.

Он покинул ресторан довольно скоро. Нина Леонтьевна сказала:

— Вы знаете, он был сегодня какой-то особенный. Мне даже стало его жаль. Мне кажется, что у него горе. Будет беда.

Есть умные женщины, наделенные даром предвидения, я это заметил уже в ранней молодости...

Через год после своего несостоявшегося вечера Шенгели предложил мне поехать с ним в Коктебель к Волошину. Поезд прибывал в Феодосию на рассвете. Мы наняли таратайку. Шенгели удивил меня, заговорив с возницей-татаринном на его родном языке. Потом он мне объяснил, что по-татарски знает слов сто, не больше. Он хорошо владел английским, французским, немецким, латынью. Он был по-настоящему, по-дореволюционному образован. Интересовался не только гуманитарными науками, но и точными — математикой, физикой, астрономией. Напомню, что он был автором не утративших и ныне своего значения стиховедческих работ «Трактат о русском стихе» и «Техника стиха».

В 1923 году он выпустил драматическую поэму «Броненосец «Потемкин» (в издательстве «Красная новь»). В коротком послесловии автор счел нужным остановиться на проблемах версификации. Он пишет, что белый пятистопный ямб «по словоемкости своей ближе всех прочих подходит к

слогоударным константам русского языка, а его пятистопность, ритменная плановность дает возможность обойтись без красосозвучия. Следует упомянуть, что в этом метре автор допустил долгие хориямбы и в мужских стихах пиррихизирование последней стопы».

Так-то оно так, есть хориямбы, есть и пиррихизирования, неожиданные для парнасца решения, например, поставить слово «революция», придав ему мужское окончание, в конце ямбической строки, есть точность (книжная) морского словаря и точность (не книжная) феодосийской, севастопольской или одесской топонимики, и есть места поэтические, например, в монологе лейтенанта Семенова:

В глубине России
Овраги разъедают чернозем,
Как бы волчанка, и мелеют реки,
И мутные их воды к нам несут
Тот хлеб, что не родился. В мутных устьях
Восходят мели, косы, островки.
Гниет трава, и воздух полон пара.

Чего же нет? Нет очарования исторического мышления, нет того, что есть в «Борисе Годунове», в «Царе Федоре Иоанновиче», в пастернаковском «1905 годе», в ахматовской «Поэме без героя». Все задано: и червивое мясо, и «амальгама индивидуального сознания и классового инстинкта» (из послесловия автора), и оптимизм концовки: «Мы победим: матрос, мужик, рабочий».

Но неужели только неумение мыслить делает поэта не первостепенным? Таковыми ли уж мудрецами были Дельвиг, Языков, Полонский, Есенин? А какие упоительные поэты! Нет, здесь что-то другое, а что — определить не могу, хотя смутно чувствую.

Шенгели много переводил. Ему близки были Леконт де Лиль, Эредиа, Роллина. Его привлекали пышный Гюго и урбанист Верхарн. Но как раз урбанистские вещи Верхарна ему редко удавались. Зато он, поэт-живописец, почувствовал фламандские стихи бельгийца:

В столовой, где сквозь дым ряды окороков,
Колбасы бурые, и медные селетки,
И гроздь ябчиков, и гроздь индоков,
И жирных каплунов чудовищные четки,
Алея, с черного свисают потолка,
А на столе, дымясь, лежат жаркого горы,
И кровь и сок текут из каждого куска, —
Сгрудились, чавкая и грохоча, обжоры...

Плотно, вкусно. Другие переводы, за исключением поздних, пока не напечатанных, — недурные, но и только. В них нет главного: ни один из них не становился явлением русской поэзии.

Но вот возникла новая отрасль перевода, новая в самой своей структуре и свойственная только нашему Государству. Не в том дело, что стихи переводились с подстрочников. Жуковский, не зная греческого, персидского, санскрита, переводил с немецких подстрочников «Илиаду», «Наль

и Дамаянти», «Рустема и Зораба» Фирдоуси. С подстрочников переводил и Бальмонт — «Витязя в тигровой шкуре» Руставели и драмы Калидасы (санскрит). Новая отрасль перевода отличалась своей единственной целью — служением ленинско-сталинской национальной политике. Не случайно, что перевод нового типа стал развиваться после ликвидации РАППа и в канун создания единого союза писателей. Предмет, достойный специального исследования, во многих отношениях весьма плодотворного, но здесь не будем на нем останавливаться.

Прежде всего, конечно, ради заработка, но и с искренним увлечением занялись переводческой деятельностью Антокольский, Заболоцкий, Пастернак, Тихонов. Переводить начали с языков старописьменных — грузинского, армянского, со славянских — украинского и белорусского. Особенно привлекательна была грузинская поэзия с ее высокой культурой, с близостью ее старейшин символизму, да и поездки в эту республику сказочной красоты были весьма заманчивы. Пастернак, для которого творческая связь с Грузией стала важной страницей его трудов, писал, как всегда, умно и наглядно:

Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льда возьмем подножьем,
И мы получим этот край.

В Гослитиздате, самом крупном издательстве Государства, была создана редакция литератур народов СССР. По разделу поэзии в качестве редактора (единственного, штаты тогда еще не раздувались) был приглашен Шенгели. Заведующей редакцией (а это номенклатура ЦК) была назначена Александра Петровна Рябинина, эффектная красotka лет тридцати пяти, в пенсне, необразованная, но смышленная, ловкая, энергичная, купеческая дочь с характерной советской биографией. В ранней, романтической молодости она действовала на Дальнем Востоке вместе с Александром Фадеевым (возможно, именно он рекомендовал ее), потом работала шифровальщицей в нашем постпредстве в Берлине. У нее были прочные, давние связи где надо. Она обладала несомненным качеством менеджера, бюрократической дерзостью, решительностью, умела разговаривать с иноязычными авторами, особенно с пожилыми, богатыми и влиятельными.

Во время сталинских чисток над Рябининой сгустились тучи. Многие беспартийные (и я в том числе) посещали собрания, на которых происходили чистки. Это было крайне интересно и поучительно. Обнажался механизм. В Гослитиздате чистой руководил некто Магидов, бородатый (а таким было мало в тридцать седьмом году), приспособивший схоластику местечкового мышления к партийному делопроизводству. Завидущие коммунистки издательства обвиняли красивую, удачливую Александру Петровну в том, что она долго находилась под вредным влиянием председателя грузинского Совнаркома (фамилию забыл), разоблаченного врага народа. Как положено, дали слово Рябининой. Речь ее была краткой, но великолепной:

— Я с ним спала. Как мужчина он мне нравился. Не уставал, мог замучить. А до его политических взглядов не было дела, мы с ним этим не занимались.

Всех эти слова ошарашили. Напомню, что годы были фарисейские. Большевистски-набожный Магидов смутился, опешил. Ограничились разговором.

Вспоминается и другое симпатичное событие. В 1939 году отмечался юбилей Тараса Шевченко. Среди приехавших в Киев были корифеи советской словесности. Блестящий доклад сделал Корней Чуковский. Потом нас повезли на пароходе в Канев — поклониться могиле Кобзаря.

В каюте пили и пели. Я был среди тех, кто с верхней палубы любовался днепровскими берегами. Вдруг по палубе, красная от сильного волнения, пробежала Александра Петровна. Она потеряла партийный билет. Дело пахло керосином. Видели, как она в смятении металась по всему пароходу, расспрашивала членов команды. Наконец из радиорубки раздался голос:

— Товарищ Рябинина, вещь, которую вы потеряли, найдена в постели Янки Купалы. Зайдите к старпому.

Как потом выяснилось, партбилет нашел Фадеев и, пьяный, решил весело подшутить над своей боевой соратницей годов гражданской войны.

И еще один случай, без иронии — симпатичный, происшедший через десять лет, в 1949 году. Арестовали еврейских поэтов, и среди них, несчастных, — Самуила Галкина, может быть самого выдающегося из них. Между тем уже была в издательстве готова верстка его стихотворений в русском переводе. Поэтов, как известно, убили, вернулся один беспартийный Галкин, не реабилитированный, а активированный. И что же? Оказалось, что Рябинина не уничтожила верстку, более того, хорошо ее спрятала, надеясь на лучшие времена, и нищий, больной поэт получил гонорар за вышедший вскоре сборник.

Что заставило Рябинину совершить такой поступок, для нее вовсе не безопасный? Человечность? Отвращение к антисемитизму, испытываемое некоторой частью старых партийных функционеров? Истинный писатель, если он талантлив, обязан спокойно и серьезно совершить художественное исследование такого рода поступков.

Александр Петровне хватило ума целиком довериться редакторскому умению Шенгели. Он-то и привлек нас к переводам — Петровых, Тарковского, Штейнберга, Звягинцеву, меня и других поэтов, постепенно лишившихся возможности печатать собственные стихи, — Александра Кочеткова, Владимира Державина, Константина Липскерова. Кто из нас знал, что эта работа станет на долгие десятилетия нашей судьбой?

Что же касается Шенгели, то явно улучшалась материальная, бытовая сторона его жизни. Начать с того, что они с Ниной Леонтьевной вырвались из комнаты в детском саду, получили отличную трехкомнатную квартиру в доме сотрудников ТАСС на Первой Мещанской (теперь — проспект Мира). Квартиру устроил Сергей Малашкин, автор нашумевшего в молодые советские годы романа «Луна с правой стороны», посвященного сексуальному буму в комсомольской среде. Малашкин был старый боль-

шевик, начинал партийную деятельность вместе с Молотовым, с помощью которого и была получена квартира. Я бывал на ней часто, слушал стихи хозяев и читал сам. Особенно мне памятна эта квартира потому, что, уже после смерти Шенгели, я там читал Нине Леонтьевне и жившей у нее Ахматовой свою поэму «Техник-интендант», и Анна Андреевна заплакала. Она так и надписала мне на одной из своих книг: «А один раз плакала».

Благодаря сотрудничеству в Гослитиздате Шенгели удалось выпустить, том за томом, свои переводы сочинений Байрона, приносившие изрядный доход. Переводы, увы, более чем посредственные, скучно-буквалистские. Впрочем, Анна Ахматова писала Нине Леонтьевне: «На днях перечитывала его «Дон Жуана». Какая благородная и огромная работа!» А надо сказать, что Анна Андреевна редко хвалила переводы поэтов-современников. Мне, например, запомнились ее положительные отзывы только о переводах Лозинского, Пастернака, Петровых.

Самой большой жизненной удачей Шенгели во время его сотрудничества в Гослитиздате было издание в 1935 году сборника избранных его стихов «Планер». Это была удача необыкновенная, потому что в те годы Гослитиздат выпускал мало стихотворных книг русских поэтов, только знаменитостей, и Шенгели не по чину попал в этот ряд. Думаю, что ему помогла Рябинина.

«Планер» вышел через двенадцать лет после «Раковины». Все эти годы Шенгели редко печатал свои оригинальные стихи. Открывало сборник стихотворение, давшее название всей книге. Хотя оно может нас отвратить чисто брюсовским преклонением перед достижениями техники, в нем есть очарование ритма:

Небо на горы брошено,
Моря висит марина
Там, где могила Волошина,
Там, где могила Грина.
Именно над могилами
Тех, кто верил химерам,
Скрипками острокрыльями
Надо парить планерам.
Там, где камни ощерились,
Помнящие Гомера,
Надо, чтоб мальчики мерялись
Дерзостью глазомера...
Иначе требовать не с кого,
Иначе не нужны нам
Радуги Богавского,
Марева по долинам.

Читатель заметит, что Шенгели, всю жизнь преклонявшийся перед Волюшиным, внезапно от него как бы отрекается, потому что тот «верил химерам». Каким химерам? Предначертаньям Бога? Таинственности Рока? Нехорошо, некрасиво. Предисловие автора и того хуже. Оно принадлежит перу перепуганному. «Перестройка творческого метода, — заранее кается Шенгели, — мною еще не осуществлена с достаточной полнотой... Что же, не знаю я, что лишь пролетарская революция может ликвидиро-

вать мир частной собственности? Знаю». Но, признается в своей слабости автор, он пока еще не может «с надлежащей конкретностью изобразить развертывание и реализацию революционной воли класса».

Бедный поэт! Как чувствуется в этом наборе трафаретных фраз его бессилие, его страх, его желание печататься. Шенгели это сам хорошо понимает. Как бы желая перед читателем оправдаться, он пишет стихотворение «Льстец». Пушкин внимает капральскому басу Николая I: «Пиши, — твое отечество и мой престол прославишь». — «А, право? — думает Пушкин. — Может быть. Что если станс-другой кого-нибудь из тех, товарищей кандалных, хоть в чем-нибудь спасет?»

Нет, никого не спасет шенгелиевский станс, и его самого не спасет от прижизненного забвения. Не та эпоха, не те обстоятельства, да и поэт не тот.

В «Планере» есть вещи, перепечатанные из «Раковины» и «Норда». Из новых самая значительная и по содержанию и по объему поэма «Пиротехник». В ней двадцать глав, и каждая снабжена эпиграфом в подлиннике и в дословном переводе — из Овидия, Брийа-Саварена, маркиза де Кюсси, Томаса Мора, Гюго, Эредиа, Бодлера, Верлена, Уэллса, — есть даже изречение Гекльберри Финна: «Каждая баба может заездить человека». Суть дела в том, что переплетчик Аваланш, переплетчик-художник (к слову: Шенгели сам искусно переплетал книги), возненавидев мир буржуа, «Париж дипломатов, рантье, журналистов, лореток», решает на безумный шаг: бросает бомбу в ресторан. Приговор ясен... Перед нами проходит прошлое Аваланша. Нарисованы некоторые его клиенты. Вот глава правительства. Броская строка:

Лоб — как булка; глаза — точно устрицы в масле; ощечья
Поросычьим подобны отваренным окорочкам;
Рачья шейка губы шевелится сквозь пегие ключья
Кирасирских усов, угрожающих штатским очкам.

Вот и тот, кого «не будем называть». Его описание начинается двусмысленной строкой: «Лет под восемьдесят, — а стоит как пивная бутылка». Это Дантес. Его путь —

Из дырявого замка — в кипение жизненных каверз,
От баронской картошки — в каскады цветочных гирлянд,
И в карьерном карьере — в орлянку с Фортуною: аверс —
Герцогине Беррийской, а реверс — послу Нидерланд.

Намек в последних двух строках прозрачный. Приведу и заключительную строфу:

Пиротехника! Снег бертолетовой соли и магний,
Прах селитры и серы. Невзрачный кристалл для сурьмы, —
И прекрасную голову вскинет смеющийся Агни,
Древний друг человека, ему поборающий тьмы.

Я с умыслом цитирую так щедро. Пусть читатель увидит, как богат словарь поэта, как остер его глаз, гибок синтаксис, изобретательны и

свежи при своей традиционности рифмы. Но странное дело: любишь стихом, а чувствуешь, что все это уже читал раньше — у Бальзака, Золя, Мопассана, Пруста, Жида. Но у них действительно индуистский бог Агни «поборал тьмы», а здесь... Какая дьявольщина таится в литературе! Золя, Гюго, наш Куприн нередко пишут из рук вон плохо, а есть в них сила, они умерли, а их продолжают читать, они влекут к себе, а у другого — все качества, и то есть, и это, но не дано его работе долготы жизни, и наступает суд Времени, и оправдательный вердикт выносится и грубому «Чреву Парижа», и многословным «Отверженным», и пошловатому «Гранатовому браслету», а изысканное перо, полное блеска, уносит река забвения. О, если б знать, что так бывает!

Каждая стихотворная глава «Пиротехника» заканчивается прозаической ремаркой. В сущности, мы могли бы узнать содержание поэмы, ограничившись прочтением этих ремарок. Именно в них — двигательные силы поэмы, ее кочегарка, машинное отделение, а все стихотворные главы — только нарядные, первого класса каюты. Прием примечательный, но не упряталось ли в нем неверие в способность стиха подчинять себе любую прозаическую задачу, — как это явственно видится нам в непохожих друг на друга поэмах Пушкина, Некрасова, Ахматовой?

Есть в книге «Планер» и другая эпическая вещь: «Пятый год. Отрывки из поэмы». Не понимаю, как автор решился напечатать эти отрывки после пастернаковской поэмы на ту же тему, хотя и написал их, может быть, до нее. Не говоря уже о новом, изумительном ритме, вызвавшем сотни подражаний (кстати, Шенгели с мастерством стиховеда пользуется этим ритмом, слегка его аранжируя, в «Пиротехнике»), у Пастернака — поэзия и правда жизни, рождавшиеся в слиянии музыки, живописи, мысли, связь мальчика («Мне четырнадцать лет, через месяц мне будет пятнадцать», «О, куда мне бежать от шагов моего божества») — с историей родины: «Крепостная Россия выходит с короткой приструнки На пустырь и зовется Россиею после реформ».

А «Пятый год» Шенгели — это стихотворные примечания к официальному учебнику истории:

Спустя двенадцать лет,
Великий ледоход побед
Нам зазвучал весенней новью!

Мне кажется, что Георгия Аркадьевича мало интересовала первая русская революция. Он и не собирался ее осмыслить как художник. Для чего же надо было слагать стихи об одном из самых важных и грозных событий в истории России? Неужели только для того, чтобы получить возможность написать такой действительно отличный натюрморт:

В Охотном

Бруски мороженой наваги, бревна
Распиленного навкось балыка,
В жестянках голубых сурьянный блеск
Зернистой дробы, паюсный шагрень,

В кленовых бочках кленовые бусы,
Нефрит моченых яблок, хризопраз
Ядреных огурцов под эстрагоном,
И — грудой восковые поросята
С развратной ранкой в горле сквозь жирок.

Ничего не скажешь, хороша эта «развратная ранка», но Клио женщина мудрая, ее на нефрите моченых яблок не проведешь, и она, надменная и простая, прошла, так и не заметив этого натюрморта, — навстречу «Реквиему» Ахматовой, «Веку-волкодаву» Мандельштама, «Августу» Пастернака, в которых — живая, страдающая душа России. Скорее уж внимание Клио мог бы к себе привлечь «Поручик Мертвецов», перепечатанный в слегка искаженном виде в «Планере» из «Раковины». Есть в новом сборнике прелестные маленькие стихотворения. Например, о шпионке — с одной только рифмой на все стихотворение, чей ритм пленяет новым музыкальным решением:

Панамская соломка
И ленты ультрамарин,
И глупенькая забота
О стрелке вдоль чулка.
И в туфельку мотоциклетки
Легко ложится она,
И двести тысяч взрывов
Вдаль унесут ее...
И в самом дальнем кармашке,
В пудренице стальной,
Спрятана фотопленка
В марку величиной.

Поэт понимает, что он из последних, что «уже навек умирает Врубель»:

Друзья! Мы последние, кто видали
Этих дымных глаз непреклонную муку,
Этих крыл остывающие эмали
И захлестнутую по локоть руку!

Да, он хорошо сказал о себе, тем-то он для нас и дорог, что он из «последних», из тех, кто видел, как «с грунтом слился Демон крылатый, чтобы бунт утонул в желчи и мраке». Отважная мысль! Не для того ли, чтобы она стала частью книги, написал он о том, как в город, где были тиф, и лед, и блокада, где все кончилось: патроны, уголь, хлеб, вдруг, прорвав блокаду, прибыл бронепоезд. Жители устремляются на вокзал.

Протискавшись, на погнутой броне
Я прочитал впервые имя: «Сталин»...
Оно как символ прозвучало мне.

Какая чушь! Кто в годы гражданской войны, разрухи, голода, болезней знал имя Сталина? Как оно могло прозвучать символом, когда оно тогда никого и ничего не означало? «Польсти, польсти!» Может быть,

этот сонет помог выходу в свет «Планера», но не помог автору сколько-нибудь прочно утвердиться в государственной литературе. Теперь, вероятно, обратили бы благосклонное внимание на то, что поэт, принадлежавший к той общественно-литературной прослойке, с какой был связан Шенгели, пишет стихотворение, восхваляющее руководителя Государства, но в 1935 году, когда писатели выстраивались в длинную очередь, чтобы влажными от умиления губами приложиться к заду Сталина, а более ретивые их отталкивали, выталкивали, — тогда это стихотворение казалось ненужным, в нем не было сливочного масла искренности, сама его сонетная форма ощущалась как буржуйское канотье, и чем-то буржуйским попахивало от слова «символ».

Недавно знакомый мне молодой поэт, рывшийся для своей литературоведческой работы в архивах ЦГАЛИ, случайно обнаружил цикл стихов Арсения Тарковского, посвященных Сталину и отвергнутых журналом «Знамя».

— Почему их не напечатали? — спросил меня человек иного поколения. — Они здорово написаны.

Вот потому-то их не напечатали, что они были необычно хорошо, интеллигентно написаны. Оргазма не чувствовалась. Другой поэт, Марк Тарловский, желая влить свежую струю в поток приветствий, решил написать о Сталине языком XVIII века. Он так и начал свою оду: «Лениноравный». Стихи были с негодованием возвращены автору.

Умный хозяин (а у нас в этом смысле все умные) всегда понимает, кто ему слуга, кто верный, преданный раб, что называется, свой, пусть продажный, но чувствительный, свой, — а кто чужак с какими-то непонятными замыслами. Свой иногда болтает лишнее, иногда подписывает что-то, а все же свой — и шкура его, и пасть — все свое. А другой и не болтает, и ничего не подписывает, а затаился в себе, вражонок, иди знай, что выкинет: вроде служит, а не раб, честен, подлец...

К 25-летию литературной деятельности Георгия Шенгели вышли его «Избранные стихи». Кроме уже упомянутой поэмы «Ушедшие в камень», новых вещей там всего лишь несколько. В дарственной мне надписи автор называет этот сборник «клоком седины». Ему было сорок пять лет, по теперешним понятиям — «молодой поэт». Но сугубо печальна его медитивная лирика:

Поздно, поздно, Георгий!.. Ты пятый десяток ломашь,
Стала зубы терять клинописная память твоя,
Слово стало черстветь...

Переводы Шенгели, печатавшиеся в большом (слишком большом) количестве, были даже для его коллег малопривлекательны. Современники его покинули. Младшие друзья постепенно от него удалялись, теряли к нему интерес, а если говорить о старших, то Мандельштам был арестован, Ахматова приезжала в Москву редко. Обоих Шенгели боготворил.

Когда я познакомился с Анной Андреевной, как-то зашла речь о Шенгели. Оказалось, она ценила его как друга и как поэта. Ей очень нравились его переводы из Верлена (до сих пор не изданные). Она находила, что

они выше старых переводов Сологуба и Брюсова, и ставила их в один ряд с известными переложениями Пастернака. Отзвуки верленовских повторов с их гипнотической мелодией слышала Ахматова в таком стихотворении Шенгели:

Мы живем на звезде. На зеленой.
Мы живем на зеленой звезде,
Где спокойные пальмы и клены
К затененной клонятся воде.
Мы живем на звезде. На лазурной.
Мы живем на лазурной звезде,
Где Гольфштрим извивается бурный,
Зарождаясь в прозрачной воде.
Но кому-то захочется славой
Прогреть навсегда и везде, —
И живем на звезде, на кровавой,
И живем на кровавой звезде.

Шенгели был одним из немногих московских литераторов, выказавших Ахматовой сердечное и — что очень важно — материальное участие после отвратительной речи Жданова. На миг отвлечемся от шенгелиевской темы. Мало сказать о речи Жданова, что она отвратительна, — она бессмысленна. Причем — даже с точки зрения интересов Государства. После войны, когда прежнее, дореволюционное значение в идеологических установках приобрели слова «Русь», «Россия», казалось бы, надо было гордиться патриотической гордостью тем, что за все двадцать веков нашей эры единственная в мире женщина, ставшая великим поэтом, была русская. К тому же не надо было волноваться: среди стихов, опубликованных Ахматовой, не было ни одного антисоветского. Речь, произнесенная по приказу Сталина, была, в сущности, направлена против России. Угрюбая злоба мешала хитрому деспоту видеть предмет во всех его измерениях.

В последний год войны мне посчастливилось провести несколько дней в Москве. Я навестил Шенгели, заночевал у него. Я рассказывал ему о военном быте, он жадно меня слушал. Не мог я не коснуться еврейской катастрофы. Мне стало кое-что известно о лодзинском гетто. Глава гетто, председатель юденрата, получивший от немцев титул «старейшина (Der Älteste) лодзинских евреев», был человек властолюбивый и жестокий. В гетто были даже пущены в обращение деньги, на которых был изображен его портрет. Он рабски служил оккупантам, участвуя в депортации жертв, обреченных на смерть в газовых камерах, пока сам не стал одной из этих жертв.

Уже после войны Шенгели прочел мне пьесу, написанную на рассказанной мной сюжет. Напечатать ее не удалось. Я не могу утверждать, что пьеса меня поразила красотой или силой художественного открытия, но бесспорно то, что она заслуживает сосредоточенного внимания читателей, а может быть, и зрителей.

Шенгели скончался в ноябре 1956 года. В Доме литераторов гроб не был поставлен. В «Литературной газете» был напечатан некролог. Провожавших поэта в последний путь было немного, но все же нас было боль-

ше, чем в тот несостоявшийся вечер Шенгели в 1930 году. Похоронили его на Ваганьковском кладбище. Я уже упоминал, что надгробную речь произнес Юрий Олеша. Впоследствии (в феврале 1958 года) он написал:

«Одним из тех, кто был для меня ангелами, провожавшими меня в мир искусства, и, может быть, с наиболее пламенным мечом, был именно Георгий Шенгели... Я славлю его в своей душе навсегда!.. Я... знал в своей жизни поэта — одного из нескольких — странную, необычную, прикасающуюся к грандиозному фигуру».

Олеша, возможно, выразил в немногих словах то, что я так длинно пытаюсь доказать: истинный поэт, пусть небольшой, отличается от виршеписца тем, что он «прикасается к грандиозному».

Примечательно и то, что Олеша, преклонявшийся перед талантом Маяковского, так высоко и выразительно определил значение в поэзии не друга Маяковского.

Была, как водится, создана комиссия по литературному наследству Шенгели. Ее председателем стал Сергей Аркадьевич Векшинский, соученик Шенгели по гимназии. Он не был литератором, но зато был академиком, создателем ряда электронных приборов, Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии. Нина Леонтьевна предложила его кандидатуру, потому что надеялась, что его подпись под различными петициями повлияет на положительный ход дела. Надеждам не суждено было осуществиться. Кроме Векшинского в комиссию вошли известный литературовед и близкий приятель Шенгели Леонид Петрович Гроссман, Сергей Малашкин (была надежда и на него как на ветерана партии), Тарковский, я, Нина Леонтьевна. Может быть, я кого-нибудь забыл.

Все члены комиссии были деятельны. У всех были знакомства, связи в издательствах, в редакциях журналов. Но усилия наши не имели успеха. Не только оригинальные стихи, но и переводы Шенгели отвергались. И происходило это не потому, что имя Шенгели вызывало раздражение: его нападки на Маяковского были давно забыты, никого не интересовали. Творчество Шенгели казалось начальникам нашего стихотворства неэмоциональным, мертвым, позавчерашним, попросту ненужным. Не тот голос, не тот словарь. То же самое случилось с Александром Кочетковым. Его «Баллада о прокуренном вагоне» («С любимыми не расставайтесь») облетела всю страну. Двадцать лет понадобилось его друзьям, чтобы добиться издания сборника избранных его стихов и поэм. С точки зрения официальной идеологии у Кочеткова нет ничего порочного. Но сама структура его стиха (кстати, только внешне традиционная, в действительности же насыщенная взрывчатостью второй половины нашего столетия), круг тем, его мироощущение было чуждым, враждебным стихотворцам, власть имеющим. По этой же причине от русского читателя оказался насильственно отторгнутым Иосиф Бродский, а разве это не ущерб престижу нашей поэзии?

Нам удалось в 1960 году переиздать только «Технику стиха» Шенгели (с предисловием Л. Тимофеева). Я уже писал о важности стиховедческих работ Шенгели. Как-то я присутствовал на лекции А. Н. Колмогорова, посвященной применению методов теории вероятности к исследованию

стихосложения. Академик с большим уважением отозвался о трудах Шенгели в этой области.

Вот уже тридцать лет минуло со дня смерти Шенгели, а читатель не имеет ни одного сборника поэта. Между тем, по данным печати, у нас ежегодно выпускается три тысячи стихотворных книжек. Но среди них нет места для стихов Шенгели.

И в то же время кое-что изменилось. Два-три поэта старшего поколения, связанные с русской культурой, стали вспоминать стихи Шенгели. Его поклонники нашлись и среди молодых поэтов, спокойно, даже весело не печатающихся. В конце 1978 года редактор сборника «День поэзии» Л. Васильева предложила мне составить подборку стихов Шенгели и написать несколько вступительных слов. Планы у Васильевой были обширные: она задумала опубликовать и подборку Гумилева. Стихи Шенгели и мое маленькое предисловие были набраны, но тут разразилась «метропольская» история, на меня наложили запрет на профессию, все мои работы были вышвырнуты из издательских планов, сняты с наборных станков, заодно выбросили из «Дня поэзии» стихи Шенгели.

Но, слава Богу, русская поэзия живет не один день и не единым днем. Через несколько лет все же появились в ежегоднике «День поэзии» стихи Шенгели (вступительные слова А. Межирова), и среди них такое значительное, как «Жизнь». Для поэта жизнь — женщина, которой под шестьдесят, когда ему шесть. Идут годы, взаимоотношения меняются, и вот уже поэту шестьдесят, а жизнь — младенец. А когда поэт был полон сил, то получалось так, что

...Ей в глаза, как кодекс уголовный,
В минуту пауз медленно глядишь.

Я помню, как мы, члены комиссии, разбирали бумаги Шенгели и Леонид Петрович Гроссман, сам когда-то начинавший как поэт, убедительным адвокатским голосом читал эти стихи, потом сказал (ему уже было много лет):

— Я не доживу до того дня, когда «Жизнь» напечатают.

Мы все подумали, что он прав. Он не дожил до этого дня. А «Жизнь» все же напечатали. И Государство не рухнуло. Да и что в этом стихотворении было вредным для Государства? Откуда страх? Ответить не трудно...

Нет сомнения в том, что имя Шенгели останется в истории русской словесности. А будет ли оно жить в живой, никогда не умирающей нашей поэзии? Не знаю. Уверен лишь в том, что еще далеко Шенгели до вечера, еще не занялось его утро. Медленно, мучительно, подспудно, под сугробами, завалами, нарождается новое поколение стихотворных писателей. Не все они талантливы, но все без исключения понимают, что невозможно творчество без связи с культурой, связи не только духовной, но и генетической. Да и некоторые представители официальной стихотворной литературы уже не прежние дикари, а цивилизованные. Кажется, Шпенглер впервые указал на пропасть, отделяющую культуру от цивилизации. Цивилизация лишена движения. Это ее характерный признак. Ее главная черта, ее цель, ее стремление — быть современной. Она не понимает, что

современность не конечная точка, а мгновенный отрезок движущейся в бесконечность линии. Математический знак культуры — опрокинутое 8. Рождение и развитие культуры подобно рождению и развитию человека. Цивилизация, искусственно возникшая на традициях, их по-дикарски отвергает, сбрасывает с парохода современности. Культура уверенно, по-хозяйски обновляет традиции, стремясь к бесконечности, к абсолюту.

«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Формула Комозенса прочнее формул Ньютона и Эйнштейна. Нет на земле силы, которая могла бы ей противостоять, как нет на земле силы, которая могла бы изменить ход созидания всего живого. Не мы создаем, а Создатель, и только Он. Можно изобрести новые способы выделывания кукол, а дети продолжают рождаться так же, как родились Каин и Абель. Бессмысленным был призыв современного поэта — перестать жить законом, «данным Адамом и Евой». Это невозможно. Даже при самодержавном безверии — поэзия — подножие той горы, вершиной которой является молитва.

Март 1986

УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ

Ранней осенью 1931 года я во второй раз в жизни увидел Мандельштама. Встреча произошла на Чистых прудах. Небритое лицо его (бородки тогда еще не было) показалось мне помолодевшим от загара, — обычно он выглядел старше своих лет. В глазах, вместо им свойственной какой-то воспаленной, гневной тревоги, появилось выражение спокойствия, даже веселости. Это выражение, как я мог потом убедиться, вскоре исчезло. Я обрадовался тому, что он узнал меня. Услышав, что я учусь на химическом факультете, он сказал: «Теперь вы стали благополучным советским студентом». Странная фраза должна быть объяснена.

Стипендия была крохотная, в общежитии на Стромынке, в бывшем Вдовьем доме, мы жили в комнатах по 6—8 (а то и больше) человек, уже была в стране введена карточная система, в столовой над каждым счастливецом, успевшим воссесть за тарелкой, томился напряженно ожидавший своей очереди, не хватало вилок и ложек (ножей не давали), чаем у нас назывался просто кипяток, — и все это Мандельштам именовал благополучием? Надо его понять. У студентов был быт, у Мандельштама быта не было. Студенты были веселы, молоды, здоровы, твердо верили в то, что живут как надо, что лучшее — впереди, а Мандельштам жил неуверенно и вряд ли знал, что впереди.

Конечно, он догадался, что я хочу прийти к нему со своими стихами (прямо сказать об этом я не посмел), и он был так внимательно-добр, что дал мне свой адрес, новый, не на одной из Бронных, где я у него был в первый раз, а поблизости от Чистых прудов, если я не ошибаюсь, в Старосадском переулке, назначил день, час.

Я с отроческих лет восхищался им. Стихи новых поэтов тогда к нам в провинцию доходили редко, книг почти не было, хотя, в то же время, «Версты» Цветаевой и «Тяжелую лиру» Ходасевича я приобрел на развале за гроши. О Мандельштаме я узнал от Багрицкого, моего старшего земляка и наставника. «Я лечу свою астму, читая вслух Мандельштама», — как-то мне сказал Багрицкий, великолепно знавший и благоговейно любивший русскую поэзию. Я не расставался с книгой Мандельштама

«Стихотворения», выпущенной Госиздатом в твердом, кирпичного цвета переплете. А до этого мне на глаза попался «Лёт» — сборник произведений советских прозаиков и поэтов о первых шагах отечественной авиации, и в сборнике неожиданно оказалось стихотворение Мандельштама «Ветер нам утешенье принес...», весьма условно соответствующее заданию сборника, и меня поразили «ассирийские крылья стрекоз». Я не мог бы сказать толком, в чем была причина моего преклонения перед Мандельштамом, преклонения почти молитвенного. Мне нравилось как будто совсем другое — ясность, строгость, точность, девятнадцатый стихотворный век ценил выше двадцатого, а в двадцатом недостижимыми образцами казались мне Бунин, Ахматова, Ходасевич, Сологуб. И что-то чудное, волшебное, — «не радость, а мученье» — властно притягивало меня к Мандельштаму, и строки, которые я не понимал, были еще притягательней, чем строки, мне понятные, хотя зауми я уже тогда терпеть не мог.

Как-то в журнале «Молодая гвардия» сотрудник познакомил Мандельштама с рифмованным самотеком, и Мандельштам отметил мое, присланное из Одессы, стихотворение «Пригород», я получил от поэта ободряющую открытку, приглашение присылать ему стихи, и, таким образом, у меня возникла возможность, когда я вскоре приехал в Москву, попасть к нему. Мандельштамы жили не то у родственников, не то снимали комнату.

Мои рукописные листы Мандельштам разложил на три неравные стопки. О первой, самой большой, он ничего не сказал: значит, говорить не стоило. Перебирая гораздо меньшую, вторую, указывал на неправильные ударения, банальности, но не сердился. Третья стопка состояла из трех стихотворений. Об одном, со сложным строфическим построением, сказал: «Здесь хорошо только эти ое, ое (рифменные окончания), напоминают Белого». Другое прочел дважды, пристально, вскинув длиннейшие, равнинские ресницы, посмотрел на меня, — стихотворение называлось «Петр и Алексей», — сказал: «Концепция, того-этого, не стала стихом. И после словесных открытий Тынянова уже нельзя так писать на темы русской истории». Вот как он разобрал начальную строфу:

У нас и недорослей, и ябед
Хоть пруд пруди.
Но все же страшен постылый Запад
И боль в груди.

— Сперва пошло хорошо. Недоросли, ябеды — восемнадцатый век, Фонвизин, Капнист. На «ябед» найдена новая рифма, но вся строка с Западом — перепев символистов, вернее — их славянофильствующих эпигонов, всяких родственников известных поэтов. Что же касается «боли в груди», то это уже вовсе Аполлон Коринфский. А дальше и того хуже. Ум острый, языка нет.

Третье стихотворение ему понравилось, — не по-настоящему, а как ученически-способное. Он при мне позвонил своему старому товарищу по акмеистической группе М. А. Зенкевичу, который заведовал стихами в

«Новом мире», и стихотворение это очень быстро появилось в журнале. Никаких напутственных слов он мне не сказал, только разрешил позвонить, подал мне, мальчишке, плащ и, когда я, раздавленный, пытался этому воспротивиться, сказал: «Есть английская поговорка: «В борьбе человека с пальто стань на сторону человека». До сих пор не знаю, действительно ли есть такая английская поговорка.

Разрешением позвонить я стеснялся воспользоваться, но вот помогла случайная встреча, я опять его увижу. Дом был доходный, высокий, дореволюционной хорошей постройки. Потом я узнал, что здесь жили родственники Манделъштама, своего жилья у него не было.

В широкой парадной было не очень светло, но я довольно ясно увидел человека лет тридцати, спускавшегося по лестнице, мне навстречу. В руке он держал толстый портфель. Человек был явно чем-то напуган. Сверху низвергался высокий, звонко дрожащий голос Манделъштама:

— А Будда печатался? А Иисус Христос печатался?

Вот что произошло до моего прихода. Посетитель принес Манделъштаму свои стихи. Это была, по словам Манделъштама, обычная, довольно интеллигентная дребедень, с которой к Манделъштаму иногда приходили надоедать. Манделъштам рассердился на неудачного стихотворца еще и по той причине, что в этом виршесплетении была фронда, Манделъштам этого не выносил, во-первых, потому, что опасался провокации, а во-вторых — и это главное, — он считал, что поэзия не возникает там, где идут наперекор газете, как равно и там, где тупо следуют за газетой. Неумный автор стал жаловаться на то, что его не печатают. Манделъштам вышел из себя, он сам печатался с большим трудом, крайне редко, и выгнал посетителя. Когда я поднялся на указанный мне этаж, Манделъштама уже у перил не было (а я снизу видел, как он над ними, крича, наклонялся чуть ли не до пояса), мне открыла дверь длиннокосяя девушка и, впустив меня, посмотрела на меня жалостными восточными глазами.

Через много-много лет я рассказал о происшествии с Буддой и Христом Ахматовой. Анна Андреевна весело рассмеялась:

— Узнаю Осю.

Манделъштам успокоился не сразу.

— И почему вы все придаете такое значение станку Гутенберга? — характерным для него певучим и торжественным, при беззубом рте, голосом укорял он меня, и мне стало нехорошо оттого, что он как бы соединял меня с предыдущим посетителем. Я прочел несколько стихотворений, может быть десять, и остановился. Манделъштам спросил:

— Сколько вам лет?

— Двадцать.

— Да, верно, в тот раз вам было восемнадцать, — неодобрительно вспомнил он и добавил: — Плохо, плоско, — и дважды повторенный звук «пло» ударял особенно больно. — Вы кое-чему научились в столице, не стало южных оборотов, больше теперь у вас, того-этого, заемного лоску. Вы мне напоминаете небогатого бессарабского помещика. Почти весь год он трудился, обрабатывал свои скудные виноградники, более или менее удачно продал виноград, и вот, в парусиновом длиннополом балахоне, в

парусиновых сапогах, приехал в город, и все, что выручил, бессмысленно пропил в дешевой харчевне.

Он ругал меня еще долго и возбужденно, как бы с кем-то, более зрелым и значительным, споря, заодно досталось и моим друзьям, молодым поэтам Тарковскому и Штейнбергу, чьи стихи он однажды выслушал, неожиданно стал нападать на «Столбцы» Заболоцкого, не помню, чем вызван был его гнев, в комнату вошла девушка, открывавшая мне дверь, может быть, его родственница, она мне понравилась, но взгляд ее, мне сочувствовавший, был, увы, взглядом существа высшего, пожалевшего существо низшее. А Мандельштам, уже при ней, продолжал:

— Мне в Армении рассказали легенду. Гончар лепит в своей хижине горшки из глины. Уже тех горшков стало столько, что они не умещаются в хижине, лежат вокруг навалом, а гончар все лепит да лепит. «Глупец, для чего ты лепишь горшки, их и так у тебя много!» — осуждают соседи. А гончар: «Чтобы пришел лев, ударил их своей лапой и разбил их». Вы, того-этого, не оказались тем львом.

Я узнал, что Мандельштам недавно приехал из Армении, что он, после долгого перерыва, после «черной измены» стихам, вернулся к стихам.

— Хотите, прочту, — и, не дожидаясь ответа, уверенный в ответе, начал читать, потому что ему нужен был слушатель, очень нужен был слушатель, заменяющий станок Гутенберга.

Он был одинок. Я это понял, когда начал посещать его чаще. У него не было той, пусть в те годы негулкой, но светящейся славы, какая была у Ахматовой и от которой сердца не только дряхлеют, но и утешаются, не было у него и внутрилитературной, но достаточно мощной славы Пастернака, его почитали немногие, почитали восторженно, но весьма немногие и, большей частью, люди его поколения или чуть-чуть моложе, а среди моих ровесников почитателей было раз-два и обчелся. А он нуждался в молодежи, хотел связи с временем, он чувствовал, он знал, что он в новом времени, а не в том, которое ушло. Он не любил тех, кто любил его ранние стихи, хотя вряд ли ему было бы приятно, если бы кто-нибудь стал их бранить в его присутствии. Он не терпел своих подражателей, в особенности таких, которые обидно легко усваивали и присваивали манеру его письма. Он ощущал себя не в прошлом, даже не в настоящем, а в будущем. Внешне рано постарев, он дышал, как почти никто из современных ему поэтов, аквилонном грядущего, тем пространством, где не сани правоведа катятся, а лопастью пропеллер лоснится. Он сам был тем львом, который ударом лапы разбивал горшки гончара.

Мандельштам служил в газете «Московский комсомолец», редакция помещалась сперва на Старо-Басманной (ныне улица Карла Маркса), потом переехала в здание на Тверской, где теперь театр имени Ермоловой. Я стал у него бывать и в том и в другом здании. На Тверской размещались и редакции других газет. В широком зале с верхним, если не ошибаюсь (давно там не был), освещением, — нечто вроде пассажа, — была устроена для газетчиков столовая. Как-то мы с Мандельштамом сидели за столиком. К нам приблизились поэт-переводчик Давид Бродский и поэт Николай Ушаков, оба — знакомые Мандельштама и мои. Действие про-

исходило в пору известного конфликта Мандельштама с Горнфельдом. Группком писателей (союза тогда еще не было) стал на сторону Горнфельда, Мандельштам был этим оскорблен и, поднявшись навстречу двум литераторам, церемонно, но твердо произнес:

— Товарищи, к глубокому своему сожалению, я не могу подать вам руки, поскольку вы являетесь членами московского группкома писателей, подло оскорбившего меня.

Большой, толстый Бродский в ответ протянул свою руку и соврал:

— Я не член группкома.

— Это меняет дело, — с радостью сказал Мандельштам и поздоровался с переводчиком.

Тогда стеснительный Ушаков, смущенно улыбаясь, тоже протянул руку:

— Собственно говоря, я в этом смысле тоже не член группкома, я киевлянин.

Мандельштам и ему пожал руку. Конечно, он понимал, что его обманывают, но понимал и то, что обманывают его ради общения с ним. Да и я, с которым он обедал, состоял в группкоме. Мандельштам вовсе не хотел ссориться с двумя литераторами, он, измученный, через их посредство хотел дать знать обществу, как остро его ранила несправедливая позиция группкома в деле Горнфельда. Я не буду касаться существа дела, оно известно по мандельштамовской «четвертой прозе» и по другим литературным источникам, скажу только, что Мандельштам — в который раз! — показал, что он не понимает людей, не видит среди них себя, не в силах взглянуть на себя их глазами. Он полагал: я виноват, но я извинился перед Горнфельдом, я, Мандельштам, перед каким-то Горнфельдом, и материальная сторона ссоры решается для Горнфельда хорошо, чего же он хочет? А Горнфельд, несчастный калека, в прошлом — влиятельный критик народнического толка, близкий сотрудник самого Короленко, при держивался в советское время благородных демократических взглядов, что же касается литературных, то они, думаю, были такими, что Мандельштам представлялся ему пустым декадентом. А Мандельштам никогда не был эпиком, его характер не позволял ему взглянуть на себя со стороны, у него не было бесслезной силы и надменной выдержки Ахматовой. Я это увидел ясно, когда — один из горсточки сторонников обвиняемого — присутствовал на товарищеском суде над Мандельштамом в полуподвале дома Герцена.

Произошла, неточно говоря, жилищная склока. Сосед Мандельштама по дому Герцена, печатавшийся под именем Амира Саргиджана, обвинил Мандельштама в том, что он нанес пощечину его, Саргиджана, жене, но скрыл, что сначала он сам ударил Мандельштама и Надежду Яковлевну. В рукоприкладстве Мандельштама я сомневаюсь. Он мог больно оскорбить женщину, но не ударить. Амир Саргиджан принадлежал к самому опасному виду некоторых наших сограждан: неглуп, начитан, в обращении мягок, позволял себе вольности, обсуждая литературное начальство. Его жена тоже что-то писала, кажется, о первой мировой войне. Поговаривали, что она кололась. Амир Саргиджан был женат многократно. Од-

нажды он женился на официантке из Дома творчества в Малеевке, на доброй женщине по прозвищу «Колхозная Венера». Официантка, известное дело, профессия прибыльная, Саргиджан поселился в ее деревенском домике, и соседи-колхозники чисто по-лесковски называли его Содержаном. Когда русский народ был объявлен первым среди равных, оказалось, что татароликий Саргиджан — в действительности русский, фамилия его Бородин. Впоследствии он получил Сталинскую премию за роман «Дмитрий Донской». Но в ту пору он был неизвестным литератором. Я не исключаяю того, что всю эту свару он затеял с насмешливого одобрения компетентных органов.

Подавляющее большинство присутствующих на товарищеском суде явно было на стороне Саргиджана. Я с облегчением вздохнул, когда председательское место занял А. Н. Толстой. Специально для этого из Ленинграда приехал, что ли? Ну, думаю, он-то, талантливый, образованный, да еще и граф, петербуржец, знает цену Мандельштаму, защитит его. Но не тут-то было. А. Н. Толстой обращался с Мандельштамом, когда задавал ему вопросы и выслушивал его, с презрительностью обрюзгшей, брезгливой купчихи. Мандельштам вел себя бессмысленно. Вместо того чтобы разумно объяснить, как обстояло дело в действительности, он, нервно и звонко, почти певуче вскрикивая, напирал на то, что Саргиджан и его жена — ничтожные, дурные люди и плохие писатели, вовсе не писатели. Присутствующие, будучи литераторами того же типа, что и Саргиджан, симпатизировали Саргиджану. Унижая его, Мандельштам задевал и их. Не помню формулировку решения суда, но хорошо помню, что решение было не в пользу Мандельштама. Опять Мандельштам показал, что плохо разбирается в людях, не видит себя среди них. Он еще долго и красноречиво бушевал у себя в полутемной комнате, куда мы, два или три человека, зашли после суда. Надежда Яковлевна держала себя лучше, спокойней.

Я часто вспоминал этот грязный суд, когда Мандельштама арестовали. Я представлял себе, как его мучают во время допросов и как он, умный, порой гениальный, бессилён в лапах следователя. Там, уже тогда я угадывал, надо быть волком среди волков, а ведь Мандельштам не был волком по крови своей, он — высокое пламя, но хрупок, слаб пламенник...

В редакцию «Московского комсомольца» к Мандельштаму приходили молодые пишущие, он читал их рукописи добросовестно, разбирал при них каждую строчку, ум его при этом был щедр и снисходителен, но я, свидетель тех бесед, видел, что начинающие не знают его как поэта, знают Уткина, Жарова, Безыменского, Светлова и, конечно, Есенина, в те годы еще не отмеченного печатью классика, а более понаторевшие увлекались Багрицким, Сельвинским, Луговским. Исключением был Ваня Пулюкин (он погиб на фронте), он хорошо знал русскую поэзию, учился у Оболдуева, любил Мандельштама, и Мандельштам к нему благоволил. В своих суждениях Мандельштам был резок, но никогда — никогда! — эти суждения не диктовались личными отношениями. Я к этому еще вернусь...

А пока вернемся в дом в Старосадском. Вот Мандельштам читает мне стихи об Армении, читает высоко, с беспомощным чванством задрал голову, подчеркивая просодию стиха, его гармонию. Беззубый рот не мешал ему, или ему казалось, что не мешал, и мне не мешал, я жадно ловил то, что, как потом я от него услышал, он рассматривал как второстепенное, — смысл, глубокий, опьяняющий смелой новизной, как горной крутизной, смысл этих огромных стихов. Но нет, он притворялся, смысл для него не был делом второстепенным. Стихи то потрясали необыкновенной наблюдательностью, сказочным блеском подробностей, например, замечанием, что жены здесь «как детский рисунок простые», или про армянский алфавит, «где буквы кузнечные клещи, а каждое слово — скоба», то заставляли по-новому и напряженно думать о народе, чьи «церковки ба-сенного христианства» граничили с миром мусульманским: «Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил». И какое сверхпонимание географической, исторической сути Армении: «Орущих камней государство».

Мне встречались и встречаются любители поэзии, которые, отдавая должное Мандельштаму, не удерживаются от упреков в литературности, будто бы ему присущей. Теперь, после сорока шести лет, прошедших с того незабываемого дня, когда Мандельштам читал мне стихи об Армении, стихи, которые не всегда можно отчетливо понять, не зная истории Армении и сопредельных с нею стран, истории ее христианства, ее «казне-любивых владык», ее связей с Византией, с Персией, с античной философией, — теперь я хочу поразмыслить вместе с читателем о том, что же такое пресловутая литературность в стихах.

Литературны в дурном смысле этого слова, всегда литературны стихи подражателей, даже если авторы дремуче невежественны, даже если их произведения изобилуют новейшими бытовыми частностями, приметам дня, наполнены сельской или городской утварью, укреплены частотамом собственных добродетелей, орошены слезами любовных неудач (и удач). Какая странность — и в то же время закономерность: даже у тех подражателей, которые мало читали, даже у тех, которым образцы мало знакомы, — словосочетания почти всегда — бледные копии давно написанных и переписанных. Но литературности нет у Пушкина, ни тогда, когда у него плещут волны Флегетона, ни тогда, когда он переиначивает стихи греков, римлян, французов и даже своих скромных русских современников. Каким литературным с виду может показаться Пастернак, когда он в одной строке соединяет название философского труда древнего грека со стихами мало известного английского драматурга, да еще в пушкинском переложении, но разве литературна эта строка: «На пире Платона во время чумы»? Разве не полна она жгучей человеческой боли?

Когда поэзия рождена жизнью (иначе она не поэзия), то и литература, слившаяся в нашем сознании с жизнью, растущая вместе с жизнью, тоже становится, соединенная с пережитым, одним из источников поэзии. Мандельштам и в молодости, и в более поздние годы любил и умел твердо, неожиданными штрихами, очерчивать литературное произведение, вошедшее в наш жизненный обиход. Он прочел, кажется, в Армении, «Шахна-

ме» Фирдоуси во французском переводе — прозаическом — Жюль Моля, и проникновенно заметил, что характеры героев поэмы меняются по произволу автора, — проникновенно, потому что гениально догадался, что Фирдоуси считал так: нет людей хороших и дурных, пока чтишь светлого Ормузда, — ты хорош, начинаешь служить дьяволу Ахриману, — становишься плохим. «У Чарльза Диккенса спросите, что было в Лондоне тогда», — советовал Мандельштам читателям, и дальнейшие строки этого раннего стихотворения вовсе не пересказывают какой-то определенный роман Диккенса, мы не припоминаем именно те страницы, где веселых клерков каламбуры не понимает Домби-сын или где клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь, но все стихотворение в целом рисует скорее наше восприятие диккенсовской Англии, нежели саму диккенсовскую Англию, и перед каждым встают картины того детства, которое для многих немислимо без прочитанных в ту пору книг. Я хотел бы к этому добавить, что и Диккенс воспринят Мандельштамом через Россию, через Достоевского, что лондонский Сити — это и Петербург Достоевского.

Некоторые замечательные и значительные стихотворения Мандельштама, навеянные памятниками литературы, не излагают содержания этих памятников, а выражают как бы наше (сначала, разумеется, его) к ним отношение, нашу с ними совместную жизнь на протяжении годов, наше понимание характеров их героев, предметов, в них описанных («Я список кораблей прочел до середины»), нам слышится русский отзвук тех чужеземных арф.

Нет ли, однако, в этом пристрастии к литературным первоисточникам нарочитой отстраненности от злобы дня? Любой ответ на этот вопрос прозвучит упрощенно, все решает, в конечном счете, талант художника. Шестьдесят лет существует советская поэзия, — и что же в итоге? Дыхание эпохи мы слышим не в сочинениях государственных стихотворцев, они бездыханны со дня рождения, а в стихах «далеких от жизни» Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Хлебникова. Когда говорят о гражданственности поэзии, редко кто обходится без крылатого пушкинского призыва — глаголом жечь сердца людей. Не все помнят, что в основе «Пророка» лежит литературный текст — мотивы VI главы книги пророка Исаии. Пушкин довольно далеко отошел от библейского сюжета, но шел-то он от него. В примечаниях к академическому изданию сочинений Пушкина (1956), относящихся к «Подражанию Корану», указывает: «Тема первого подражания позднее развита в «Пророке». Чтобы убедиться в этом, я перечитал два перевода Корана, понял, что действительно некоторые библейские мотивы в «Пророке» Пушкин воспринял через их кораническое истолкование (он, видимо, читал Коран в русском переводе М. Веревкина, изданном в 1790 году), но прямых соответствий я не нашел, кроме одного. В суре 94 Аллах говорит своему посланнику: «Разве мы не раскрыли тебе грудь?» (Коран, перевод М. Ю. Крачковского. М., 1963), и, конечно, вспомнилось: «И он мне грудь рассек мечом». И далее:

И сердце трепетное вынул
И утль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Какое жуткое хирургическое вмешательство! И как мучительно и поэту прекрасно призвание поэта. Да, да, только при том неприменном (но еще недостаточном) условии, что человек томим духовной жаждой и в его рассеченной мечом, отверстой груди пылает уголь, можно стать поэтом, не празднословным и лукавым, а обходя моря и земли, глаголом жечь сердца людей. Именно эта пророческая, учительская сущность сделала русскую поэзию величайшим проявлением человеческого, а значит, и Божественного гения новых веков. Чиновник синода или синедрона — не учитель, не пророк. Становясь чиновничьим писанием, стихотворная литература перестает быть писанием пророческим. И согласимся с другой бесспорной истиной: чтобы глаголом жечь сердца людей, надо этот глагол знать. Хорошо знать. Проникнуть в его строение, как физики проникали и продолжают проникать в строение атома. Глагол, слово порождается не только тем, что пережито, но и тем, что узнано, прочитано, услышано. Не будь бессмертных литературных образцов, не было бы, может быть, и этого пушкинского стихотворения. Конечно, книгами не ограничишься, хорошо бы еще с детских лет иметь свою Арину Родионовну — няню, мать или «московскую просвирню» — в широком, современном смысле этого понятия, но я не принимаю тех стихотворцев, которые уныло бахвалются своей кондовостью, «нелитературностью», своим незнанием основ ремесла. Наше дело, как всякое дело, надо уметь делать. Нужна школа, нужны учителя. Обращение «виждь и внемли» содержит в себе, думаю, совет видеть не только картины жизни, но и прежде, до тебя, написанное, чтобы пойти дальше, слышать не только голоса всего, живущего вокруг, но и голоса прежде сказанные. Интерес к метрическим и образительным средствам стиха, знание версификации проявляли, и весьма настойчиво, Сумароков и Ломоносов, Державин, Пушкин и Тютчев, не говоря уже о более близких нам по времени, и это вовсе не исключает приверженность к первенствующему значению содержания, к пророческому началу поэзии. Та кровавая операция, которую проделал с будущим стихотворцем шестикрылый серафим (а сколько еще будет других кровавых операций!), была бы бессмысленной, если бы стихотворец не научился своему делу, не образовал бы свой вкус, не выработал свое представление о прекрасном, ибо глагол лишь тогда будет жечь сердца людей, лишь тогда станет огненным, когда станет прекрасным.

В первый раз я пришел к Мандельштаму восемнадцатилетним, сравнительно начитанным, но, по сути, невежественным. Звание поэта в моем сознании сопрягалось, как и у многих пишущих юношей, со славой, с житейским блеском. И вот я увидел несравненного поэта, почти неизвестного широкой публике, бедного, странного, нервного, стяхивающего почему-то пепел от папиросы на левое плечо, отчего образовывался как бы серебряный эполет, и я не разочаровался, я понял, что именно таким должен быть художник, что возвышенна, завидна, даже великолепна такая тяжкая, нищая судьба моего необыкновенного собеседника.

Я часто начал бывать у Мандельштама, когда он поселился в довольно плохонькой комнате в доме Герцена, в строении бывших конюшен. Это была, кажется, первая за много лет комната, принадлежащая Ман-

дельштамам. Он ко мне относился хорошо, приветливо (старомодно-приветливо обращался к юнцу по имени-отчеству), происходило это, возможно, потому, что я ему не подражал, а это было редкостью среди того крайне небольшого круга стихотворцев, молодых и не очень молодых, с которыми он общался. Одному из таких стихотворцев он в раздражении сказал:

— Разделим землю на две части, в одной половине будете вы, в другой останусь я.

Мои литературные взгляды (в особенности пристрастие к Бунину-поэту) казались ему нелепыми, хотя и простительно-смешными, но иногда они его выводили из себя, он метался по комнате, пустой и полутемной, как келья, и кричал мне: «Народник! Златовратский!»

Стихи мои по-прежнему большей частью ругал, едко и остроумно, но однажды неожиданно, с лестной для меня серьезностью, похвалил стихотворение «Мир», и только поэтому я, сравнительно недавно, опубликовал его в сборнике, вышедшем в калмыцком издательстве. Он выделял — и чудесно читал вслух — строки: «Где шушера теснилась по углам. А краденое прятали по складам». Но если мои стихи нравились ему редко, то он с покровительственным любопытством, порою, смею сказать, с интересом, выслушивал мои комментарии газетных сообщений, всевозможные пыльные соображения, рожденные только что прочитанными Шопенгауэром, Шпенглером, Бергсоном. Убедившись в моей прочной любви к нему, он мне позволял, без большой радости, себя критиковать. Как-то я ему сказал, что в прославленном среди его поклонников стихотворении «Золотистого меда струя...» есть неточность: Пенелопа не вышивала, как у него написано, а ткала, именно в этом суть известного эпизода. К ней, в отсутствие Одиссея, приставали женихи, она, чтобы они отвязались, обещала, что выберет одного из них, когда кончит ткать, а сама ночью распутывала пряжу. С вышивкой так не поступишь.

Мандельштам рассердился, губы у него затряслись:

— Он не только глух, он глуп, — крикнул он Надежде Яковлевне.

Я эту историю рассказал через много лет Ахматовой, и она стала на мою сторону: «В ваших словах был резон. Он не хотел исправлять из упрямства».

Но так ли это, думаю я теперь? Поэтика Мандельштама зиждилась на тогда мне известных, да и сейчас не всегда мне ясных основаниях. Прежде всего, как и в давнишнем случае с Диккенсом, Мандельштам излагал не эпизод гомеровского эпоса, а свое, которое должно было стать нашим, ощущение эпоса, мифа, эллинистической культуры, достигшей Тавриды, дикой и печальной, где всюду «Бахуса службы».

Миф есть поэзия целого. Он отвергает поэзию частных: они ему нужны только как слуги целого. Миф может упомянуть вскользь собак и сторожей, а Мандельштам скажет: «Как будто на свете одни сторожа и собаки». Такая мысль не придет в голову аэду. Миф может указать на время года и приложить нежный эпический трафарет к имени героини, а Мандельштам скажет с обдуманном просторечием: «Ничего, голубка Эвридика, что у нас студеная зима». Используя миф, Мандельштам преобразовы-

вал поэзию целого в поэзию частных и поэтому считал себя вправе не только изменять частности, но и выдумывать их. Он писал: «Собирались эллины войною На прелестный остров Саламин». Гомер мог бы назвать прелестной женщину, но никогда — остров.

Для понимания его поэтики важнее этих соображений то, что слово для него было не частью фразы, а частью ритма. О нет, это не было заумью в крученыховском стиле, избави Боже, но теперь я понимаю так. Подобно тому, как истинный живописец требует, чтобы сюжет картины выражался с помощью рисунка и цвета, а не, скажем, с помощью заранее нам известной исторической фабулы, Мандельштам требовал от стихотворного слова, чтобы оно прежде всего было музыкой, чтобы в самом его звучании жил и победоносно раскрывался смысл, чтобы смысл ни в коем случае не предрешал слова. Мандельштам много и часто говорил об этом, и без какой-нибудь утонченности, он расшвыривал метафоры, но был чужд краснобайства, здание его фразы строилось причудливо, но основанием всегда было здоровое понятие. Не в коня, как говорится, корм, я не обладал достаточной подготовленностью для того, чтобы со всей полнотой воспользоваться счастьем быть собеседником Мандельштама. Я усваивал только мне доступное. Здесь я не могу избежать небольшого отступления.

Мандельштам был на дружеской ноге с поэтом Георгием Шенгели, ныне несправедливо неиздаваемым, полузабытым. Шенгели, немного, кажется, моложе Мандельштама, был человек добрый, яркий, очень образованный, интересовался не только гуманитарными науками, но и точными, владел главными европейскими языками, опубликовал труды по стиховедению. Мария Петровых, Тарковский, Штейнберг и я многим ему обязаны. Его стихи мне нравились и теперь нравятся.

Однажды Шенгели пригласил меня в гости. Он жил в одном из арбатских переулков, занимал с женой странную комнату, большую, но в квартире, где размещался детский сад, нужно было пройти к нему по ломаной линии коридора, на стенах которого низко начинались вешалки, и над каждой, чтобы еще не умевшие грамоте дети различали свое место, пестрело изображение зверька или цветка. Из этого пестрого эдема вы попадали в комнату, разделенную на две или три части книжными шкафами. Книг было много, все ценные. Оказалось, что в гостях у Шенгели был Мандельштам. Хозяйева хорошо нас накормили (Мандельштам любил званые обеды, не очень часто его на обеды приглашали), потом Шенгели читал нам стихи, удивительно искусно написанные, а в некоторых мне слышалась поэзия. Мы вышли вместе с Мандельштамом, и он, прощаясь со мною, заметил:

— Каким прекрасным поэтом был бы Георгий Аркадьевич, если бы он умел слушать ритм.

Я опешил. Известный поэт, автор, к тому же, трудов по стиховедению (о них и сейчас отзываются с уважением специалисты), не умеет слушать ритм! Что Мандельштам, легко удалявшийся от меня по Собачьей площадке, хотел этим сказать?

После многих бесед с Мандельштамом о ритме, после многих лет работы я попытаюсь ответить. Мы, стихотворцы, часто действуем, заколдо-

ванные ритмами данной литературной эпохи, даже данного десятилетия. Есть не только словоблоки, есть и метроблоки. Картина общественная. Как вырваться из этого колдовского плена? Никакие советы не помогут, кроме разве плодотворного разъяснения, что дело обстоит именно так. Уметь слушать ритм есть умение врожденное, от Бога данное. Суть в том, чтобы мысль, слово и ритм возникали одновременно. Необязательно, чтобы мысль была сногшибательно новая: «Бывал я рад словам неизреченным», — сказал Рудаки одиннадцать веков назад на языке фарси, сказал с помощью размера, основанного на чередовании долгих и кратких слогов. «Мысль изреченная есть ложь», — сказал в прошлом веке Тютчев с помощью русского четырехстопного ямба, совершенно не похожего на такой же ямб Пушкина: другой ритм.

Мандельштам открыл для себя, что слово не живет в стихе отдельной жизнью, что оно связано семейными, родственными, дружескими, историческими, общественными узами с другими словами, эти узы, существуя, нередко сокрыты от читателей, и поэт обязан их раскрыть и даже пойти на тот риск, что слово будет связано со словом не прямой связью, а с помощью не прямых, не сразу замечаемых, но, бесспорно, физически существующих связей, порой более сильных, чем наглядные прямые. Вот они-то и рождают ритм, сами обязанные своим появлением ритму. Мандельштам обычно подчеркнуто уважительно говорил о Хлебникове. В ответ на мое замечание, что в Хлебникове изумительно дерзкое соединение культур высокой и первобытной, например, в «Шамане и Венере», он сказал:

— Айхенвальдовщина какая-то. (Т. е. мои слова айхенвальдовщина.) Дело не в этом. Хлебников расщепил слово, как зерно, на дольки. Он слушал ритм, как слушают рост зерна. Он и сам был деревом, по его жилам бежал древесный сок.

Позднее в дневнике Гонкуров я прочел мысль Флобера о Гюго, почти совпадающую с выражением Мандельштама, но уверен, что о древесном соке в жилах поэта Мандельштам говорил без подсказки Флобера, он был слишком богат для того, чтобы снизить к заимствованию мысли. Он говорил: «Размеры ничьи, размеры Божьи, принадлежат всем, а ритм есть только у поэта, принадлежит ему одному» и подкреплял это положение примерами: четырехстопный ямб «Евгения Онегина» совершенно не похож на четырехстопный ямб тютчевский или некрасовский, и совсем уже иной, послефюфановский четырехстопный ямб Блока: «Вновь оснеженные колонны...» и, того-этого, «Возмездие» у Блока не получилось, потому что ритм рабски заимствован у Пушкина: «Большой и хилый Достоевский Туда ходил на склоне лет». Гимназический ямб! (Впоследствии я услышал отрицательное мнение о «Возмездии» от Анны Ахматовой, но соображения были иные.)

В те годы нас, пишущих юношей, обвораживал метр поэмы Пастернака «1905 год», журналы были наполнены стихами, написанными этим метром на всевозможные темы. Я заметил, что если перевернуть строки стихотворения «Золотистого меда струя...» так, чтобы оно начиналось строкой с женским окончанием, то получился бы тот метр, и не взял ли его неволью Пастернак у Мандельштама. В самом деле, сравним: «Так тягу-

че и долго, что молвить хозяйка успела» и «Это было при нас, это с нами вошло в поговорку».

— Вздор, — отрезал Мандельштам. — У Пастернака другой ритм. Это ритм событий тех лет. Не путайте ритм с размером.

Между тем он был не всегда последователен. Когда он мне прочел: «За гремучую доблесть грядущих веков», — я, потрясенный, воскликнул: «Это лучшее стихотворение двадцатого века!», но Мандельштам, указав на жену, которая обычно сидела в дальнем углу, небрежно произнес:

— А в нашей семье это стихотворение называется «Надсоном».

Почему Надсон? При чем тут Надсон? Только потом, на улице, я понял, что имел в виду Мандельштам: размер стихотворения напоминал надсоновское «Верь, настанет пора и погибнет Ваал». Неужели такое поверхностное, лишенное внутренней связи сходство тревожило Мандельштама? Значит, он придавал значение не только ритму, но и его частному, случайному виду — размеру? Или он хотел, с педагогической целью, обратить мое внимание на то, что другие его стихи не хуже, что дело не только в содержании, которое поразило меня своим пророческим духом? Не думаю. А может быть, хорошо понимая мощь этого стихотворения, он просто позволил себе пококетничать? Последнее я не исключаю. В нем было много детского. И не только потому, что он, как ребенок, любил сладости (я впервые видел взрослого мужчину-сладкоежку). Он, разгорячась, бывал баснословно умен, хотя, повторяю, я не мог тогда насладиться умом его бесед, и в то же время, снова повторяю, он плохо разбирался в людях, не видел себя со стороны (а видеть себя со стороны есть, по моему, признак умного человека), видел себя одним из крупнейших (не крупнейшим ли?) поэтов современности и не видел, что далеко, далеко не все смотрят на него точно так же, отсюда — его бытовые ошибки, нередко очень тяжелые, отсюда — несуразности в поведении. Он рассказал мне такой случай. Испытывая какие-то затруднения (сейчас не помню, какие именно, но легко могу себе их представить), он, по совету знакомых, позвонил Енукидзе, тогдашнему секретарю ВЦИКа. Узнав от секретарши, что звонит Мандельштам, Енукидзе весело сказал в трубку:

— Это ты, Одиссей? Куда ты запропастился?

— Одиссей? Какой Одиссей?

— Кто со мной говорит?

— Поэт Осип Мандельштам.

Не помню, что произошло дальше, но помню, что Мандельштам долго негодовал на то, что его спутали с каким-то однофамильцем, а то был почтенный старый большевик, чья партийная кличка была «Одиссей», в Москве, в районе Усачевки, мне помнится, был сад имени Мандельштама. А Осип Мандельштам во время этого краткого разговора обиделся, подумал, что по телефону смеются над его стихотворениями в антологическом роде, не понимая, что они известны только узкому кругу читателей, во всяком случае, не таким, как Авель Енукидзе. Мандельштам (не на словах, конечно) то преувеличивал свою известность, то видел себя окончательно затерянным в толпе. Вот мы гуляем по Тверскому бульвару вдоль его дома, из которого мы вышли вместе с его отцом, ровесником ко-

тогого казался Мандельштам. Отец сидит во дворе на скамеечке, а его преждевременно состарившийся сын читает мне стихи о немецкой речи, спрашивает, нравится ли, и, получив утвердительный ответ, гордо заявляет: «Мое», как будто я мог в этом усомниться, как будто мне могла прийти мысль, что он мне читает не свои стихи, как будто, наконец, можно было допустить, что в России есть другой поэт, который мог бы написать так, как написал он. К замечаниям тоже относился по-детски, терпел их с трудом. Когда я ему сказал, что вряд ли кони гарцуют (так у него), гарцуют всадники, он осыпал меня неестественной для него неумелой бранью. Кажется, в тот день (я не уверен в своей хронологической памяти) он прочел мне известные ныне строки.

Довольно кукситься, бумаги в стол засунем,
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Я пошел в наступление:

— Осип Эмильевич, почему такая странная, нищая рифма: «Обуян—Франсуа»? Почему не сделать «Антуан», и все будет в порядке, и ничего не изменится.

— Меняется! Меняется! Боже, — нарочито по-актерски, обращаясь в бульварное пространство, закричал, чуть ли не завопил Мандельштам, — у него не только нет разума, у него нет и слуха! «Антуан—обуян»! Чушь! Осел на ухо наступил!

В самом деле, думаю я теперь, может быть, он слышал так, как не слышим мы, смертные, ему в данном случае важна была не школьная точность рифмы, а открытый, ничем не замкнутый звук в конце строфы — Франсуа.

Я уже писал о том, что он был одинок, но я не сразу понял, что он не выносил одиночества, радовался, когда к нему приходили. Считается, что он мало (редко?) работал, но я с этим не согласен, он работал всегда, в особенности во время чтения, мысль его страдала бессонницей, плодотворной бессонницей, тому доказательство, например, «Разговор о Данте». Когда он чем-нибудь из прочитанного увлекался, он только и говорил о предмете увлечения. Помню месяцы его увлечения Батюшковым, он написал о нем упительное стихотворение, героем которого, как это часто бывает с истинными поэтами, стал он сам. Он рассказывал о Батюшкове с горячностью первооткрывателя (он никогда не говорил о литературе банально), не соглашался с некоторыми критическими замечками Пушкина на полях батюшковских стихов, искал, находил линию Батюшкова в дальнейшем движении русской поэзии, называл при этом Языкова и Веневитинова. Запомнилась (неточно) фраза: «Прекрасно обливаться слезами над вымыслом, а Батюшков и слезы превращал в вымысел».

Надежда Яковлевна никогда не принимала участия в наших беседах, сидела над книгой в углу, изредка вскидывая на нас свои ярко-синие, печально-насмешливые глаза. Я, каюсь, в ней тогда не видел личности, она

казалась мне просто женой поэта, притом женой некрасивой. Хороши были только ее густые рыжеватые волосы. И цвет лица у нее всегда был молодой, свеже-матовый. Как-то Осип Эмильевич, говоря о чем-то возвышенном, вдруг тонко закричал:

— Надюша, Надюша, клоп!

Он засучил над локтем рукава пиджака и рубахи. Надежда Яковлевна молча приблизилась к нему на своих кривоватых ногах, уверенным щелчком смахнула клопа с руки мужа и так же молча уселась в своем углу. А ведь если бы я был понаблюдательней, то мог бы понять, что Надежда Яковлевна была человеком незаурядным, — хотя бы потому, что Мандельштам, прочтя свои стихи, часто ссылаясь на мнение о них Надежды Яковлевны, хотя бы потому, что эта чета была неразлучной, по всем делам всегда отправлялись вместе, а дела большей частью были какие? Перехватить денег в долг, редко с отдачей, и это дало повод не всегда доброму, но всегда остроумному Валентину Катаеву, иногда кормившему поэта и его подругу в ресторане, выразиться так:

С своей волчицею голодной
Выходит на добычу волк.

Только в конце сороковых, снова, через много лет, — и каких лет! — встретившись с Надеждой Яковлевной у Ахматовой на Ордынке, я мог оценить блестящий, едкий ум Надежды Яковлевны, превосходное ее понимание государственной машины, не столь часто наблюдаемое даже у людей неглупых. А когда, позднее, я прочел ее книги (вторая, на мой взгляд, сильно уступает первой), то, к своему изумлению, открыл оригинального, страстного (и, увы) пристрастного писателя. Она совершила подвиг, сохранив в памяти все неопубликованные стихи Мандельштама и заслужив вечную благодарность русских читателей. Я до сих пор храню подаренное ею машинописное собрание стихотворений Мандельштама, не вошедших в его прежние книги.

Вместе с И. Л. Лиснянской и молодым поэтом П. Нерлером, деятельно занимающимся изданием мандельштамовской прозы, я посетил Надежду Яковлевну незадолго до ее смерти. Вид ее меня не порадовал. В том, как она говорила, не было знакомой мне злости, была какая-то примиренность, поругивала, правда, одну нашу общую знакомую, уехавшую из Союза, ей, как мне казалось, преданную, но поругивала вяло, без присущей ей страсти. Она сказала о себе: «Восемьдесят лет стукнуло девочке». Стали вспоминать прошлое — и давнее, и более близкое. Она напомнила мне, что Анна Андреевна называла меня своим великим визирем: я занимался некоторыми ее переводческими делами. Такой элегический ход разговора позволил мне сказать Надежде Яковлевне, что во второй ее книге много несправедливого (я выразился мягче) и это соседствует с прекрасными мыслями, наблюдениями, что особенно мне неприятен в книге портрет М. С. Петровых, благородной женщины, истинной христианки, замечательного поэта, чей облик автором искажен, а я дружил с ней с юношеских лет и знаю, что она виновна только в том, что Мандельштам — дело прошлое — был в нее влюблен, а она ему не отвечала взаимностью.

Надежда Яковлевна встретила мои слова неожиданно спокойно, спросила задумчиво: «Вы так думаете?» Странный вопрос...

Потом опять пошли воспоминания. Я сказал:

— Надежда Яковлевна, мерещится мне или в самом деле в «Александр Герцовиче» была одна строфа, позднее не вошедшая в окончательный вариант? Я даже слышу голос Осипа Эмильевича, читающего мне приблизительно так:

Он музыку приперчивал,
Как жаркое харчо.
Ах, Александр Герцович,
Чего же вам еще.

Надежда Яковлевна оживилась:

— Да, да. Ося эту строфу выбросил. Вам жаль? А я считаю, что так надо было сделать.

Между тем строфа говорит о характерной подробности быта. Музыканты из консерватории направлялись по короткому Газетному переулку до Тверской, в ресторан «Арагви», помещавшийся тогда не там, где теперь, а в доме, отодвинутом во двор новопостроенного здания, брали одно лишь харчо, на второе блюдо денег им не хватало, но горячее, острое харчо им наливали щедро, полную тарелку...

Не всегда те, чье общество было интересно Мандельштаму, общались с ним. Не могу поклясться, охотно допускаю, что ошибаюсь, но у меня тогда возникло впечатление, что к нему был холоден Пастернак, они, по моему, редко встречались, хотя одно время были соседями по дому Герцена. Однажды я застал Мандельштамов в дурном настроении. Постепенно выяснилось, что то был день рождения Пастернака, но Мандельштамы не были приглашены. А поэзию Пастернака Мандельштам ставил чрезвычайно высоко.

Вот кого из современников он при мне хвалил всегда: Ахматову, Пастернака, Хлебникова, Маяковского. Иногда: Андрея Белого, Клюева. Ему нравились ранние стихи Есенина («Хотя Кольцову больше доверяешь»), нравились «Пугачев» и «Черный человек», отрицательно отзывался о «Персидских мотивах»: «Не его это дело, да и где в Тегеране теперь менялы? Там банки, как всюду в Европе. А если и есть, то почему перс дает рубли взамен местных денег? Надо бы наоборот».

Что-то привлекательное слышалось ему в некоторых строчках Асеева, позднее — Павла Васильева. По-корнелевски высокогласно, чуть ли не как сам Тальма, произносил «Николай Степаныч», но я полагаю, что в Гумилеве он видел прежде всего друга, авторитетного, умного вожака большой литературной группы и, конечно, жертву разбойного деспотизма. Расстрел Гумилева потряс его навсегда. Не помню, чтобы Мандельштам вслух читал его стихи.

Чудесной чертой Мандельштама, ныне не очень часто встречающейся, была его литературная объективность. Не то что суд его был всегда правым, но свои оценки писателей он не связывал с отношением этих писателей к себе. Он восторгался Хлебниковым, который его мало ценил, назы-

вал, кажется, «мраморной мухой», восторгался Маяковским, между тем и Маяковский, и круг Маяковского его не очень жаловали, и Мандельштам знал это. И другая чудесная черта: он никогда не злился на знаменитых, не завидовал им, взирал на них спокойно, издали, даже, по-моему, с некоторым добродушием. Цену себе знал.

Приведу пример его независимой объективности. Я рассказал ему, как его любит Багрицкий, можно сказать, боготворит его, а Багрицкий был тогда гораздо популярнее Мандельштама и среди читателей, и в литературных кругах. Но Мандельштама мое сообщение не тронуло. «У него в мозгу фотографический аппарат, — сказал он. — Выйдет на Можайское шоссе, так непременно увидит Наполеона. Лучшее у него от Нарбута».

Году в 1933-м был устроен в Политехническом вечер Мандельштама. Я получил билет. В тот день, проводя студенческую практику на Дербневском химическом заводе, я задержался в связи с оформлением цеховой стенгазеты, немного опоздал. Вступительное слово произносил Борис Эйхенбаум. Публики было довольно много, больше, чем я ожидал, но кое-где зияли пустые скамейки. А публика была особенная, не та, которая толпилась на взрыленной строительством метрополитена Москве, на узких мостках вдоль Охотного ряда, деловая, целеустремленная, аскетически одетая, — то пришли на вечер поэтa люди, обычно на московских улицах не замечаемые, иные у них были лица и даже одежда, пусть бедная, была по-иному бедная. Увидел я и десятка полтора моих сверстников, запомнился один красноармеец. Признаюсь со стыдом, я плохо слушал маситого докладчика, думал о слушателях, об этом вечере, устроенном внезапно, как вдруг откуда-то сбоку выбежал на подмостки Мандельштам, худой, невысокий (на самом деле он был хорошего среднего роста, но на подмостках показался невысоким), крикнул в зал: «Маяковский — точильный камень русской поэзии!» — и нервно, неровно побежал вспять, за кулисы. Потом выяснилось, что ему показалось, будто Эйхенбаум недостаточно почтительно отозвался о Маяковском (этого не было, Мандельштам ослышался). Не все в зале поняли, что на подмостки выбежал герой вечера. А вечер прошел превосходно, слушали так, как следовало слушать Мандельштама, даже горсточка случайных неопитов была вовлечена во всеобщее волнение, к тому же, к большой радости давних поклонников, Мандельштам читал много новых стихов, еще не опубликованных.

Мне казалось странным, что Мандельштам, так восхищаясь далеким ему Маяковским, довольно небрежно, порой неприязненно отзывался о поэтах, которые, как я тогда думал, должны были ему быть ближе, чем Маяковский. Он не любил символистов, ругал Бальмонта и Брюсова, поругивал Вячеслава Иванова, делал исключение, не говоря уже о Блоке, для Сологуба и Андрея Белого, с которым с удовольствием встречался. Вышла в свет «Форель разбивает лед» Кузмина, я и мои друзья были очарованы этой книгой, несмотря на то неприятное, что в ней было и что Блок деликатно назвал «варварством». Мандельштам разругал «Форель».

— Это ядовитый плод болезненно цветущего ствола. Стилизация — не дело поэта.

— Но вы же сами советовали мне следовать за Тыняновым, учиться у него воспроизводить речевой стиль эпохи.

— Тынянов возродил живые голоса времени, а Кузмин в «Форели» обезьянничает.

Я не согласился, прочел:

Кони бьются, храпят в испуге,
Синей лентой обвиты дуги...

Или это:

То Томас Манн, то Генрих Манн,
А сам рукой тебе в карман.

— Да, хорошо. Но Кузмину лучше удаются свободные метры. Птица певчая:

Золотое, ровное шитье — вспомнить твои волосы,
Бег облаков в марте — вспомнить твою походку...

Я любил, знал почти всю книгу наизусть «Версты» Цветаевой. Стихов ее, написанных в эмиграции, я в те годы не знал. И вот попалась мне «Царь-девица». Вещь мне не понравилась. Мандельштам со мной согласился. «Я антицветаевец», — сказал он, озорничая, улыбаясь, и стал резко критиковать подругу своей юности. Из потока слов я запомнил фразу: «Ее переносы утомительны. Они выходят не в прозу, — признак высокой поэзии, — а в стилизацию. Она слышит ритм, но лишь слуховым аппаратом, ухом, а этого мало».

Опять ритм! И возникает в памяти замечание Мандельштама о Петрарке:

— Его сонеты скучно переводят пятистопным ямбом или театральным александрийцем, и незаконная страсть монаха превращается в переводах в адвокатскую напыщенность. Послушайте его почти уличную итальянскую речь.

Он прочел несколько сонетов Петрарки в подлиннике, один или два наизусть, другие — глядя в книгу, прочел так, как обычно читал собственные стихи. То было почти пение.

— Мне кажется, — сказал я, имея в виду размер, — что русской кальки не получится.

— И пусть не получится! Вообще стихи переводить не надо. В переводе можно читать только прозу, стихи следует читать только в подлиннике. Напрасно вы начинаете заниматься переводами, потом пожалеете.

Он был неправ. Я не пожалел и не жалею. Конечно, и дрянь приходилось перекладывать на язык родных осин, но, переводя классику, я узнал Восток — мусульманский, индуистский, буддийский, его древнюю поэзию, его еще более древний эпос. Для Мандельштама переводы были

сушей пыткой (из его переводов мне по-настоящему нравится только тот сонет Петрарки, где шепот клятв каленых), Ахматова, переводя, испытывала удовлетворение крайне редко, а Пастернак и Заболоцкий переводили с увлечением.

Не столь пристрастный, какой оказалась Надежда Яковлевна, Мандельштам довольно часто и горячо менял свои суждения. Отрицая значительного поэта (например, Заболоцкого или Вагинова), он вдруг, ни с того, ни с сего, начинал хвалить заурядного стихотворца, да еще, на мой взгляд, ему нужного. Так мне запомнились неожиданные для меня похвалы Кирсанову.

Поучая меня, приравливаясь к моему молодому советскому невежеству, Мандельштам вел со мною разговоры не только о различных особенностях литературного ремесла. Разговаривали мы и на более важные темы, например о христианстве и иудаизме. В отличие от Пастернака, Мандельштам духовно ощущал свое еврейство (в молодости он крестился, но то был акт чисто внешний — ради возможности поступить в университет он принял лютеранство. Надежда Яковлевна родилась в крещеной семье, но религиозные чувства пришли к ней очень поздно). Я опрометчиво понадеялся на свою память и ничего не записывал. Память в то время у меня была хорошая, но я чувствую, что даже те фразы, которые я запомнил, я воспроизвожу, обедняя их.

Интересовали Мандельштама и политические вопросы, и немудрено: политика властно и жестоко входила в повседневный быт советских людей. У Мандельштама не было того обстоятельного, поразительного, ясного политического мышления, которое впоследствии восхищало меня в Ахматовой, зато некоторые его прозрения были гениальны. Запомнилось:

— Этот Гитлер, которого немцы на днях избрали рейхсканцлером, будет продолжателем дела наших вождей. Он пошел от них, он станет ими.

В последний раз я видел Мандельштама, посетив его вместе с Г. А. Шенгели. Он жил, после воронежской ссылки, полулегально. Квартира была хорошая, в писательской надстройке в Нащекинском переулке (теперь улица Фурманова). Мандельштам читал нам чудные воронежские стихи, и мне вспомнилось, как я с тем же Шенгели, за несколько лет до этого, пришел к Мандельштаму в комнату в доме Герцена и Мандельштам прочел нам стихотворение об осетинском горце, предварительно потребовав поклясться, что никому о стихотворении не скажем. Я понял, что он и боится, и не может не прочесть эти строки. Откуда, однако, он уже в те годы знал об осетинском происхождении Сталина?

Шенгели побледнел, сказал:

— Мне здесь ничего не читали, я ничего не слышал...

Во время допроса Мандельштам составил список лиц (он теперь известен, хотя и неточно), которым он читал это стихотворение. Моя фамилия в списке не указана. Забыл или пожалел? Но почему же он не пожалел М. С. Петровых, которая была ему ближе, чем я?

В лагере он сошел с ума. Его убили. Теперь о нем пишут статьи, он знаменит, как никогда при жизни. Ахматова еще в начале пятидесятых пред-

сказывала его славу. Даже у нас издали в «Библиотеке поэта» укороченный томик его стихов с оскорбительным предисловием. Мне рассказывали, что секретарь калмыцкого обкома партии, храбрый солдат, генерал-лейтенант в отставке, вряд ли прочитавший за всю свою жизнь более двух-трех книг, самолично распределял присланные в республику экземпляры книги Мандельштама среди партийной элиты: все-таки ценность! Как всегда, Поэт оказался сильнее Государства. Уголь, пылающий огнем, не гаснет.

1977—1981

У ВОЛОШИНА В ТРИДЦАТОМ

Я сказал Г. А. Шенгели, что собираюсь на каникулы в родную Одессу. Он тоже решил отправиться — в Крым, в родную Керчь, но по дороге захватить в Коктебель к Волошину и предложил мне сопровождать его. Я с радостью согласился.

Поезд прибывал в Феодосию на рассвете. Мы наняли таратайку. Шенгели удивил меня, заговорив с возницей-татаринном на его языке. Потом он мне объяснил, что по-татарски знает слов сто, не больше. Он хорошо владел английским, французским, немецким, латынью.

Мы въехали на таратайке в еще холодную степь, удаляясь от моря. В воздухе, однако, чувствовалось приближение жары. Чабрец, мята, полынь, виноградники — как под моей Одессой, но там земля была ровней. Но вот мы снова повернули к морю, вдали засинела бухта, вот и селенье — болгарское, как сообщил мне Шенгели. Ехавшая с нами жена Шенгели, поэтесса Нина Леонтьевна Манухина, сказала: «Неужели мы сейчас увидим великого Макса? Сколько раз бывала здесь и всегда замираю от счастья».

Когда мы приблизились к похожему на корабль дому Волошина, Георгий Аркадьевич мне сказал: «Все еще спят, но мы здесь свои люди, а вы прогуляйте часок, если хотите, искупайтесь в море, покуда я вас устрою.купаются здесь в костюмах Адама и Евы, мужчины — справа, женщины — левее».

Я двинулся вправо. У самого моря стояла спиной ко мне голая, крупная женщина, видимо, не очень молодая, судя по жировым отложениям. Шенгели ошибся? Я пошел влево. Там, хохоча, плескались две девушки. Делать нечего, снова пустился вправо. Голая женщина одевалась, щурясь на солнце. Я узнал по портретам: то был Алексей Толстой. Я, не будучи знаком, поздоровался с ним по-деревенски. Он сказал: «Холод смертный. Бодрит, мерзавец». Действительно, мое Черное море здесь оказалось холодным. Но Алексей Толстой был прав — холод бодрил.

Вернувшись к дому, я увидел, что около одноэтажного флигелька, посреди террасы, одиноко стоит мой чемодан. Из флигелька вышла приземистая женщина, смуглая и усатая, она назвала мне свои имя и отчество,

сказала: «Пойдемте, я отведу вас в вашу комнату». Мы, в другом флигеле, поднялись по крутой лестнице, вступили в комнатенку. Она оказалась мансардой со скошенной крышей, так что в одном ее углу не мог бы встать в рост и десятилетний мальчик, тем более я, двадцатилетний, хотя и невысокий. «Здесь жил Гумилев», — значительно сказала усатая. Не знаю, как он здесь жил. Крыша за день так раскалялась, что в комнате невозможно было дышать.

Завтрак. Свежее, цвета топленого молока, масло, горячий домашний хлеб, чай. За столом собралось человек пятнадцать. Кроме знакомых мне супругов Тарловских и Шенгели — Алексей Толстой, профессор Десницкий из Ленинграда, поэтесса Звягинцева, с которой на всю жизнь подружился, переводчица Рыкова, две женщины, имена которых забыл, — высокие, плоскогрудые, седые, стриженные по-мужски, как потом оказалось, отличные пловчихи. Во главе стола сидел Волошин, напротив — его жена Марья Степановна, маленькая, остроглазая. Меня представили Волошину. Он показался мне похожим на памятник первопечатнику Федорову. Шенгели сообщал последние московские литературные новости. Так же как и сейчас, в наше время, интеллигентные группы писателей негодуют и смеются, узнавая о жестоких или низменных, корыстных поступках некоторых своих руководителей, — негодовали и смеялись мы, слушая о рапповских зловещих невеждах. Волошин относился ко всему добродушней, чем его гости, олимпийски спокойно. Я уже тогда понимал, что он немного актер, но его «правда, так надо играть».

Вечером Алексей Толстой читал свой рассказ «День Петра». На чтение приглашены были все гости. Пили отузское вино, восхищались рассказом. Волошин сказал: «Алихан, ты удивительно талантлив, какой огромный писатель вышел бы из тебя, если бы был образован». Я с горечью подумал: «Если уж Алексей Толстой мало образован, то что сказать о таких, как я?»

У Волошина был необычный голос: высокий, дребезжащий, удивительный при его мощной фигуре, и вдруг этот голос сменялся низким, густым. Все его называли «Макс». Шенгели и Алексей Толстой были с ним на «ты».

Против дома, к тополю, рядом с рукоойником, был прибит ящик, вроде почтового, самодельный. В него каждый опускал деньги — кто сколько может. На этих деньгах держалось хозяйство, и кое-что оставалось на зиму. Не помню, кто мне сказал, что Алексей Толстой, уезжая, каждый раз оставлял Марье Степановне солидную сумму. Гонорара у Волошина не было, его не печатали.

Из того волошинского, что теперь известно, я знал только сборник «Иверни» (он и сейчас стоит у меня на полке), ходившее по рукам великолепное стихотворение «Дом поэта», да я еще прочел в каком-то альманахе (забыл в каком) небольшую поэму «Россия» — произведение огромной силы. Навсегда запомнились строки:

А печи в те поры
Топились часто, истово и жарко
У цесаревен и императриц.

И еще одна важная строка: «Великий Петр был первый большевик». Цитирую, как запомнил.

Шенгели попросил Волошина послушать мои стихи. Слушал он доброжелательно, но никак их не оценил. Я — не очень точно — помню его слова:

— В молодости многие пишут стихи, иногда неплохо. Но поэтом бывает только личность. Личность создается Богом. Та глина, из которой Бог лепит личность поэта, состоит из страдания, счастья, веры и мастерства, а мастерство есть знание, навыки и еще что-то, а это «что-то» называется по-разному: натуры примитивные, но чистые — волхвованием, более тонкие — тайной или музыкой. Года два тому назад нас навещил Андрей Белый, изрек: «Мной установлен закон построения пушкинского четырехстопного ямба, я заключил закон в математическую формулу». — «Боренька, — отвечаю я, — вот и напиши как Пушкин».

Был день, когда Волошин оказал мне честь — позвал с собой на прогулку, повел меня к тому месту, где теперь его могила. Хорошо знавшие его люди так его описывают: длинные волосы, обтянутые античным ремешком, длинная тога, сандалии на босу ногу. В тот день был и ремешок, и сандалии, но было тоги: на нем была рубаха до колен, подпоясанная шнурком. Дорога была нелегкая, жаркая, ветреная, ветер высушил стебли трав и колочки по бокам тропы, то падающей, то поднимающейся. Волошин, несмотря на свою тучность, ступал легко. При этом он безудержно говорил, главным образом о греческом и итальянском прошлом этих одичавших мест. Если Брюсов, охотно перелагая в стихи античные мифы, ничего оригинального к ним не добавлял, то Волошин даже в беседах с юнцом связывал воедино Элладу и Среднюю Азию, север Европы и наше Причерноморье. Между прочим, от него я впервые узнал, что Чуфут-Кале это Джегуд-Кале — «Еврейская крепость». Он рассказал мне историю возникновения караимской ереси. Последователь французских символистов, заметивший, что «в дождь Париж расцветает, словно серая роза», он любил и хорошо знал Восток, разбирался в сложном этногенезе крымских татар, которых ценил за их честность, трудолюбие, сказал о них: «Древние виноградари и тайноведы подземных вод». Я представляю себе его неистовую боль, если бы он дожил до выселения татар из Крыма.

По вечерам только избранные допускались в «кают-компанию» — в кабинет Волошина, а мы, остальные, гуляли вдоль пустынного моря до дачи Юнге и обратно, некоторые купались в море под звездами. Коктейль тогда не был модным курортом, о нем мало знали, и если не считать коренных жителей болгарской деревни, то его обитателями были только семья Волошина и ее летние гости, а также приезжавшие на дачу Юнге. Однажды пришел с этой дачи В. В. Вересаев, маленький, в белой бухгалтерской кепке, в парусиновой толстовке. Чувствовалось по выражению его умных усталых глаз, что ему не нравятся люди, гостившие у Волошина. Я тогда подумал, что мало общего у автора «Записок врача», повестей о том, как народничество уступало свои позиции социал-демократическому марксизму, с Волошиным, эстетом, парижанином, «христианским коммунистом», как он сам себя называл. Но, видимо, Вересаев скучал в мало-

людном «безрадостном» Коктебеле, вот и решил навестить соседа. Впрочем, может быть, их сближала любовь к античности, знание древнегреческого — ведь Вересаев переводил «Илиаду» и послегомеровских лириков.

Там, где теперь лодочная станция, стояла будка, ее владелец — не то грек, не то караим — жарил по вечерам шашлыки, варил кофе, торговал невероятно дешевым вином.

И вот в один из вечеров Лада Руст — жена Марка Тарловского — сказала мне, что будут выбирать короля и принца поэзии. Еще она мне сказала, что королем принято избирать Волошина. Как это получалось, я до сих пор не знаю. Число претендентов было ограничено: Волошин, Шенгели, Тарловский и, кажется, Звягинцева. Билетики опускались в «амфору», как объяснил руководивший выборами профессор Десницкий. Я опустил два билетика: в короли выдвигал Волошина, в принцы — Шенгели. Результаты голосования: король — Волошин, принц — Тарловский.

Шенгели не сумел и не хотел скрыть обиду, ушел с Ниной Леонтьевой. Никто ему не посочувствовал, пили отузское вино. Король поэзии читал стихи, то повышая голос до женского, по понижая и громокипя, как Зевс:

И скуден, и неукрашен
Мой древний град
В венце генуэзских башен,
В тени аркад...

А дальше:

Суда бороздили воды,
И борт (пауза) о борт
Заржавленные пароходы (женски-высоко)
Врывались в порт...

И еще строфа, кажется такая:

Выламывали ворота,
Вели сквозь строй,
Расстреливали кого-то
Перед зарей...

...Через два года после незабвенного Коктебеля я пришел на Малый Ржевский к Шенгели. Он, всегда смуглый, был темен, черен. Нина Леонтьевна плакала. «Умер Волошин, ушел Макс», — вздрагивающим голосом сказал Шенгели.

1989

ВЕЧЕР И ДЕНЬ С ЦВЕТАЕВОЙ

В конце ноября или в начале декабря 1940 года мне позвонила моя приятельница, поэт и переводчица Вера Звягинцева:

— С тобой хочет познакомиться Марина Цветаева. Приходи ко мне сегодня вечером.

Я знал со слов Веры, что в молодости она, когда была начинающей актрисой, дружила с Цветаевой, даже одно время они снимали вместе комнату (квартиру?). Услыхав или почувствовав мое удивление, Вера добавила:

— Не пойму, чем объяснить ее желание. Стихов твоих, конечно, она не знает.

Итак, я увижусь с Цветаевой, с той Цветаевой, чью книгу «Версты» я в свои отроческие годы приобрел за гроши на одесском развале. Новизна, сила, яркость этих стихов потрясли меня, через несколько дней я знал книгу наизусть. Писатели, мои старшие земляки, рассказывали, что в эмиграции она стала поэтом огромным, что у нас ей равны только Пастернак и Маяковский. Мне было известно, что Цветаева вернулась из Парижа в Москву, что ее муж и дочь приехали раньше, что в старомосковских литературных кругах все о ней говорят, называя ее по имени, как императрицу: не произнося фамилии. О том, какая страшная участь постигла С. Я. и А. С. Эфронов, я не знал.

В назначенный час я пришел в Хоромный тупик у Красных ворот. Двери открыл мне Александр Сергеевич, муж Звягинцевой:

— У нас Марина.

Первое впечатление: женщина немолодая, начинающая седесть, лицо неровное, серое. Глаза особенные: выразительные при сильной выпуклости. Когда смотрела на собеседника, было неясно, видит ли она его. Быстрые жесты, быстрый, юный поворот головы. Темное, почти монашеское широкое платье — странного для советского человека покроя.

Разговор сначала пошел незначительный. Пили вино, закусывали. Все четверо сидели за накрытым столом, как бы чего-то ожидая. И дождалась: Марина Ивановна пожелала нам прочесть свою поэму «Попытка

комнаты». Предварила чтение словами о том, что она никогда не встречалась с Рильке, только переписывалась с ним, и в одном письме он обронил замечание: «Какова будет комната, в которой мы встретимся?» Поэма — ответ на этот вопрос.

Читала Марина Ивановна наизусть. Читала просто, без каданса, голос свежий, прелестный, чисто московский, но мне показалось, что как-то резко, отрывисто произносила строки, нарочито подчеркивая их отстраненность от привычной стиховой музыкальности.

Чтение окончилось, наступило напряженное молчание. Должен признаться, что «Попытка комнаты» мне в тот вечер не понравилась. Когда через много лет удалось прочесть поэму в книге, я нашел прекрасные по своей глубине мысли, услышал и музыку, но отрицательного мнения не переменил. Как выяснилось дня через два, поэма не понравилась и Звягинцевой, и ее мужу. Если теперешний читатель решит, что сказались узость и незрелость нашего литературного вкуса, то спорить с таким читателем мне будет трудно.

Александр Сергеевич вопросительно произнес:

— А не послушать ли нам Звяжкины стихи?

Марина Ивановна бросила быстрый выпуклый взгляд на Веру Клавдиевну:

— Так ты не только переводишь?

Звягинцева прочла несколько стихотворений. Цветаева ничего не сказала. Через десять молчаливых минут обратилась ко мне:

— Теперь ваша очередь.

Я тоже прочел несколько стихотворений. Марина Ивановна и тут ничего не сказала.

Содержания дальнейшей беседы не помню, кажется, о делах переводческих, бытовых. Около полуночи мы простились с хозяевами. Я провожал Марину Ивановну. Жила она тогда недалеко от Красных ворот, где-то на Покровке. Посреди Садовой она внезапно, порывисто вытащила руку из-под моей руки и сказала:

— У меня к вам несколько вопросов. Мне предложили редактировать французский перевод одного эпизода калмыцкого эпоса «Джангар». Перевод с вашего перевода сделал московский француз... (она назвала фамилию, я забыл). Французский язык не так приспособлен, как русский, к тому, чтобы передать всю вашу азиатскую орнаментику, аллитерации и прочее. Наш француз вообще не рифмуется. У вас размер такой же, как в подлиннике?

— Чтение подлинника мало что дает. В исполнении сказителя, джангарчи, иные гласные редуцируются, иные растягиваются. Я записывал со слов сказителя.

— Кто такой Эрлик-хан?

— Судья умерших. Владыка ада.

— Халвынь?

— Халвинг. Головной убор замужней калмычки.

— Вроде наших хористок в кокошниках?

— Нет. Этот убор в быту и сейчас.

— Чиндамани?

— Три драгоценных талисмана, которые на берег ежедневно выбрасывает океан Бумба.

— Океан, как я поняла, священный, а словцо какое-то детское: Бумба. Мне не очень по душе ваш способ перевода. Думаю, что словарь кочевнического эпоса должен быть более прост, груб.

— Калмыки действительно раньше кочевали, образ жизни их и сейчас прост, но их эпос на протяжении веков отделяли буддийские монахи, благодаря буддизму «Джангар» связан с оригинальной индустской философией. А калмыки вовсе не грубы. Расскажу вам один случай. В глубине степи, в слабо освещенном сельском клубе я слушал одну песнь эпоса. С помощью домбры ее исполнял джангарчи, еще не старый. И вдруг он заснул. И зал затих. Тишина длилась несколько минут, пока сказитель не запел снова. Потом я спросил у своего спутника, драматурга Баатра Банганова: «Что же произошло?» Он мне объяснил: сказитель дал знак слушателям, что святые, сладостные звуки эпоса перенесли его на несколько мгновений в нирвану. Слушатели поняли и тоже заснули, как бы удалившись из нашего иллюзорного мира в мир вечный.

— Вот это чудо. Ваш рассказ лучше вашего перевода.

— Спасибо. Помните ли вы, Марина Ивановна, что калмыками интересовался Пушкин? Наш гений нашел время, чтобы сделать пространные выписки из трудов монаха Иакинфа Бичурина, посвященных истории калмыков. В своем «Ехеги Monumentum» Пушкин сначала написал «сын степей калмык». Узнав от Бичурина, что калмыки пришли в приволжскую степь из горной Джунгарии, он слово «сын» заменил «другом».

Цветаева восхитилась:

— Вот это святость. Святая точность. Святость ремесла. Вот так надо работать.

У Земляного вала мы свернули на Покровку. Прощаясь, Марина Ивановна неожиданно предложила:

— Хотите погулять по Москве?

— Когда? — Я был польщен.

— Завтра. С утра.

— Заехать за вами на такси?

— Нет, будем долго ходить пешком. Я к такси не привыкла. Встретимся в десять утра. Я приеду на подземке, выйду у Охотного ряда.

Марина Ивановна появилась ровно в десять. Ее сопровождал сын Мур, подросток на вид лет пятнадцати, красивый, в иностранной курточке и в крагах. Я увидел его в первый и последний раз. Он простился с нами (с матерью весьма сухо) и направился к метро. На Марине Ивановне был широкий синий берет и показавшийся мне тоненьким длинный плащик, ниже лодыжек, на плече — ремешок от сумки. Я подумал, что она одета не по сезону. В Москве уже было холодно, лежал на земле неплотный слой снега.

По предложению Марины Ивановны мы двинулись через Красную площадь к Замоскворечью. Она его хорошо знала, вспоминала мне неизвестные прежние названия улиц, сказала: «В этих местах жил Остров-

ский», и действительно мы скоро увидели особнячок с мемориальной доской на белой, в мокрых пятнах стене.

Марина Ивановна была первым человеком «оттуда», с которым я встретился, и я жадно ее расспрашивал о тамошней русской жизни, о писателях, прежде всего — о любимых, о Бунине и о Ходасевиче.

О Бунине она говорила нехотя, с явным неодобрением. Рассказала что-то нехорошее о его семейном быте. Стихотворный его талант отрицала. С еще большим неодобрением, даже враждебно, говорила об Адамовиче и Георгии Иванове — о «двух жоржиках». По ее словам, оба повинны были в том, что ее вещи отвергались «Последними новостями», в которых эти литераторы имели вес, лишали ее, пусть жалкого, заработка. Как поэтов обоих ни во что не ставила, хвалила некоторые критические статьи Адамовича. О Ходасевиче говорила с уважением и симпатией. Когда Ходасевича укоряли, что он сотрудничает в крайне правой эмигрантской газетке, Ходасевич пожимал плечами: «Разве одна газета отличается от другой?»

Воодушевилась, когда в ответ на мой вопрос стала рассказывать о Бальмонте. Оказалось, что, несмотря на большую разницу в возрасте, они дружили. Вспомнила: Бальмонт крепко пил. Решили его вылечить. Собрали эмигрантские франки, да и у него кое-что тогда было, поместили в хорошую частную клинику. Исцелили, пить перестал, но и писать перестал, потерял память, и редкими были минуты просветления. Однажды он, в рваной крылатке стоя на улице недалеко от своего дома, что-то шептал, и проходившая мимо него женщина дала ему милостыню. Мысль вспыхнула в нем, он швырнул деньги на тротуар...

Перед отъездом в Москву Марина Ивановна пришла с ним проститься. Бальмонт сидел молча за столом, взглянул на гостью как бы умершими глазами. Марина Ивановна спросила:

— Бальмонт, много ты за свою жизнь написал?

Глаза Бальмонта осмыслились, он поднял руку высоко над столом, чтобы показать, сколько томов им создано, потом опустил руку к полу и снова поднял на прежний уровень над столом и внятно произнес:

— А с братушками — вот столько.

Марина Ивановна поняла: он имел в виду свои переводы со славянских языков.

Зная по дореволюционным публикациям ее пристрастия, я удивился тому, что она сочувственно отзывалась о Мережковском, ценила его, правда больше как мыслителя, чем как художника. Рассказала, что незадолго до войны, году, кажется, в тридцать седьмом, Мережковского принял Муссолини. Услышав от знаменитого русского писателя, что он — продолжатель дела Юлия Цезаря, Муссолини проявил скромность:

— Piano, piano.

Я забыл, что говорила Цветаева о Зинаиде Гиппиус, жене Мережковского, только помню, что говорила с осуждением, с раздражением. На мой вопрос, как парижане, русские литераторы, относятся к поэтам, работающим на родине, получил ответ:

— По-разному. Адамович и Набоков признают только Ахматову и Мандельштама, не приемлют Пастернака, великого поэта, не терпят Маяковского. Молодежь любит Багрицкого.

— А вы его любите?

— Нет. Южный эпигон Гумилева. Порой бывает чем-то интересен Кирсанов, но уж очень пуст. Мощный мотор придан игрушечному автомобилику. Вам известно имя Бориса Поплавского?

— Только имя. Стихов не читал.

— Постарайтесь прочесть — самый зрелый из молодой эмиграции.

Я с юных лет восхищался стихотворением Цветаевой, начинающимся словами «Ты запрокидываешь голову, затем, что ты гордец и враль». Тогда я не знал, что стихотворение посвящено Мандельштаму. Одна строфа меня завороживала:

Преследуемы оборванцами
И медленно пуская дым,
Торжественными чужестранцами
Проходим городом родным.

Из Риги, ставшей недавно нашей, мне привезли сборник Цветаевой. Вместо «Преследуемы оборванцами» было напечатано: «Позвякивая карбованцами». Я спросил, чем вызвана эта замена:

— Ведь такая яркая картина. Людям кажется, что идут иностранцы, да еще женщина курит на улице, это необычно, и оборвыши бегут за ними.

— У вас допотопное понимание поэзии.

— Но ведь и ударение неправильное. Не «карбова́нцы», а «карбо́ванцы».

— Разве?

— Конечно. Именительный падеж единственного числа — карбова-нець. Знаю точно, родился на Украине, при Петлюре держал этот карбо-ванец в руках.

— Вот это замечание серьезно, надо подумать.

Так, беседуя, мы медленно, как в ее стихотворении, шли по замоскворецким улочкам и переулкам, мимо складов, которые когда-то были храмами. Марина Ивановна сначала всякий раз крестилась, потом перестала. Вдруг, с той простотой, которая была свойственна Руссо или Толстому, она сказала, что ей нужно в уборную. В Москве это и сейчас проблема, а в те годы — почти неразрешимая. Я задумался. Вспомнил, что сравнительно недалеко, на Большой Полянке, я как-то заприметил здание райисполкома, и утешил мою спутницу:

— Придется потерпеть минут двадцать.

Повел Марину Ивановну наугад, переулками, и, к большой радости, скоро увидел заветное административное здание. Не знаю почему, но я уверенно вел Марину Ивановну по длинному коридору, не обращая внимания на встречаемых чиновников и посетителей-просителей, и нашел то, что ей нужно было. На улице Марина Ивановна меня спросила:

— Все москвичи так поступают?

— Только те, кто уважает райисполкомы.

Я хотел ее рассмешить, но Марина Ивановна как бы меня не расслышала. Она предложила посетить — не в первый раз после своего возвращения, как я узнал, — Музей имени Пушкина, созданный ее отцом. Мы

спустились к Каменному мосту, пересекли широкую площадь, по которой, как бы преодолевая близорукость, она пошла твердым, почти мужским шагом.

Никто из сотрудников не обратил на нее внимания. Она предложила осмотреть египетский раздел и проявила нешуточное знание истории и мифологии Древнего Египта. Я привык богиню называть «Изида», она поправила: «Исида».

В музее мы пробыли два часа. С тех пор как мы встретились у Охотного ряда, прошло не менее шести часов. Я спросил Марину Ивановну, не проголодалась ли она. Марина Ивановна кивнула. А я еще утром запланировал, что поведу ее в «Националь», предвкушая удовольствие — вкусно ее накормить, выпить коньячку, деньги у меня тогда водились. Но когда мы вышли из музея, Марина Ивановна заметила рядом, на улице Грицевец, столовую. Вывеска сообщала, что столовая принадлежит «Метрострою».

Оказалось, что вход в нее открыт для всех. Я ужаснулся. Я хорошо понимал, что собой представляет эта столовая, и туда я поведу волшебную поэтессу, парижанку? Но как я ни убеждал Марину Ивановну не вступать в обжорку, в двух шагах — «Националь», она заупрямилась. Мы открыли дверь.

Нас обдал пар, мутно дышавший кислым запахом квашеной капусты. Я усадил Марину Ивановну за свободный столик, о котором в прошлые времена написали бы: «сомнительной чистоты». Сейчас он был несомненно грязен. Сомнительной чистоты был поднос. Я встал с ним в небольшую очередь. Меню: щи супочные, мясные котлеты из хлеба с разваренными макаронами, зеленовато-желтая жидкость под названием «компот». Все это Марина Ивановна уплетала без брезгливости, даже с некоторым удовольствием.

Видя, что я не ем, она вынула из сумки и дала мне прочесть страничку, на которой было отстукано машинкой несколько абзацев, подпись — К. Зелинский. Это была рецензия на сборник стихов, предложенный Мариной Ивановной издательству, кажется «Советскому писателю»¹. Рецензент полагал, что с точки зрения политической в стихах нет ничего особенно дурного, разве что в отдельных местах, но наша советская поэзия в своем развитии ушла так далеко вперед, что формальные изыски Цветаевой покажутся читателям анахронизмом, давно пройденным этапом...

Недавно, из превосходной книги Марии Белкиной о жизни и творчестве Цветаевой, я узнал, что рецензия была гораздо длиннее, поэтому дали только последнюю страницу (в те годы авторов знакомили с рецензиями), потому что на предыдущих страницах было написано такое, что даже далекие от сентиментальности сотрудники издательства постыдились показать их Марине Ивановне.

Она спросила, что я об этом думаю. Рассерженный грязной бумажкой, я забыл свою почтительность, у меня вырвалось односложное ругательное слово, но Марина Ивановна ответила спокойно:

¹ Теперь я узнал, что сборник стихов был предложен М. И. Цветаевой в Гослитиздат (примечание 1990 года).

— Вот именно.

Покинув обжорку, мы пошли во Волхонке к Тверской, свернули в Камергерский переулок. Указав на дом в начале переулка, Марина Ивановна сказала:

— Я здесь была у Асеева.

Последовал рассказ: обида на Асеева. У нее не было крыши над головой, на Покровке она жила временно у знакомых, единокровная сестра отказалась от общения с ней, вот и пришла Цветаева к Асееву, близкому ей, как поэту, просить, чтобы тот помог с жильем. Асеев сказал, что это не в его силах, если она не против, он позвонит Фадееву. Неужели он, такой важный человек, любимец правительства, не в состоянии раздобыть для нее хоть какую-нибудь комнатенку?

Я объяснил, — нет, не в состоянии, для жилищного управления Моссовета этот важный писатель — ничто. Его предложение позвонить Фадееву было правильным. Я добавил, что за год советской жизни она не успела понять нашей системы. Другого способа ей помочь у Асеева не было.

Марина Ивановна вспыхнула, мое возражение резко отбросила. Недовольна она была и Пастернаком, оговорившись, что она ему благодарна за то многое, что он для нее сделал. Недавно он пригласил ее к себе на переделкинскую дачу, там происходило шумное грузинское застолье, лужулов пир, изобилие вин и яств, великий хозяин был навеселе.

— Марина Ивановна, вы и тут не поняли нашего литературного быта. С помощью Бориса Леонидовича вы начали переводить с грузинского. Вот он и решил познакомить вас с грузинскими поэтами. Это у нас в обычае. Борис Леонидович заботится о вас.

— Конечно, заботится, он ко мне добр, но я ждала большего, чем забота богатого, я ждала дружбы равного. Вы любите его?

— Очень люблю. Согласен с вами — поэт великий. Как и Мандельштам.

— А Ахматова?

— Она мне роднее. Она, Бунин, Ходасевич.

— Я так и думала. Но трех этих Бог сотворил из разной глины. По-взрослеете — поймете.

— Мне пошел двадцать девятый год.

— Значит, самое время понять.

Теперь, когда я пишу эти беглые страницы, мне пошел семьдесят девятый. Литературные мои пристрастия остались те же, что и в молодости. Консерватор...

Мимоходом замечу, что стараюсь передать не только смысл, но и стиль разговора с Цветаевой, но далеко не уверен в том, что это мне удастся, ведь прошло пятьдесят лет.

...В «Национале» было светло, уютно, пусто и тихо. Марина Ивановна предоставила мне право выбора блюд и вина, а сама на несколько минут удалилась. Я оглядел зал. В его глубине я увидел двух известных писателей, с которыми был знаком. Один, прозанк, — москвич, другой, поэт, — киевлянин. Я так и буду их называть — Москвич и Киевлянин, почему — станет видно из дальнейшего. Москвич подошел ко мне пружинной по-

ходкой футболиста, держа в руке рюмочку, наполненную наполовину. Синие его глаза из-под густых бровей остро сверкали умом и любопытством:

— Кто ваша дама? Лицо ее я где-то видел.

Я назвал.

— Сама Цветаева! Можно к вам подсесть.

— Я у нее спрошу.

Я услышал, что Марина Ивановна высоко ценит Москвича, рада с ним познакомиться. Имя Киевлянина было ей неизвестно. Я пошел за ними. Видимо, оба чувствовали себя за нашим столиком неловко, в особенности — Москвич. Он молчал, пристальным, как у живописца, взглядом смотрел на Марину Ивановну. Я подумал: как странно, признанный Демосфен ресторанов молчит. Киевлянин с украинским акцентом взволнованно говорил Марине Ивановне о своем преклонении перед ее поэзией. Говорил несколько провинциально, но чувствовалась искренность, сердечность. Между тем он почему-то раздражал Москвича, тот то и дело прерывал его, нередко грубо, например так:

— Надо уметь говорить о поэзии. Жмеринковские трюизмы тошно выслушивать.

Киевлянин наконец вышел из себя и произнес страшное слово:

— Всем известно, что вы стукач.

Москвич молча поднялся, не забыв взять свою рюмочку, но уже с нашим коньяком, и медленно, тяжело направился к своему столику. Смущенно попрощавшись, покинул нас и Киевлянин, двинулся к выходу.

Марина Ивановна поднялась:

— Уйдем отсюда. Немедленно.

Когда мы пересекли Тверскую по дороге к метро, спросила меня, правду ли сказал Киевлянин. Что я мог ответить?

— Не думаю. У кого есть возможность оправдаться, если ему бросят в лицо такое слово? Но опыт говорит, что крупные писатели на эти роли не берутся. Используются мелкие, безвестные или с именем ложного блеска.

— В старину такая сцена кончилась бы дуэлью. А как мы в эмиграции им восторжались, его метафорами.

Так и не исполнилось мое желание — угостить Марину Ивановну ужином в «Национале». Больше мы никогда не виделись.

Несколько раз она мне звонила по телефону. Не говорила «здравствуйте», а начинала, будто продолжая только что прерванный разговор:

— А знаете, вы были не правы...

Беседа, иногда длинная, что было не очень удобно в коридоре коммунальной квартиры, касалась главным образом дел переводческих. Запомнил: Марина Ивановна переводила поэму Важа Пшавела. Она спросила:

— Надо ли сохранить размер подлинника? Как у вас это принято?

— Не обязательно. К тому же есть традиция. Пушкин перевел стихотворение Мицкевича «Будрыс и его сыновья» размером подлинника, а переводя другую вещь Мицкевича, «Воевода», сохранил строфику, но анапест заменил четырехстопным хореем.

Помолчав несколько секунд, Марина Ивановна сказала:

— Мне надо подумать.

Перед своим отъездом в Узбекистан, а уезжал я надолго, на два-три месяца, я ей позвонил. Марина Ивановна позавидовала мне: как хорошо в теплых краях!

В Москву я вернулся в июне, протелефонировал, мне ответили, что Марина Ивановна сейчас за городом. Я решил, что приеду навестить ее в ближайшее воскресенье. В воскресенье началась вторая мировая. На пятый день ее я был направлен в Кронштадт для прохождения военной службы на Балтийском флоте. Поздней, холодной, мглистой, блокадной осенью начальник нашей писательской группы Вишневский сказал нам:

— Есть сведения из Москвы, что в эвакуации покончила с собой Марина Цветаева.

Нож прошел по моему сердцу.

20 февраля 1990

НЕСКОЛЬКО СТРАНИЧЕК О ЗАБОЛОЦКОМ

Не имея дерзкой потребности писать воспоминания о Николае Алексеевиче Заболоцком, я хочу высказать несколько соображений и суждений о его поэзии. Да и навряд ли у меня есть право на то, чтобы делиться с читателями воспоминаниями о замечательном русском поэте, с которым мы были только добрыми знакомыми. Нечего говорить, что мое уважение к нему сочеталось с преклонением перед его огромным самобытным талантом.

Люди, стоявшие к нему гораздо ближе, чем я, дружившие с ним — по-разному и в разные годы, — единодушно отмечают в Заболоцком одну и ту же черту: его веру в свое поэтическое призвание, твердо жившее в нем сознание важности и необходимости своего дела.

Были ли у него, как у многих других, почти у всех, сомнения в правильности избранного пути? Однажды он сказал мне: «Не буду предлагать редакциям оригинальные стихи, буду публиковать только переводы». Эти слова он сказал после одного эпизода, о котором я еще расскажу, но все же я полагаю, что то была минутная вспышка, я убежден, что Заболоцкий не только сознавал истинность своего призвания, но и упорно верил в то, что его поэзия нужна людям, нужна для того, чтобы их радовать и учить. В этом смысле он достойный продолжатель великой русской поэзии, чей учительский, проповеднический характер общеизвестен.

Вскоре после того, как Заболоцкий вернулся из Казахстана и получил вместе с семьей временное пристанище в Подмосковье, я познакомил его с одним поэтом, весьма искусным и тонким мастером. Заболоцкий выслушал его стихи, а потом сказал мне: «Он работает как слепой».

Я не раз мысленно возвращался к этой фразе. Хотел ли Заболоцкий сказать, что поэт должен мыслить рационально, знать наперед свои возможности, видеть ясно предметы, подлежащие описанию? Нет, понял я, Николай Алексеевич хотел от этого поэта ясного понимания своей художественной цели, хотел, чтобы тот с помощью слов создавал существо жизни, а не умножал литературные образцы, хотя и безупречного вкуса.

Некоторые полагают, что творчество Заболоцкого делится на две чуждые друг другу части: сначала «Столбцы» и «Торжество земледелия», в

которых он видится якобы как модернист крайнего, авангардистского толка, а потом — новый, совершенно другой Заболоцкий, апологет традиционного стиха, последователь Тютчева и Баратынского.

Этот насильственный раздел души поэта неверен, ибо невозможен.

«Девственность не дозируется», — заметил некогда Бальзак. Не дозируется и душа поэта.

Случается, что сам поэт решает стать иным, решается, а не может, потому что его поэзия сильнее его самого. Он может перестать быть поэтом, но он не может стать иным поэтом. Даже резкое изменение политических взглядов не меняет поэта. Как художник, Достоевский периода петрашевцев и увлечения философией Фурье — тот же, что и после каторги. Душу и облик поэта не в силах изменить изменения его изобразительных средств. Да и так ли изменились эти средства?

Я впервые прочел «Столбцы», по совету Багрицкого, в том году, когда они вышли в свет, — в 1929-м. Меня, юного стихотворца, они поразили не только оригинальностью содержания, трагизмом абсурда, не вымышленно-литературного, а того, который возникает из-за разрыва между духовно-прекрасным и угрюмо-низменным, — поразили меня эти стихи и классичностью формы, той строгой простотой и естественностью, с которой слово двигалось в строке. Напомню, что первая книга Заболоцкого вышла на фоне словесной вакханалии, которая имела место в ту пору. Многие пишущие разрывали стих, природную мерность его воспринимали как наивность сладкопевца, рифме придавалось некое самостоятельное значение, отдельное от смысла стихов, эпитеты не объясняли суть дела, а часто запутывали его, так как намеревались восхищать не глубиной увиденного, а необычностью.

А в «Столбцах» наш старый, но удивительно по-молодому энергичный метр, оригинальный не от преднамеренности, не от задуманности, а от нового содержания стихов, и традиционная рифма, не притягивающая к себе, как у иных, ненужного, специального внимания (разве что иногда непрофессиональной бедностью, например: «меня — говоря»), и точный, реалистический эпитет — реалистический при всей своей внезапности, неожиданности, — и становилось ясно, что у ракеты живот именно бенгальский, у больного вспотевший лоб — прямоуголен, у коров улыбка — бледная, и рядом — эпитеты совсем уже простые: стремительное тело футболиста, а герой — воинственный, а стены — каменные, все, как должно быть. И рифмы, если вернуться к ним, все дельные, самые необходимые: стены — сирены, колес — волос. А если рифма не получается, то строки остаются без рифмы:

Но вот все двери растворились,
Повсюду шепот пробежал:
На службу вышли Ивановы
В своих штанах и пиджаках.

Не зарифмовано, — значит, так и надо, это ведь лучше, чем звонкая, яркая, острая лжерифма, как честное безденежье лучше фальшивого купона.

Поразил меня тогда впервые узанный Заболоцкий своей торжественно-подчеркнутой и бесстрашной связью с русской классикой, — по тем временам это было большой редкостью. Вот те же «Столбцы»:

Гляди: не бал, не маскарад,
Здесь ночи ходят невопад,
Здесь, от вина неузнаваем,
Летает хохот попугаем.
Здесь возле каменных излучин
Бегут любовники толпой...
...А на Невке
Не то сирены, не то девки,
Но нет, сирены, — на заре,
Все в синеватом серебре,
Холодноватые...
Обман с мечтами пополам!

Что мне вспомнилось, когда я читал эти не похожие ни на какие другие стихи?

«Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гуляние Петербурга!.. Сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий, грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы... Создатель! Какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Какая быстрая свершается на нем фантазмагория!»

Теперь я понимаю, что эта гоголевская фантазмагория и поразила меня в стихах Заболоцкого, поразила меня и связью с неумирающим былым русской литературы, и новизной замеченных, и живым, жизнетворным стихом воспроизведенных «странных характеров».

Спокойный пятистопный ямб «позднего» Заболоцкого спокоен только с виду. «Прекрасное должно быть величаво». Заболоцкий это знал и утверждал, но он также знал и утверждал следующее: прекрасное неизменно от Библии или Гомера до наших дней, но понятие величавости подвержено влиянию времени, рождается временем. Потому-то Заболоцкому «и голос Пушкина был над листвою слышен, и птицы Хлебникова пели у воды». И во «Второй книге», и в скупо издаваемых последующих осталась та же, что и в «Столбцах», резкость сравнений, та же неожиданность словосочетаний. Прекрасная величавость «Лебеди в зоопарке» веет смелостью литературы XX века; раньше поэт не сказал бы о высокой лебеди: «Красавица, дева, дикарка», а тем более — «Животное, полное грез».

С последней строкой в моей памяти слит один невеселый вечер. Николай Алексеевич позвонил мне, просил зайти (мы тогда были соседями). Я только что вернулся домой, устал, ответил в трубку, что увидимся завтра. Мне показалось, что Николай Алексеевич был недоволен моим отказом. Через час, кажется, позвонила Екатерина Васильевна, попросила, чтобы я, если могу, пришел сегодня, хотя было уже поздно. Я понял: что-то случилось.

Когда Екатерина Васильевна открыла мне двери в крохотную прихожую, я увидел: в комнате, за большим круглым столом, уставленным бу-

тылками с непродажным грузинским вином (видимо, прислали друзья), спиной ко мне сидел Николай Алексеевич. Он не сразу, ощутимо не сразу, обернулся, а когда наконец обернулся, чтобы поздороваться, мне навсегда запало в душу выражение его глаз: без обычных очков эти глаза стали очень русскими, мужичьими, в них была воспаленная тоска. Может быть, он раньше плакал.

Вот что я узнал. Сотрудница «Нового мира», давняя поклонница поэзии Заболоцкого, попросила, чтобы он принес стихи. Такого рода просьбы Заболоцкий тогда получал не часто. Через некоторое время Николай Алексеевича вызвал в редакцию Александр Трифонович Твардовский. Случилось так, что Твардовскому стихи не понравились, но, уважая Заболоцкого, он решил с ним переговорить, и в разговоре он как бы призывал автора чистосердечно разделить его, редактора, здравомысленную точку зрения. Мне запомнилась в передаче Николая Алексеевича фраза, которую с добротой, но укоризненно произнес Твардовский: «Не молоденький, а все шутите».

Можно себе представить, что почувствовал в эти минуты Николай Алексеевич. Как это нередко бывает с большими поэтами-современниками, оба они, Твардовский и Заболоцкий, относились тогда холодно к творчеству друг друга. Потом, после совместной поездки в Италию, в их отношениях, насколько я знаю, наметилась какая-то близость, но в тот давний день, видя, что автор вежливо, но без интереса относится к ходу его рассуждений и даже тяготеет к ним, Александр Трифонович обратился к кому-то из сотрудников журнала, как бы ища поддержки: «Он говорит о лебеди, что она — животное полное грез». Сотрудники рассмеялись.

Николаю Алексеевичу было больно и горько. Боль и горечь его были не от того, что он усомнился в себе, а от того, от чего бывают горечь и боль, и ему захотелось, чтобы кто-нибудь, в чье сочувствие он верил, выслушал его, успокоил.

У нас была общность взглядов на пути русской поэзии, общность переводческих интересов. Не только физически невозможно отделить раннего Заболоцкого от позднего — нельзя отделить и Заболоцкого — оригинального поэта от Заболоцкого-переводчика, ибо, о чем бы ни пел поэт и в каком роде ни пел бы он, всегда, всю жизнь, он поет одну песню.

В 1929 году Заболоцкий начал писать поэму «Торжество земледелия», в которой между прочим размышляет о проявлении разума у животных. Впоследствии он присвоит разум и растениям. В поэме конь говорит:

Люди! Вы напрасно думаете,
Что я мыслить не умею...

Бык заявляет:

На мне сознания есть печать.

Через много лет Заболоцкий переведет с грузинского поэмы Важа Пшавела, и мы прочтем в переводах, ставших классическими:

Кому вдомек, что у цветов
Столь силен дух самозабвенья?
Чтобы болящий был здоров,
Готовы жизнь отдать растенья!

Готовы, как мыслящие существа...

Видный украинский поэт опубликовал рассказ о том, как он переводил «Евгения Онегина». Переводчик обратил внимание на некоторые музыкальные и версификационные стороны одной строфы, действительно заслуживавшие этого внимания, и показал на примере, как он ради воспроизведения этих особенностей на украинском языке пожертвовал даже некоторой точностью мыслей. Николай Алексеевич удивлялся простодушию маститого переводчика. «Вот уж действительно, — говорил он, — выиграл полушку, а потерял червонец».

Когда для настоящих заметок я решил перечесть переводы Заболоцко-го и достал с полки его Важа Пшавела, я увидел на томике такую надпись, которая еще раз может показать, как весел и добр был Заболоцкий в обычной жизни:

Семен, напрасно люди врут,
Что Цезарь — я, а Липкин — Брут,
А потому, хоть я и крут,
Дарю тебе сей дивный труд!

Мы, переводчики, любили после секционного заседания посидеть в Клубе литераторов небольшим кружком. Мне кажется, Николаю Алексеевичу по сердцу были эти беседы, как и разговоры на узкопрофессиональные темы, — во всяком случае, он принимал в них заинтересованное участие.

Николай Алексеевич превосходно знал русскую поэзию — от Ломоносова и Державина до Хлебникова и Мандельштама. Но он был не просто читателем классиков, он чувствовал себя их младшим братом, он считал себя вправе и ценить их, и судить. В каждом из русских поэтов он находил то, что ему было не только близко, но и нужно. Он восторгался строкой Лермонтова: «Не для меня красы твоей блистанье», и, когда он произносил ее, строка как будто приобретала новый, прежде скрытый для меня смысл.

Ему не нравились переводы Фета, и, приводя те или иные переводные строки, казавшиеся ему несладкими, он удивлялся, как мог их написать тот самый поэт, который создал такой шедевр, как «Измучен жизнью, коварством надежды...». Н. А. обращал внимание на то, что это стихотворение Фета, как и державинский «Снегирь» («Что ты заводишь флейту военную...»), по своим ритмам принадлежат скорее XX веку, нежели XVIII и XIX.

Заболоцкий, насколько я мог понять, был равнодушен к Блоку и Маяковскому. Он все больше любил Ходасевича и Бунина — и прозаика, и поэта, который восхищал его четкостью стихотворного рисунка, чистой голосом, презрением к эффекту. Вообще я заметил, что с годами Нико-

лаю Алексеевичу переставали нравиться стихи броские, нарядные. Он разделял мнение Пушкина о том, что женщины, как правило, мало понимают в стихах, и считал, что женщинам писать стихи не следует. Мои доводы и общеизвестные примеры не производили на него никакого впечатления.

Мне кажется, что Н. А. несколько позднее, чем это бывает со всеми, унаследовал русскую прозу, — зато с каким восторгом он читал ее вслух, как великолепно улавливал ее музыку! В последние годы он очень увлекся Чеховым и, сам будучи натурой оригинальной, увидел Чехова с неожиданной стороны. Юмор Чехова он понимал и чувствовал во всех тонкостях. Ему много говорила фраза: «Душ Шарко, ваше превосходительство», — и в стыке двух «ш», повторенных в слове «ваше», он как бы открывал суть чеховского персонажа.

Как и о других русских поэтах, от Пушкина до Блока и Пастернака, не прекращаются споры и о Заболоцком. Мне иногда приходилось слышать такое мнение, что он холоден. Думаю, что так могут высказываться только те стихотворцы или читатели, которые привыкли к так называемому «самовыражению», к художественному крику, к тому, что Бунин метко, хотя и зло, назвал «писарской душщипательностью». В действительности Заболоцкий душевен высшей душевностью, душевностью ума. И опять — не только поздний, но и ранний. Вспомним форварда из «Столбцов»:

Все так же вянут на покое
В лиловом домике обон,
Старест мама с каждым днем...
Спи, бедный форвард!
Мы живем.

Или написанное тридцать шесть лет назад стихотворение «Все, что было в душе...». Поэт лежит на траве, читает книгу, на странице которой нарисован чертеж цветка. И в самую душу нашу входят строки и зовут к тому, чему и названия нет, но что — мы хорошо это знаем — прекрасно, а потому вечно:

И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно проснулась,
И запела печальная тварь славословье уму,
И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось
Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему.

Через несколько лет после войны мы, несколько литераторов, тоже лежали в подмосковной траве, и Заболоцкий нам читал стихи, и эти, и другие, новые, и голос его донныне звучит во мне.

1973

КИПАРИС ДОСКИ

Старый богатырь, вождь племени, держа в руках плеть, сидит на траве. Он в голубом кафтане, и седина его тоже голубой стала от движения времени, от дряхлости. За его спиной табун одномастных коней, стадо быков — его труд, его богатство, а впереди, перед его глазами — будущее, мы, читающие книгу о нем.

Таким изобразил его художник, сделавший сначала несколько рисунков со знакомого мне старика, сторожа при складе на элистинском базаре. Как угадал в нем художник то, что, думается, сам старик и не ощущал в себе? Это и есть единственно верный путь искусства — от повседневного к прекрасному. Тогда-то становится ясно, чем привлекло к себе внимание В. А. Фаворского лицо этого, казалось бы, ничем не примечательного старика. И теперь — после Фаворского — вспоминаешь, каким пристальным был взгляд узких, уже выцветающих глаз, как бы заглядывающих вам в душу.

Сколько лиц, сколько мест вижу я, когда смотрю на гравюры «Джангариады»! Хорошо помню того загорелого, широкоплечего калмыка, каспийского рыбака, с которого написан богатырь Хонгор, Алый Лев, и ту молоденькую актрису с некрасивым умным лицом, которая изображена на гравюре в качестве мудрой Зандал-Герел, и то местечко в степи около Яшкуля, которое, возродившись в душе художника, стало фронтисписом к вступлению.

Вспоминаются мне и наши поездки по калмыцкой степи, и в особенности одна такая поездка летом, когда трава сгорела и волны песка двигались навстречу нашей машине по сухой и, казалось, очень твердой земле, но так только казалось, а на самом деле мы вскорости попали в ерик, и машина надолго в нем застряла, и мы ее толкали вчетвером: и водитель, и Баатр Басангов, и я, и уже тогда седобородый Владимир Андреевич Фаворский в старенькой чистой парусиновой толстовке, из бокового карманчика которой выглядывали толстый карандаш и дерматиновый потертый очечник.

Машина наконец вырвалась из соленого вязкого плена, сумерки широко, полно и густо легли на половину видимой степи, а другая половина еще насквозь золотилась дневным червонным золотом, и на небе одновременно зажглись круг солнца и круг луны.

— Видите, — сказал Владимир Андреевич, — на буддийских иконах тоже бывают одновременно солнце и луна, считают, что это условность, а какая же условность — вот они два круга на небе.

Заночевали мы не помню уж в каком селении — или то было отделение совхоза? Хозяева дома, твердо соблюдая обычаи калмыцкого гостеприимства, сперва угостили нас маханом и чаем, а потом уже спросили, кто мы. Пришли соседи, и в кибитке запахло степным жильем — кизячьим дымом, овцой, перегнанным молоком. Владимир Андреевич был удивительно хорош с простыми людьми, хорош, потому что естественен. Когда перед маханом выпили по чарочке «тепленького» — водки из молока, Владимир Андреевич произнес нечто вроде тоста:

— Вы, калмыки, сначала показались мне чудными, а теперь кажется чуждыми.

И все удовлетворенно смотрели на то, с каким удовольствием московский профессор, зурач (художник), пьет золотистый калмыцкий чай, о котором поэтесса сказала, что вкус его зависит от той, кто этот чай приготовил.

Владимир Андреевич, взявшись за иллюстрации к национальной эпической поэме, изучал не только буддийские иконы, калмыцкий орнамент, но и довольно-таки обширную литературу о калмыках, монголах, о буддизме. Книгами его снабжал Баатр Бсангов. Фаворский полюбил степной народ так, как может полюбить русский, чье сердце чисто и радостно открыто всему человеческому в человеке. И как бы смущенно, словно оправдываясь, объясняя эту любовь, говорил:

— Пушкин целые страницы выписывал из трудов монаха Иакинфа Бичурина, из разных книг по истории калмыков. И сказочка, которую сказывает у него Пугачев в «Капитанской дочке», — калмыцкая.

Осталось в моей памяти и такое его мимолетно произнесенное высказывание:

— Неправильно говорят, что степь однообразная. Степь разная. Иная в «Слове о полку Игореве» (он делал ударение на первом слоге — полку), иная она у Чехова, иная в калмыцком эпосе.

Мы часто, на протяжении нескольких лет, встречались с ним и его учениками во время общей работы над «Джангариadou». Учеников своих он всегда хвалил, появились у него и ученики калмыки, среди которых он выделял безвременно ушедшего Ивана Нусхаева, а о своем сыне Никите говорил с какой-то лукавой гордостью:

— Есть такие, кто считает, — сын, мол, отца превзошел!

Нет сына, он пал на фронте, нет и пережившего его отца. Я приходил к ним на квартиру на Мясницкой, против почтамта, подъезд был в глубине двора. На высоком этаже, с окном во двор, была их — отца и сына — мастерская. Они сидели друг против друга, Владимир Андреевич и Никита, и

работали на самшитовых досках. Сидели они босиком, в рубахах навыпуск. Рядом с возникающими гравюрами был рассыпан на доске побольше колотый сахар и стоял большой фарфоровый «трактирный» чайник. У Никиты была маленькая шелковистая светло-каштановая борода, борода отца — серебро с чернью. Что-то простое и вместе с тем величаво-значительное было в этой сцене, почему-то вспомнились прочитанные в юности строки:

От братии прилежной
Апостола Луки
Икону Тайны Нежной
Писать — мне испытанье.
Перенесу ль мечтанье
На кипарис доски?

Как возникла творческая связь В. А. Фаворского с калмыцким эпосом? Я преклонялся перед гением художника — не только графика, но и сценографа. Уже в юности меня поразило его оформление «Фамари» — поэмы А. Глобы, его ксилография «Достоевский». Я был убежден, что в душу одного из величайших писателей мира Фаворский проник глубже, чем знаменитый Перов. Когда я заканчивал перевод «Джангара», я решил приложить все старания к тому, чтобы оформление книги было поручено Фаворскому. Баатр Басангов одобрял мое решение. У меня был приятель, молодой художник, мой ровесник — мы вместе с ним учились в одесской художественной профшколе. Я доверил ему свою мечту. Оказалось, что он немного знаком с Владимиром Андреевичем, он устроил мне свидание с ним. Это свидание состоялось в помещении архитектурного института на Рождественке, на самом верхнем этаже которого была небольшая мастерская Фаворского и Л. Бруни. Я прочел обоим начало «Песни о поражении свирепого хана шулмусов Шара Гюргю», прочел с умыслом, так как в этом отрывке было описание дворца Джангара, что, как я подумал, должно было заинтересовать двоих моих слушателей. Стихи понравились обоим. Владимир Андреевич попросил меня принести всю рукопись полностью. Когда Владимир Андреевич с ней ознакомился, он дал согласие оформлять книгу.

Я был счастлив. Теперь осталось получить согласие издательства. Заведующим художественной редакции Гослитиздата был тогда А. Д. Гончаров, известный график. Оказалось, что он высоко ценит работы Владимира Андреевича. Он обещал поговорить с директором издательства — и уговорить его. А уговаривать надо было: Фаворскому в те годы жилось трудно, его обвиняли во всевозможных грехах. Отсюда и неказистая мастерская в архитектурном институте.

Все складывалось хорошо. Издательство заключило договор с Владимиром Андреевичем. Но отзвуки недоброжелательного отношения к нему еще слышались долго. Однажды председатель Совнаркома Калмыкии Н. Л. Гаряев, принимавший горячее участие в подготовке к празднованию юбилея эпоса, сказал Баатру Басангову и мне:

— Был я в Москве, познакомился с художником Александром Герасимовым. Уважаемый товарищ рисует портреты вождей. Он не одобряет кандидатуру Фаворского, говорит, что Фаворский формалист.

Хитроумный Баатр быстро нашелся:

— Формалист — это не политическое обвинение. Это значит, что Фаворский придает большое значение не только содержанию, но и форме.

Конечно, Нальджи Лиджиевич хорошо знал, как опасна кличка «формалист», но и он уже находился под обаянием личности и таланта Фаворского и сделал вид, что объяснение Басангова его удовлетворило.

Забегу вперед. Вспоминаю, что уже после войны тот же мой приятель-художник передал мне слова А. Герасимова, сказанные на каком-то собрании: «К чему нам эти две бороды — Фаворский и Коненков?»

У Владимира Андреевича была своя система взглядов на искусство книжной иллюстрации. Насколько я вспоминаю и понимаю, суть этих взглядов сводилась к тому, что книжные иллюстрации не должны быть картинками, живущими отдельно от книги жизнью («как стены в Сандуновских банях» — запомнилось мне едкое сравнение). Иллюстрация должна быть связана и с типом шрифта, и с видом набора, и с буквицами, и с орнаментами, и с титулами, и даже с размером полей.

Владимир Андреевич как-то спросил меня:

— Вы бывали на станции метро «Новокузнецкая»? Поднимаешься по эскалатору, и на тебя падают два света: внутренний, электрический, и внешний, яркий летний свет, льющийся из раскрытых дверей станции, а ты неподвижен на движущемся эскалаторе. Вот это — живая гравюра.

Иллюстрации к «Джангариаде» кажутся мне гениальными. Русский художник выразил душу небольшого степного народа, знавшего, по выражению монголоведа Б. Я. Владимирцова, не только перекочевки с четырьмя видами скота, но и ставки властителей полумира и пагоды храмов. Художник, иллюстрируя народный эпос, изобразил народ и его идеалы, его сердечный мир, его представление о красоте. Великий художник скромно совершил подвиг дружбы и братства.

Давид Кугультинов рассказывает: он, еще школьник, принес нам свою рукопись — он тогда писал по-русски. Мы, как заправские командированные, жили втроем в маленькой и единственной элистинской гостинице, чуть ли не в одном номере. Баатр Басангов угадал в подростковом возрасте поэта. После хвалебных слов последовали и критические. Тогда, заметив на лице юного Давы огорчение, В. А. Фаворский сказал ему:

— Учился я в ваши годы, или чуть-чуть постарше был, у скульптора. Дал он нам лепить полотенце, но сначала погрузил край полотенца в воду. Он требовал, чтобы у нас и в глине край полотенца был мокрый... Искусство — это тяжелый труд. Бывает мастерство без искусства, но не бывает искусства без мастерства.

Я чувствовал, что Владимир Андреевич полюбил и «Джангар» и калмыков прочной любовью. Может быть, здесь сказались особые обстоятельства, а именно: в Прикаспийской низменности он встретил у степного народа ту любовь и ласку, в которых так нуждалось тогда его сердце.

Мы были у него в дни его ярко и широко разгоревшейся славы в мастерской в Новогирееве. Бем Джимбинов обратился к нему с просьбой проиллюстрировать антологию калмыцкой поэзии, издание которой тогда предполагалось. Владимир Андреевич жарко и молодо согласился, сказал, что надо к этому делу привлечь В. Федяевскую и других его учеников. А потом весело и просто напросился к Джимбинову на калмыцкий чай.

Но настало 31 декабря 1964 года, и в канун Нового года я пришел в зал Академии художеств, чтобы поклониться и ему, и его великому искусству, чтобы проститься с ним. Он лежал на столе как живой. Так он лежал когда-то на калмыцкой земле, степные цветы наклонялись к нему, разговаривали с ним.

1974

ВТОРАЯ ДОРОГА

В 1928 году литературная Одесса еще продолжала жить. Хотя ее звезды первой и второй величины покинули неповторимый город ради Москвы, где засияли всероссийской славой, их отсветом еще светились менее подвижные астероиды. Литературные взгляды отнюдь не были провинциальными, барабанное виршеписание презирилось. Не прекратило своего существования Южно-Русское общество писателей, к которому до революции были близки подолгу жившие в Одессе Бунин и Куприн. Оно респектабельно заседало два раза в месяц в Доме ученых на Елизаветинской улице, седые профессора, адвокаты читали свои длинные, старомодные поэмы, написанные неправильным, белым ямбом. Душой общества был настоящий писатель и видный специалист в области виноградарства Александр Кипен, автор знаменитого «Бирючьего острова», когда-то печатавшийся в столичном «Русском богатстве», в горьковских сборниках «Знания». Кажется, председателем общества был Наум Осипович, в прошлом — народоволец, известны были в свое время его очерки тюремной жизни, замеченные Короленко. Семнадцатилетний автор этих строк был горд и счастлив, когда его приняли в общество.

Молодежь — студенты, безработные, школьники старших классов — собиралась каждую субботу в помещении редакции одесских «Известий». То был кружок при газете, задуманный как рабкоровский. Рабкоров я там не припомню, начинающие читали свои стихи и рассказы, их слушали девушки и юноши, писавшие тайно, среди них выделялся своей сосредоточенной молчаливостью приземистый, большеголовый, склонный к полноте, бедно, но чисто одетый паренек, о котором говорили, что он будущий великий математик. То был Сережа Королев, впоследствии прославленный конструктор ракетно-космических систем.

«Станком» руководил блестящий, образованный П. А. Пересветов. Первая половина заседания была посвящена его лекциям. Он доказывал нам, что Фет и Полонский были несравненно выше Маяковского и Сельвинского, а громкоязыкий Гюго тускнеет в сравнении с Бодлером и Верленом. Увы, самонадеянная молодежь плохо его слушала, смеялась и болтала

в нетерпеливом ожидании своего выхода, но, к счастью, ему не мешала, он страдал глухотой. Он читал русские и французские стихи, поглаживая лежавшую у него на коленях плебейскую собачку Жужу. А когда наступала наша очередь читать, он раковинной прикладывал руку к уху, закрывал глаза и, вдруг их открыв, радовался каждой живописной, музыкальной, на худой конец внятной строчке.

И вот однажды на субботнем заседании появляется незнакомец. Его, как выяснилось, привел постоянный посетитель «Станка» поэт и художник Владимир Стамати и попросил предоставить своему товарищу, приехавшему из Москвы, возможность прочесть стихи не в очередь. Незнакомец стал читать. Слушатели, которые (что, наверно, понятно из предыдущего) вовсе не были периферийными, темными виршеплетами, а находились на уровне стихолобовов обеих столиц, восхитились уже первыми строками: «Шито-крыто, ночь-ворона, спит дебелая Верона». Голос автора с южными вопросительными интонациями гремел, карие глаза, то левантйски-лукавые, то магически-безумные, сверкали, и весь он — смуглый, стройный, высокий, самоуверенный и в то же время робкий — показался нам чудным вестником истинной поэзии. Вот, поняли мы, как надо писать!

Поражал мускулистый, упругий и нервный стих, очень богатые, глубокие рифмы, построенные по классическому образцу, но почему-то неожиданные, да и вся поэма о Вероне была неожиданная, смелая какой-то благородной, отнюдь не модернистской смелостью, однако же все в ней дышало нашим смутным временем. Мы, влюбленно почитавшие поэтов серебряного века, взволнованные и более поздними, но еще не умевшие отличить живую, теплокровную новизну Пастернака от муляжной новизны Асеева или Сельвинского, увидели, поняли, слушая Аркадия Штейнберга (так звался незнакомец), что классический русский стих таит в себе небывалые возможности. Пересветов торжествовал. Даже Сережа Королев впервые принял активное участие в заседании, выкрикнув: «Ух!» Другой посетитель кружка сочинил большое стихотворение, которое начиналось так: «Скажите, Штейнберг вам знаком? О как владеет он стихом!»

За каких-нибудь две недели Штейнберг стал у нас общепризнанным метром. Он читал и на заседании Южно-Русского общества писателей, и характерно, что даже немолодые завсегдатаи общества, застрявшие на Надсоне и Фруге, в лучшем случае на Бальмонте, были обворожены словесным волхвованием необычного, но притягательного таланта.

Он и как человек казался необычным. Не будучи провинциальной литературно, наша молодежь была провинциально-мещанской, и вот приехал из Москвы двадцатилетний поэт, нигде не печатавшийся, нигде не работавший, нигде не учившийся. Странно! Теперь я думаю, что прежде таких поэтов в России не было ни среди дворян, ни среди разночинцев, ни среди — тем более — крестьян. Мне кажется, что молодой Штейнберг всем своим существом был чем-то похож на таких французов, как Аполлинер или Андре Сальмон.

Мы подружились. Как оказалось — на всю жизнь. Он был старше меня на четыре года, гораздо начитанней, знал не только русскую, но и не-

мецкую поэзию (он отлично владел немецким языком, так как учился в Одессе в реальном училище св. Павла, где все предметы преподавались по-немецки). От него я впервые услышал имена Рильке и Георге.

Штейнберг и его юная жена Нора, худая, высокая, большеглазая, настойчиво подчеркивающая свое сходство с цыганкой, занимали комнату в квартире одесских родственников Аркадия на Ремесленной улице. Комната была пуста. Единственная мебель — два венских стула. Супруги спали на полу на матрасе. Утром матрас свертывался вместе с подушкой и простынями и превращался в валик для сидения. Впрочем, мы сидели и прямо на полу.

На какие средства жила молодая чета? Кажется, Штейнбергу помогала мать, присылая ему немного денег тайно от отца, доктора Аким Петровича Штейнберга, крайне недовольного ранним браком сына, непутевого художника, отказавшегося продолжать учение во ВХУТЕМАСе, потому что, когда Аркадий был на четвертом курсе, ВХУТЕМАС переехал из Москвы в Ленинград.

Мамина помощь, однако, была скудна, Аркадий через биржу труда устроился недели на две на черную работу мостовщиком по укладке дороги от Александровского парка до Ланжерона. Запомнилось: мы возвращались с моря беспечной гурьбой вдоль этой дороги, увидели Аркадия, он подошел к нам, в трусах, босой, в рваной красной в белую полоску рубахе, и церемонно поцеловал руку девушке. Рваная рубаха сидела на нем как смокинг.

В пустую комнату на Ремесленной мы приходили с купленным в складчину на постоялом дворе у молдавских крестьян ведром дешевого вина и несколькими караваемы ситного хлеба. Аркадий разговаривал стихами и прозой, а мы внимали. Восхищенные, внимали ему и молодые художники — и те, кто поклонялись Кандинскому и Малевичу, и те, кто вслед за таможенником Руссо и Пирсомани увлекались базарным лубком, стилизованными вывесками. Они приносили свои полотна, Аркадий с пониманием всех тонкостей ремесла оценивал эти работы доброжелательно, но при этом умно, с южной страстностью говорил о старой живописи, вечная новизна которой, по его мнению, должна быть направляющей силой для настоящего мастера. С пылким восторгом говорил он о голландской живописи, он видел в ней, казалось, и то, к чему не всегда, полагал он, успешно стремились современные художники, начиная от первых импрессионистов и кончая Гончаровой или Ларионовым. Собственно говоря, те же положения он развивал, рассуждая о современной поэзии. Замечательным в его рассуждениях было то, что в нашей классике он видел не ее классичность, а прежде всего ее живое движение, ее жизненную необходимость нам. Получалось так — и это очаровывало и волновало, — что Рембрандт, Рубенс или Ван Дейк, Державин, Батюшков или Жуковский уже хорошо знали и умели делать то, чего не знают и не умеют делать новомодные художники и стихотворные писатели. Я до сих пор благодарен ранним урокам Штейнберга.

Через год я приехал учиться в Москву. Я был ошеломлен изобретательной ловкостью моих ровесников, столичных штучек — стихотворцев.

Мои писания показались мне жалкими, никчемными. В тяжелом унынии пришел я к Аркадию. Но, выслушав мои стихи, он похвалил их с уже знакомой мне южной, громкой страстностью, с уверенностью мастера, он развеял мое уныние, помог мне поверить в себя. И так было всегда — и не только со мной.

Аркадий обладал редким и благородным свойством: он умел радоваться чужому успеху, радоваться от души, заразительно — и доказательно. Он мне сказал: «Я тебя познакомлю с двумя поэтами, лучше которых нет среди молодых. Мы вчетвером составим «могучую кучку». Так я узнал Марию Петровых и Арсения Тарковского. С тех пор прошло пятьдесят шесть лет, и я, как и тогда, и сейчас считаю, что Тарковский, Петровых, Штейнберг — самые значительные поэты моего поколения.

Из «могучей кучки» один только я успел кое-что напечатать в толстых журналах. На счету у Тарковского была лишь одна публикация в журнале «Прожектор» — стихотворение «Хлеб» размером в восемь строк. Штейнберг совершенно серьезно именовал это стихотворение «трудом Тарковского».

Под водительством Штейнберга мы вчетвером устроили вечер в Доме печати. Докладчик А. Миних назвал нас неореалистами. Мы имели успех. Это неудивительно — половину зала составили знакомые Штейнберга.

Трудно объяснить, почему нас неохотно печатали. Проще всего как будто дело обстояло со мной. Мои стихи носили религиозную окраску, я увлекался чуждым тогдашней эпохе славянофильством. При желании (а оно было упорным) можно было отвергнуть стихи Петровых и Тарковского — грустные, интеллектуальные, без примет «нашей бучи, боевой, кипучей». Но стих Штейнберга, звучный, живописный, оптимистичный — чем он настораживал редакторов? Конечно, все мы четверо не писали на газетные темы дня, но беда наша заключалась не только в этом. И самый тон, и настроение наших вещей, и лексика, и даже — трудно поверить — строфика, и неприятие расхлябанности, неряшливых усеченных рифм — все это вызывало отталкивание, порой враждебное. Мы были чужими своему литературному поколению.

История поэзии, да и вообще история искусства, есть история преодоления естественного недоверия читателей, зрителей, слушателей к тому, что с помощью слов, звуков, красок, глины можно создавать живые существа. Как раньше действовали пигмалионы всех родов? Они завоевывали доверие, опираясь на разум и воспроизведение действительности. Чем безудержней фантазировали Гоголь или Гофман, тем крепче они вбивали в землю опоры разума и действительности. Художники начала нашего века решили разрушить эти две опоры. Разум они заменили заумью, реализм — сюрреализмом. А нам хотелось, чтобы каждый из нас, вслед за Ходасевичем, имел право о себе сказать: «Умен, а не заумен», мы хотели создавать живые существа, выпекать хлеб, а не «картонные показательные булки». Это встречалось в лучшем случае недоумением и со стороны признанных мастеров, и тем более со стороны официальных литераторов, заведующих поэзией в журналах, издательствах.

Впрочем, были исключения. В начале 1930 года Штейнберг опубликовал в «Литературной газете» стихотворение об охоте на волков. Насколько я помню, оно было написано под впечатлением «Смерти волка» Виньи. В одном интервью Маяковский, не называя автора, похвалил метафору из этого стихотворения: «курки осторожно на цыпочки встали». Если поразмыслим над тем, что интервью было взято у Маяковского за месяц, кажется, до его самоубийства, то похвала приобретает особое значение.

Высоко ценил талант Штейнберга знаменитый в то время Эдуард Багрицкий. Он оказал честь неизвестному поэту, поставив его имя рядом со своим под переводами из французской поэзии.

В краткой автобиографии Штейнберг вспоминает: «До начала тридцатых годов довольно широко печатался в центральных журналах». Это самообман. Я думаю, что в период 1929—1937 гг. он опубликовал не более 10—15 оригинальных стихотворений.

Материальные его дела складывались неважно. Родился ребенок, пришлось уйти из родительского дома, снять комнату на Якиманке. Он писал песни для музыкального издательства, их никто не пел, но одна из них была включена в спектакль «Последний решительный», поставленный Мейерхольдом; писал (вместе с Тарковским) многостраничные очерки для радио — мне запомнился один, посвященный истории стекла, он начинался цитатой из Ломоносова: «Неправо о стекле те думают, Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов».

Заказы для радио были нерегулярными, наступала пора безденежья. Однажды Штейнберг изготовил копии нескольких картин голландских мастеров и продал их, не скрывая, конечно, что это копии, но цену за них запросил как за копии старые, написанные чуть ли не в ту эпоху, когда создавались подлинники. Покупатели верили — так искусно была сделана работа.

Тут надо понять Штейнберга. Эти копии были не только возможностью получить мелкий заработок, но и выражением озорства его богатой южной натуры. Другим выражением озорства были абсурдистские стихи, отчасти навеянные только что вышедшими «Столбцами» Заболоцкого. Штейнберг придумал и устно разработал биографию автора этих забавных стихов — караима Симхи Баклажана. Хорошо было бы найти эти остроумные сочинения, да, видно, они пропали во время двух арестов. Озорство, игра были свойственны Штейнбергу до самого последнего дня и составляли пленительную черту его характера. Не случайно, а поэтически постигая себя, он написал:

Я ж снова мальчик с карими глазами,
Играю лодками и парусами,
Играю камешками и судьбой,
Летучей рифмой и самим собой.

Наш старший друг и до сих пор недооцененный поэт Георгий Шенгели, став редактором в Гослитиздате, привлек нашу четверку к стихотворным переводам. Мы тогда не предполагали, что происходит важный поворот в нашей судьбе. Штейнберг и Тарковский стали совместно перево-

дить черногорского поэта-политэмигранта Радуде Стиенского. Эту работу я не сумею лучше обозначить, чем термином «переводы нового типа». Автор не столько писал, сколько пересказывал своим переводчикам произведения фольклора, замечательным знатоком которого он был, и дальше все уже сочинялось втроем.

Стихи Стиенского, цветистые, как черногорский наряд, в переводах Арсения Тарковского и Аркадия Штейнберга стали широко известны. Казалось, нашли свое продолжение иллирийский вымысел Мериме и пушкинские песни западных славян. Об этих переводах восторженно высказался (кажется, в «Известиях») талантливый, требовательный критик, вернувшийся из эмиграции отпрыск княжеского рода Святополк-Мирский (вскоре репрессированный). Дела налаживались, обоим переводчиков приняли в Союз писателей, Штейнберг даже получил возможность приобрести дом в Тарусе. И тут его арестовали.

Что было причиной ареста? Об этом тогда не спрашивали. Был человек, а статья найдется. Может быть, его взяли потому, что он слишком броско, ярко одевался, вообще был вызывающе ярким? Или потому, что был знаком с каким-нибудь иностранцем, работавшим в Советском Союзе? Лишнего он никогда не болтал.

Он просидел недолго, кажется года полтора. Отец его был членом партии с 1920 года, у него были связи, хлопоты легли на мать, Зинаиду Мойсеевну, и увенчались успехом. Возможно, что благоприятному исходу способствовало то, что был смещен Ежов, его заменил Берия, а новая метла спервоначалу метет по-новому.

Пришла огромная беда — война, мы расстались: я был направлен на Балтику, стал военным моряком, он — на один из южных фронтов.

Он служил в так называемом 7-м отделе, целью которого была пропаганда в войсках противника. Доходили сведения, что Штейнберг вступил в партию, отлично работает, даже пишет стихи по-немецки, агитируя гитлеровских солдат сдать в плен. И вдруг — ужасный слух — его опять арестовали.

Причина второго ареста несколько более понятна, чем причина ареста первого. Когда, отсидев длинный срок, Аркадий, в полушубке-«москвке», сшитом зековским портным, вернулся в Москву, он показал мне свое письмо, обращенное к Ворошилову с просьбой о реабилитации. Вникнув в письмо, я стал понимать суть дела. Аркадия в армии охватил восторг: он приобрел к власти, стал коммунистом, майором, орденосносцем, как и всюду, приобрел любовь сотоварищей. Когда наши войска вступили в Румынию, он, в состоянии этого восторга (а в Аркадии жил Тартарен, солнце русского Прованса пылало в его крови), начал, как сотружник 7-го отдела, устраивать приемы, самовольно приглашая на них видных румын, которые с достаточным на то основанием казались ему нужными, но командование рассматривало их как ненужных, оно было крайне раздражено, придралось к тому, что Аркадий тратил средства на эти приемы, — и вот восемь лет каторги.

Один зек, сидевший с ним, мне потом рассказывал: «Прибыли на место, нас погнали на лесоповал. Штейнберг сидит на пенечке, не шелох-

нется. Бригадир его толкает, а Штейнберг: «Никуда я не пойду, я в законе».

Для несведущих: «в законе» означало, что он вор, аристократ лагеря, а не политический, работать не собирается. Конечно, над ним посмеялись те же воры, заставили работать.

Вскоре он устроился фельдшером: сын врача, он разбирался в медицине. К тому же он, помимо таланта поэта и живописца, обладал разнообразными способностями, у него были ловкие руки, хорошая голова. Быть в лагере фельдшером означало жизнь в сыти и тепле. Медицина спасла Штейнберга, он даже попал на лагерные курсы повышения квалификации среднего медперсонала.

Возникла в лагере и любовь. Он рассказывал мне об этой женщине — участнице украинского националистического движения. Он писал о ней:

Нас не одно и то же поле
Взрастило в давние года,
Но здесь, в безвыходной неволе,
Свела всеобщая беда.

Он вернулся из лагеря не как реабилитированный, а по амнистии, распланированной на участников войны. В отличие от большинства, он решил в партии не восстанавливаться. Оказалось, что в Союзе писателей ему и восстанавливаться не надо — его забыли исключить. Пришлось только внести за все эти каторжные годы членские взносы — сумма небольшая.

Штейнберг занялся переводами — по подстрочникам — современных поэтов Средней Азии. Делал он это с техническим блеском, но, кроме скудного гонорара, ничего не извлек, переводы эти не имели успеха ни государственного, ни литературного. Он слабо чувствовал мусульманский Восток, а воспроизведение национального характера его не увлекало. Жил бедно. Он вспоминает в одном из самых важных своих стихотворений этого периода «Вторая дорога»:

...Когда мне едва не пришлось в Ашхабаде
Просить на обратный билет Христа ради.

Эта кратковременная нищета была связана с романтическим приключением, поэт описывает, как он бродил дурак-дураком вдоль арыков, не в силах смириться «с невозможной утратой, обугленный болью, отравленный желчью».

Тяжкий для Аркадия год стал и годом его творческого счастья. Вышел в свет созданный при его ближайшем участии нашумевший альманах «Тарусские страницы», в котором была помещена внушительная подборка стихотворений Штейнберга. Прочитав их, я убедился в справедливости изречения Комознса, пересказанного Жуковским: «Страданием душа поэта зреет». Огромные стихи!

Альманах подвергся удару со стороны официальной критики, но знатоки, истинные ценители прекрасного, запомнили имя доселе неизвестно-

го им поэта. Справедливости ради следует сказать, что многочисленная масса читателей и слушателей, увлеченная несколькими молодыми именами (заслужившими свою знаменитость не случайно), осталась к поэзии Штейнберга равнодушной.

Это закономерно. Поэзия Штейнберга жива содержательностью. Содержательность есть основа всякого искусства. Не надо путать содержательность с содержанием. Содержательность — дух, а содержание — одна из телесных оболочек. Кто видел дух без тела? Между тем как тело, даже лишенное духа, доступно всеобщему обозрению. Содержательность является нам, одетая в то тело, которое ей потребно. Она может нам являться в любом облике, а мы легко принимаем облик за содержательность. Короче. Хотите отличить истинное искусство от ложного? Вникайте в его содержательность (не в содержание) — и вы познаете дух в соответствующей ему плоти. Можно подражать телу, облику, оболочке, но невозможно подражать содержательности, ибо кто видел, чтобы подражали духу?

Стихотворение Штейнберга «Человеку», одетое в обычный пятистопный ямб, обутое в обычные строфические сандалии перекрестных рифм, находится в авангарде поэзии благодаря своей содержательности. Речь идет о пожилом лилипуте:

Коротконогий, шуплый, безбородый,
Неравный нам по росту и судьбе,
Ограбленный безжалостной природой,
Он главное умел вернуть себе.

И стал он в нашем царстве гулливерском
Таким, как мы, с начала до конца.
На старческом лице, по-детски дерзком,
Сквозила мысль того же образца.

Мы видим не платье оригинального покроя, не оболочку, это дух сквозит сквозь тело слов, это Бог искусства — содержательность.

Вершиной штейнберговской содержательности я считаю его неопубликованную поэму «К верховьям». Развитие русской поэмы еще не исследовано. Грандиозные успехи нашей прозы привели к тому, что пушкинские и лермонтовские романы в стихах уступили место некрасовским поэмам натуральной школы, поэмам-символам Блока, поэмам-монологам Маяковского, пленительно-загадочной, многосодержательной «Поэме без героя» Ахматовой. Из-за внешних обстоятельств за пределами интересов наших литературоведов остались, например, поэмы Бродского, začínющие собой новое направление русской стихотворной эпики.

Поэма «К верховьям» построена с дорической простотой и совершенством: на маленьком суденышке каботажного плаванья собрались люди разных судеб. Это очерк в стихах — именно такой подзаголовок к поэме «Бродяга» сделал в свое время Иван Аксаков, — и какая высокая поэзия в этом очерке, какая пронзительная музыка, какая волнующая душу содержательность! Я убежден, что «К верховьям» одно из тех творений, которые, обогатив представление читателей о жизнеспособности русской

поэмы, откроет многое в понимании человека. А это извечная задача искусства.

Штейнберг предложил издательству «Советский писатель» свою книгу, в которую вошли поэма и лучшие его стихотворения. Отзывы рецензентов были весьма положительные. Известный поэт и прозаик Александр Яшин, уроженец русского Севера, где до сих пор бьются, кипят родники нашей речи, не мог не обрадоваться языку Штейнберга — богатому, точному, крепкому, чистому, красочному. Книгу — первую книгу молодого автора — приняли к печати, даже заплатили 25 процентов гонорара. Серьезные сомнения вызывала у рядовых редакторов поэма. По их предложению Штейнберг несколько обеднил поэму, убрав из числа пассажиров речного парохода Гуревича (еврейская тема). Редакторов эта операция, казалось бы, удовлетворила. Но вот рукопись попала в руки главного в издательстве сотрудника, ведающего поэзией, — Бориса Соловьева. Это был непростой малый. Он хорошо знал русскую поэзию XX века, мог приватно восхищаться, цитируя наизусть, Гумилевым, Ходасевичем, Мандельштамом, но его редакторская секира действовала жестоко, беспощадно. Я это испытал на себе. Он зарезал поэму Штейнберга. Согласиться на то, чтобы книга вышла (как предложил Соловьев) без поэмы, Штейнберг не хотел. Он считал, что было бы бессмысленно впервые предстать перед читателем без самого совершенного из своих оригинальных произведений. Я его понимал, поддерживал в том, что в его годы не надо издавать первую книгу без поэмы. Теперь я вижу, что мы оба ошибались. Книга «Вторая дорога», пусть скромная по объему, открыла бы читателю одного из лучших поэтов современной России.

Я испытывал боль от того, что попытка Штейнберга кончилась крахом. Какую же боль должен был чувствовать сам поэт, оставшийся без данной книги. Я не верил Штейнбергу, когда он говорил, что самой главной его книгой будет не эта, не вышедшая, оригинальная, а перевод «Потерянного рая» Мильтона. Я думал, что он утешает себя. Я и тут ошибся.

Для меня важное в переводческой работе заключалось не в лирическом излинии. Меня властно притягивала возможность выразить по-русски черты национального характера восточных народов, их мусульманское или буддийское мирозерцание. Для Штейнберга же англичанин Милтон или китаец Ван-Вей были интересны не как поэты своих наций. Их стихи он ощущал как продолжение, вариацию своего лирического «я». Моиими путеводными звездами были Гнедич с его «Илиадой», Бунин с «Песней о Гайавате». Суть названных книг составляли греческий и индийский эпос: сначала они, а переводчик — потом. Путеводной звездой для Штейнберга был Жуковский, который заявлял: «В моих стихах все чужое и все мое». Штейнберг с полным правом мог сказать эти слова о себе.

Он переводил «Потерянный рай» одиннадцать лет. Ему помогала Наташа, хорошо знающая английский язык. Аркадий был женат четыре раза, три предыдущие спутницы его жизни были хорошие, красивые женщины, две из них родили ему трех сыновей. Наташа украсила последние двадцать лет его земного бытия не только своей молодой любовью, но и творческим пониманием его работы, — и результатов ее, и ее трудностей.

Эти двадцать лет Аркадий Штейнберг был счастлив. Вспоминаются его довоенные строки:

Я счастлив, я страдаю вновь, —
Тем вечным счастьем, тем страданьем,
Перед которым все мертво,
Страданьем, ставшим оправданьем
Существованья моего.

Не прекращал он занятий живописью. Мне нравятся его картины. Он никогда не писал с натуры, но всегда о ней помнил. Если его стихи построены по известной волошинской формуле — «безвыходность, необходимость, сжатость, сосредоточенность», то его картины — видения, призраки, видения трав, призраки башен, сочетание современного чувства цвета с композиционными приемами старых мастеров.

Он получил признание как поэт-переводчик, вошел у нас в стране в первый ряд мастеров этого нелегкого искусства. У него появились ученики, обожавшие своего образованного, требовательного, но всегда добро-сердечного наставника. Его нельзя было не любить. Я не был обделен судьбой, был знаком с великими поэтами — очень близко с Мандельштамом и Ахматовой, приходилось беседовать с Андреем Белым, Волошиным, Пастернаком, Цветаевой. Я не хочу сравнивать с ними Штейнберга, как поэта, но уверен, что, как человек, он был так же значителен, крупен, как и они. Он неохотно рассказывал о лагерных годах, но часто говорил, что благодарен судьбе за все тяжкое, выпавшее на его долю. Страданием душа поэта зреет. Он умер как поэт — недалеко от своей деревенской избы, упав на августовскую твердую траву возле своей моторной лодки. А собирался он на ней в дорогу, во вторую дорогу.

Апрель 1985

БУХАРИН, СТАЛИН И «МАНАС»

В отличие от литературы читатель у нас разнообразный. Находится и такой, который интересуется народно-эпической поэзией Востока. Я мог в этом убедиться на основании читательских писем. Нельзя сказать, что число их было велико, но они ко мне в давние годы приходили, и, как правило, то были хорошие письма хороших, видимо, людей.

В середине тридцатых годов Гослитиздат учинил закрытый конкурс на лучший перевод главы из киргизского эпоса «Манас». Главными арбитрами были директор издательства, старый большевик, агент «Искры» Николай Никандрович Накоряков, поэт Илья Сельвинский, крупный, европейски образованный киргизский писатель и ученый Касымалы Тыныстанов (вскоре репрессированный и погибший в лагере), выходец из байманаской семьи, т. е. из феодально-кочевой аристократии, и молодой литературовед Умеркул Джакишев.

Соискателей (у каждого — свой девиз, у меня — «тулпар», крылатый конь) было много, человек двадцать, среди них — именитые: Сергей Клычков, Василий Казин, Георгий Шенгели. Победителей оказалось трое: Лев Пеньковский, Марк Тарловский и я, самый молодой (мне было двадцать три года). Нам и поручили перевести центральный эпизод «Манаса», названный кодификаторами «Великим походом» («Чон казат»), объемом в тридцать тысяч строк.

Академик Василий Васильевич Радлов, русский немец, утверждал, что «Манас» по своим художественным достоинствам не уступает «Илиаде». Этот авторитетный востоковед, автор замечательного собрания «Образцы народной литературы тюркских племен», сделал в шестидесятых годах прошлого столетия записи эпоса и опубликовал их на киргизском языке в русской транскрипции в 1885 году. Еще до Радлова, в 1856 году, во время своего путешествия в Джунгарию (область в Китае), отрывки из «Манаса» записал и опубликовал в русском прозаическом переводе отпрыск казахской родовой знати, офицер русской армии, друг ссыльного Достоевского Чокан Чингисович Валиханов. Ему принадлежит классическое определение: «Манас» есть энциклопедическое собрание всех киргизских мифов,

сказок, преданий, приведенное к одному времени и сгруппированное вокруг одного лица — богатыря Манаса. Образ жизни, обычаи, нравы, география, религиозные и медицинские познания киргизов и международные отношения их нашли себе отражение в этой огромной эпосе».

Один из эпизодов «Манаса» опубликовал в 1911 году венгерский тюрколог Г. Алмаши. В советское время талантливое исследование «Манаса» написал (но долго никак не мог опубликовать) казахский писатель Мухтар Ауэзов (хотя казахи и киргизы — различного тюркского корня, языки, обычаи, кочевой уклад этих соседей весьма сходственны. Многие писавшие потом о «Манасе» хищнически черпали сведения из неопубликованной работы Ауэзова. Между прочим, он первый заметил, что сказители — «манасчи» — делятся на «жомокчу» — певцов-импровизаторов, творящих стихи, и на «ырчи» — певцов-исполнителей, заучивающих эпизоды эпоса наизусть. Так в гомеровские времена сказители делились на аэдов, т. е. поэтов, и на рапсодов, т. е. певцов.

Энергическая деятельность киргизских фольклористов, заключающаяся в записях эпоса, насчитывающего более трехсот тысяч строк, со слов сказителей, внезапно и насильственно обрывалась. То и дело киргизскую народную поэму обвиняли в панисламизме, в пантюркизме, в воспевании захватнических войн и межнациональной вражды. Ученые-энтузиасты преследовались как буржуазные националисты. Правда, до арестов справа не доходило, они начались позднее.

Преграды, стоявшие на советском пути «Манаса», объяснимы. Это не совсем обычный эпос. В нем, как точно подметил Чокан Валиханов, среди волшебных сказок, легенд, мифов слышались явственные отзвуки действительных событий, трактовка которых вызывала у властей ту растерянность, что раздражала их и легко становилась неприязнью и даже ненавистью.

В начале X века кочевые племена монгольско-тунгусского происхождения — китаи — основали обширную империю, простиравшуюся от Великого океана до Байкала и Тянь-Шаня. Они завоевали также и киргизов. По имени племени — китаи — пошло и название нынешнего Китая.

В XIII веке Киргизия, как и весь Китай, подпала под власть Тулуя, младшего сына предводителя монголов, Чингисхана. Киргизы неоднократно поднимали восстания против монголов. В конце XVII века вся Средняя Азия была завоевана ветвью монголов, от них отделившейся, — калмыками. По-тюркски слово «калмык» и означает «отделившийся». Самоназвание этого народа — ойраты. На монгольском языке «Дербен ойрат» означает «Союз четырех». Речь шла о союзе четырех племен, отклавшихся подчиняться потомкам Чингисхана. Племя калмыков, во многом загадочное, волновало воображение Пушкина.

Киргизы вместе с казахами боролись и с ойратами, а в середине XVIII века, когда калмыцкое владычество сменилось маньчжурским, и с маньчжурскими богдыханами династии Цинов, свергнутой гоминьданом лишь в 1911 году.

Во всяком эпосе исторические события, действительные в своей основе, выражаются своеобразно. Сказители «Манаса» путают чужеземных

завоевателей, называя их то калмыками, то китайцами, но всегда «веропогаными», поклоняющимися бронзовым идолам. В одном варианте главный противник Манаса Конурбай — китаец, в другом — калмык. На территории Киргизии, недалеко от Пржевальска (Каракола), поныне обитает небольшое количество калмыков — потомков былых удачливых завоевателей. Их называют кара-калмыками. В отличие от волжских своих соплеменников, они не буддисты, а мусульмане. Другое отличие — Сталин их не выслал. Сказители «Манаса», бывавшие в их среде, слушавшие их эпопею «Джангар», утверждают, что имя Конур (Конурбай) есть искажение имени «Хонгор», а Хонгор — один из главных героев калмыцкой народной поэмы. Монголовед академик С. А. Козин и другой академик, В. М. Жирмунский, соглашались со сказителями. Отзвук имени Хонгор-Конурбай слышится нам в наименовании ныне известной местности Байконур.

Итак, мы можем понять, что препятствовало «Манасу» утвердиться на разных этапах советского пути и в национальных рамках, и в общесоюзных. Первая преграда: мусульманское миропонимание (хотя киргизы никогда не были фанатиками ислама). Вторая преграда: врагами киргизов в эпосе именуются китайцы, а Китай — давняя наша болячка. Третья преграда: страстное стремление народа, рассеянного поработителями на пространных от Туркестана до Алтая, сплотиться в единое целое. А нужна ли Государству эта национальная идея малого народа? Рождение Манаса внушает одному киргизскому клану, изгнанному на далекий Алтай, такую надежду:

Ту страну, где родились мы,
Где растили нас, мы найдем.
Те равнины и те холмы,
Что хранили нас, мы найдем.
Эти речки, где мыли нас,
Где трава цветет, мы найдем.
Край, где грудью кормили нас,
Свой родной народ мы найдем, —
Ибо ныне родился Манас.

Я думаю, что, через посредство коранического истолкования, на сказителей киргизской поэмы повлияла история Моисея (Мусы), выведшего евреев из Египта.

Кстати (или некстати) похвастаюсь. Когда Мухтар Ауэзов спросил меня, как это мне, городскому жителю, удалось передать поэзию перекопченок, запахов дымных юрт, овечьих отар, луговых трав, я ответил: «Я вспоминал». Мухтар Омарханович понял и рассмеялся.

Беспримерным в народно-эпической литературе по своему трагизму и художественной красоте кажется мне образ китайского царевича Алмамбета, перешедшего на сторону киргизов из религиозных побуждений: он с детства был воспитан в мусульманской вере. Вместе с киргизами он воюет против своей родины. Его ненавидят ханы-соплеменники, ему не доверяют и некоторые киргизские воины. Чувство религиозного долга побеждает в нем чувство крови.

«Манас» встречал всегда в партийных органах в лучшем случае подозрительность, в худшем — враждебность. Труден и горек был его путь и в родных горах, и в Москве.

Кратковременный перелом произошел в 1934 году. Появились замечания Сталина, Кирова и Жданова по вопросам русской истории. Общепринятый учебник Покровского был осужден, как вульгаризаторское искажение марксизма. Отмечались заслуги православных монастырей, труды иноков-летописцев. Положительно оценивалась роль некоторых государей, например, Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Петра Великого, — в то время как Покровский огулом втоптывал в грязь всех Рюриковичей и Романовых.

Казалось, власти поняли наконец всю глупость и вредность длившегося семнадцать лет жестокого подавления русского национального самосознания. Получалось так, что мелкие, временные выгоды оборачивались тяжким, продолжительным недугом, охватившим нацию. Вот, например, в Казани уничтожили памятник одному екатерининскому вельможе. А вельможа этот был наш великий Державин. Акция, нужная Сталину, у которого тогда были сложные отношения с казанской чиновничьей верхушкой, и направленная против почитания царского губернатора, превратилась в акцию антирусскую, она болью отозвалась в сердцах местного русского населения. Я могу, как очевидец, назвать не сотни, а тысячи подобных примеров подавления всего русского. Само слово «Русь» постепенно становилось запретным. Любовь к России, к ее самобытности воспринималась властями как нечто антисоветское, чуть ли не монархическое. А уж о православии и говорить нечего: внутренний враг. Мой приятель по студенческому общежитию был исключен из института, сослан в дальнюю архангельскую деревню на пять лет: выследили, что он посещает церковь. Клоева, Клычкова, Орешина истребили как кулацких поэтов. Ни одной строки в защиту кулаков не найдешь в их книгах. Их беда была в том, что русское объявилось синонимом кулацкого.

Одновременно русское население развращалось духовно. Власти поощряли крестьян, когда те жгли помещичьи усадьбы замечательной архитектуры. Так, среди многих тысяч была сожжена усадьба в Петровском, связанная с именем Пушкина. В детстве я был свидетелем того, как в моей многонациональной Одессе русские рабочие, матросы, пригородные мещане грабили церкви, уносили дорогие оклады, рвали на куски, крича, матерясь, парчовые епитрахили, хоругви, а дровки использовали как топливо. Между прочим, обыватели-евреи не участвовали в уничтожении синагог, греки и армяне — в уничтожении своих церквей, поляки и немцы — в уничтожении кирки и костела, а старообрядцы (я это видел сам) активно воспротивились хулиганам в военной форме, когда те пришли закрывать их старую церквушку в конце Екатерининской, около Привоза, почему-то называющуюся «единоверческой».

Но времена менялись. Сталин, самый умный из большевиков, первым понял, что его держава есть прежде всего наследница русской монархии. Надо осторожно, без излишней поспешности, восстановить ее природное русское начало. Задача была не из легких: подавляя, воскрешать.

Намерения Сталина были ясны. Он почуял весьма развитым в нем нижним чутьем, что для неминуемой войны с немецким национал-социализмом коммунистическая идея не выдюжит, нужна идея национальная, т. е. русская, державная. Он был прав. Но, как всегда, не умел охватить взглядом всей сделки в целом. Он был узок, хотя и глазаст. Хорошо понимая мощную, заразительную силу немецкого национализма, он не принял в расчет то обстоятельство, что немцы составляли подавляющее большинство населения рейха, а наше Государство — многонациональное. Между тем интеллигенция нерусских народов гораздо сильнее, острее испытывала боль национального угнетения, чем интеллигенция русская. В свои молодые и более зрелые годы я крайне редко встречал русских интеллигентов, даже относившихся к режиму критически, которые страдали бы от того, что попораны русское национальное самосознание, русская православная церковь. Встречал, но — повторяю — редко. Но те интеллигенты Средней Азии, Татарии, Северного Кавказа, которые мне доверяли, болезненно реагировали на свое национальное неравенство, на гибель мусульманской культуры. Татарские писатели с печальным остроумием мне говорили, что татарскую речь в Казани услышишь только в помещении Союза писателей. Объясняется это и тем, что большевики в начале своего владычества сами прагматически способствовали развитию национального самосознания малых народов, используя его, в первую очередь, на Северном Кавказе, на Волге и в Сибири в борьбе с белым движением. Объясняется это и тем (что важнее всего), что русская интеллигенция была долго отторгнута от народа, от его веры, в то время как интеллигенция народов мусульманских, хотя и испытала в начале века влияние русского революционно-демократического мирозозерцания, никогда не отделяла себя от религиозных убеждений народа, от его обрядов (даже коммунисты Средней Азии до сих пор, храня мусульманский обычай, обрезают мальчиков), от его не столько социальных, сколько национальных чаяний. Между ней и народом не было и нет пропасти. Мне известны антиклерикальные высказывания мусульманской интеллигенции, но я никогда не слышал антирелигиозных.

И вот мусульмане и немусульмане воспрянули, заволновались. А чем хуже русских монастырей грузинские и армянские? А чем хуже русских князей и царей Бабур, поэт и завоеватель Индии, Хромец Тимур, украсивший Самарканд поразительными медресе и мечетями, его внук Улугбек, всемирно знаменитый астроном, имам Дагестана Шамиль, возглавивший справедливую борьбу горцев? Стали появляться произведения, посвященные выдающимся деятелям прошлого. При этом, в отличие от русских авторов, обрадовавшихся, как Эйзенштейн и Сельвинский, августейше предоставленной возможности, наперекор литературной и народной традиции, изображать Ивана Грозного как образцово-положительного героя, нерусские авторы отнеслись к своему прошлому, не следуя указанию свыше (да их пока и не было), а выражая свои национальные чувства. Многие были потом за это жестоко наказаны.

Грузины и армяне вспомнили о том, что они стали христианами, т. е. приобщились к европейскому просвещению, создали свою письменность

еще тогда, когда о русских и помину не было. Таджики стали выпускать, пользуясь латинской графикой, антологии родной поэзии, насчитывающей одиннадцать столетий и запечатленной арабской вязью в древних фолиантах, украшенных изумительными средневековыми миниатюрами. Азербайджанцы, не желая отставать от соседей, при благосклонном одобрении Сталина присвоили себе великого персидского поэта Низами, не знавшего ни слова по-азербайджански. Он был сыном чиновника-перса и, кажется, христианки греческого происхождения, родился в Гяндже (это слово персидское, означает «сокровищница»), в провинции Ирана, а Гянджа, ныне Кировабад, находится на территории Азербайджана. С тем же основанием алжирцы могли бы назвать Камю арабским писателем. Впрочем, когда персоязычные таджикские литераторы выражали мне по этому поводу свое недоумение, я им возражал: «А будут ли народы спорить о нас? Слава Богу, что азербайджанцы любят и почитают Низами». Возможно, что для читателя раннего средневековья, западного и восточного, талант, религия и место рождения автора были важнее его языка. Не надо забывать и то, что Сталину был на руку литературный спор тюрков-шиитов с шиитами-персами: он задумал отнять у Ирана Южный Азербайджан. А поэты, чьи сочинения умирают до физической смерти авторов, пусть завидуют тем своим собратьям, из-за которых спорят народы.

Младописьменные народы, лишённые возможности похвастаться древними фолиантами, но воодушевленные замечаниями Сталина, Кирова и Жданова, громогласно заявили о своих изустных словесных богатствах — о калмыцком «Джангаре», о киргизском «Манасе», о каракалпакских «Сорока девишках», о бурятском «Гэсере», о якутском «Олонхо», об осетинских, кабардинских и абхазских «Нартах», о казахском «Кобланды-батыре». К младописьменным присоединились и народы давней восточной культуры, о своем эпическом наследии заговорили на всю страну армяне («Давид Сасунский»), те же азербайджанцы («Сказания о дельце Коркуде», «Кер-Оглы»). Притаились одни татары, их жгла Каинова печать татаро-монгольского ига. А когда зашевелились и они, то дорого заплатились за своего «Идегея», как, впрочем, за свои эпосы и энтузиасты — азербайджанцы, узбеки, киргизы, калмыки, буряты.

Сталин не сразу понял надвигающуюся опасность. Только во время войны и после нее он увидел, что у него нет другого выхода, как подавлять национальные чувства нерусских народов, ибо все нерусское могло стать антирусским, а он, ловкий, стремился представить советское как русское. Мне рассказывали: когда Сталин провозгласил свой знаменитый тост за многотерпеливый русский народ, кто-то из видных генералов (фамилию забыл) подошел к вождю и поблагодарил его за то, что он, грузин, так замечательно понял характер русского народа. Сталин недовольно, сердито ответил: «Я русский человек». Не сразу, не торопясь, после долгих размышлений пришел он к своей коварной мысли. И тогда-то он стал выселять, в назидание остальным, из родных мест чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, крымских татар, калмыков, подверг истреблению наиболее талантливых представителей интеллигенции азербайджан-

ской, узбекской, киргизской, бурятской, казахской, татарской. Идею пролетарского интернационализма он растоптал уже тогда, когда выслал в Среднюю Азию и Сибирь всех волжских этнических немцев — рабочих, крестьян, коммунистов, комсомольцев. Он убедился в том, что национальное чувство органичнее и сильнее классового. Он с опаской поглядывал на освобождение Индии и арабских стран от колониального ига. Он понимал притягательную силу свободного, в особенности, мусульманского Востока для своих восточных окраин. Он враждебно относился к Неру, а потом к молодому офицеру Насеру (есть сведения), этот грузин не пощадил грузинских месхов, выслал их из Грузии только потому, что они исповедовали ислам, значит, могли сочувствовать сопредельным туркам.

Но спервоначалу Сталин поощрял своих восточных верноподданных в их национальных устремлениях. Что побуждало его так поступать? Я не в состоянии дать исчерпывающий ответ на этот мучительный для меня вопрос. Думаю, что причин было несколько. Остановлюсь на мне понятных.

Во-первых, Сталину, пока он не стал в глазах всего мира чудотворным победителем «коричневой чумы», приходилось все-таки считаться с многонациональным характером своего Государства (потом, осознав свою силу, он на это начал). Ему казалось, что нельзя было запретить нерусским то, что он поощрял для русских. Во-вторых, именно советский Восток, где веками расцветала придворная панегирическая поэзия, где строились и почитались, как священные, усыпальницы венценосных владык, — именно советские восточные краснобаи воспевали Сталина в цветистых коленапреклоненных стихах, не стесненных русской реалистической традицией, именно советский Восток воздвигал ему грандиозные прижизненные памятники, внушавшие подданным страх, трепет, почти религиозный восторг.

Я вовсе не хочу сказать, что Сталин был мелко тщеславен: эти рабские стихи, эти поражающие своей фараоновой величиной, языческим варварством монументы были нужны ему как свидетельства его превосходства над раздавленными, но пока еще живыми противниками внутри партии, над всеми этими умниками вроде Бухарина, Зиновьева, Рыкова, Каменева и еще не убитого в Мексике Троцкого. В возвеличении своего имени он искренне видел еще одно действенное средство построения социализма в одной, отдельно взятой стране.

О своем народе он говорил: «Мы, советские люди». Сейчас утвердилось у нас формула: есть новая национальная общность — советский народ. Давайте задумаемся в это словосочетание. Не дико ли оно звучит? Как можно целый народ назвать, исходя из системы административного управления? Разве мы называем норвежцев стортинговым народом? Или американцев — штатским? Или разноязыких швейцарцев — кантонским? Между тем мы механически произносим это словосочетание, не видя его искусственность, бессмысленность.

До узаконения сталинской конституции Киргизия была не союзной, а автономной республикой, входившей в состав Российской Федерации. Во

главе ее стоял не ЦК, а обком. Первым секретарем обкома, киргизским царьком, был Белоцкий, которого обожала зарождающаяся киргизская интеллигенция. Будучи евреем, он хорошо ее понимал, сочувствовал ей, с преданными слугами был мягок, не хамил, много уделял внимания вопросам культуры, увлеченно занимался созданием национальной оперы, драматического театра, филармонии, филиалом Академии наук и «Манасом». Конечно, занимался он этим потому, что таково было идеологическое направление всей партии, верным солдатом которой он себя считал, служа ей со времен гражданской войны. Поговаривали, что в ранние советские годы он сочувствовал Троцкому. Но видно было, что такая деятельность отвечала его душевным потребностям. Беседуя с поэтами, художниками, музыкантами, актерами, учеными, этот прокуратор отдыхал от кровавых расправ с недавними простодушными кочевниками-скотоводами, упрямо и наивно не желавшими понять необходимость коллективизации сельского хозяйства, разграбление их табунов, стад и отар. О Белоцком была в Киргизии сложена песня, — как и о другом царьке-еврее, о Бройде, в Таджикистане. Я слышал, как эти песни пели в горах. Фамилия Белоцкого кое-как влезала в киргизский одиннадцатисложник, а вот с Бройде не ладилось дело, его фамилия звучала по-таджикски как «Биройде».

Наиболее приближенными к Белоцкому слугами были председатель Совнаркома Исакеев, секретари обкома — Джумабаев (по пропаганде) и Торекул Айтматов (по сельскому хозяйству) — отец знаменитого ныне писателя. Все они, в числе других, погибли в 1937 году.

Стараниями Белоцкого в Москве, в Союзе писателей, был устроен вечер, посвященный «Манасу», а заодно — и современной поэзии и музыке киргизов. Тогда на такого рода вечера — они были в новинку — приходили и видные, влиятельные московские писатели: теперь в это трудно поверить. Художественная мощь восточного эпоса кочевников удивила литературную публику. Мы, три переводчика, имели большой успех. Нас поздравили Асеев, Фадеев, Твардовский, молодой, приехавший из Смоленска, заинтересовавшийся народной поэмой. Думаю (по крайней мере, надеюсь), что нам в переводе удалось воспроизвести главное — тон, музыку древней поэмы. Большая заслуга в этом принадлежит Льву Пеньковскому, он стал первопроходцем, а Марк Тарловский и я, каждый по-своему, каждый со своими решениями, пошли по проложенному им пути.

Переводя эпос, мы не ограничивались подстрочниками. Как прилежные ученики, мы штудировали грамматические и синтаксические основы киргизского языка, вслушивались в пение и речитатив сказителей, по праву возглавляемых великим аэдом Саякбаем Каралаевым, знавшим всю огромную поэму наизусть, но исполнявшим ее каждый раз по-новому, изучали историю киргизов и их соседей, а также их тюркоязычных родичей, погружались в научные исследования на доступных нам языках — русском и немецком. Мы были внимательными учениками киргизских и русских востоковедов. Среди последних мне особенно и благодарно запомнились Константин Кузьмич Южакин, Сергей Ефимович Малов и гени-

альный Евгений Дмитриевич Поливанов, японист и тюрколог. Он был выслан в Киргизию, за что — не знаю. Вместе с женой он занимал комнату в четырехэтажном, обшарпанном доме гостиничного типа, в котором жили местные журналисты, ученые, актеры. Удобств в доме не было, уборная на улице. В нишей комнате Поливановых было грязно, душно, стоял какой-то странный, стойкий запах. Позднее я узнал, что Евгений Дмитриевич и его жена кололись. У него не было одной руки, из-под рукава торчало нечто железное. О нем говорили (передаю то, что слышал), будто бы он открыл язык айнов — племени, обитающего в Японии, но ничего общего с японцами не имеющего, — бородатые европеоиды. Доступ к этому племени для иностранцев был закрыт, и Поливанов, на основании двух-трех десятков слов, зафиксированных в записках путешественников, начиная с Марко Поло, создал словарь айнов. Когда, после победы над Японией, русские ученые получили возможность встретиться с айнами, оказалось, что Поливанов правильно разгадал и сконструировал их язык. Так мне рассказывали. Многие рассказывали о Поливанове. Например, утверждали, что он знает чуть ли не семьдесят языков.

В нем чувствовалась озлобленность. Предметом его особой постоянной ненависти был академик Н. Я. Марр, тоже полиглот, утверждавший, что язык есть понятие классовое, что языки всего человечества развивались точно так же, как общественные формации. Поливанов считал его авантюристом, писал об этом. Н. Я. Марр и вся его школка, обвинял Евгений Дмитриевич, выдвинули бездоказательную, антинаучную теорию, отрицавшую общеизвестные факты передвижения кочевых и полукочевых народов, племенные союзы огузов и кыпчаков, отрицавшую древнюю языковую общность народов Средней Азии. В Марре Евгений Дмитриевич видел причину своей ссылки. Евгений Дмитриевич не дожил до 1952 года, когда «большой ученый» Сталин выступил против аракеевских методов Н. Я. Марра в области языкознания.

Евгений Дмитриевич помогал нам, переводчикам, разъясняя трудные места, идиомы, архаизмы. Разговаривал он сердито, возражений не терпел. В киргизском эпосе есть такой эпизод. Манас и его кырк-чоро — сорок дружинников — женятся на бухарских девушках. Каждый из них познает новобрачную, подражая тому или иному животному или могучей птице. Сам Манас — как верблюд верблодицу. Я перевел это место довольно близко, но опустил нецензурные выражения: сказитель называл вещи своими именами. Поливанов требовал, чтобы я слово за словом следовал за сказителем. Киргизские ученые меня поддержали, а Поливанов кричал и на них, и на меня. В 1937 году его арестовали как японского шпиона. Мне передавали рассказ следователя-киргиза, что всемирно известного ученого, русского гения, били смертным боем, что ему не давали морфия, доводили до иступления, пока он не признавался в своей преступной деятельности — с подробностями, подсказанными следователем.

Слава Богу, он реабилитирован, его труды возвращены русскому востоковедению. О нем в свое время увлекательно написал Вениамин Каверин в романе «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове». Евгений Дмитриевич выведен в романе под именем Бориса Драгоманова.

Теперь, несколько удаляясь от эпической темы, я хочу рассказать об одном мелком событии, нужном мне только для того, чтобы мое лицо, по кавказской поговорке, выглядело таким, какое оно есть.

Накануне манасовского вечера мне позвонили из Союза писателей: завтра в три часа дня меня приглашает к себе Лахути. Этот родившийся в Иране курд, писавший на фарси, вынужден был покинуть родину, как коммунист, возглавивший второе тебризское восстание («восстание Лахути-хана»), и стал у нас крупнейшим таджикским поэтом, поскольку у таджиков и персов — один язык. Поэт-панегирист, он великолепно знал восточную поэзию — арабскую, персидскую, тюркоязычную. В те годы он был любимцем Сталина. У него дома на улице Серафимовича я видел в рамке на письменном столе портрет Сталина с дарственной надписью «выдающемуся революционному поэту Востока». В Ташкенте и Сталинабаде (Душанбе) были — при его жизни — улицы имени Лахути. В только что возникшем Союзе писателей он заведовал нерусскими литературами. Потом Сталин его невзлюбил, кажется, потому, что Лахути принадлежал к той части иранских коммунистов, которая робко не одобряла замысленного Сталиным присоединения Южного (иранского) Азербайджана к Азербайджану советскому.

Я отпросился в институте с последней лекции (я был еще студентом) и с двумя-тремя учебниками по химии под мышкой, обернутыми в газету, отправился на Поварскую в Союз писателей. В кабинете Лахути сидел Белоцкий — высокий, подтянутый, лет под сорок, в полувоенной одежде, как было принято у тогдашних партийных руководителей. Иронический взгляд его еврейских глаз был природным, командирский голос показался мне актерским. Он и Лахути встретили меня приветливо, улыбались. Белоцкий сказал:

— Вы сами понимаете, вот и товарищ Лахути со мной согласен (Лахути кивнул черно-белой головой), сегодняшней вечер надо открыть стихотворением, посвященным Сталину. Эпос не должен уводить нас в далекое прошлое, а, наоборот, связать с боевой, кипучей современностью. У наших знаменитостей ничего подходящего мы не нашли. Вот, посмотрите, стихи вашего ровесника. Если понравятся — быстро переведите.

Он протянул мне тетрадку. Все ее восемь страничек были уписаны большими школьными буквами полуграмотного подстрочника. Обширное сочинение называлось «Товарищу Сталину». Я прочел до конца. В пользу сочинения можно было сказать только то, что оно было искренним. Была запоминающаяся красноречивая строка: «Когда мы поем, наша речь — Сталин». Пока я углубился в тетрадку, я чувствовал на себе испытующие, подозрительные взгляды Белоцкого и Лахути. Я сказал осторожно:

— Стихи незрелые, но есть живые места. Стихотворение растянуто. До нашего вечера осталось несколько часов. Как я успею перевести? Ведь сначала нужно договориться с автором о сокращении.

Мой ответ, однако, обрадовал Белоцкого. Он понял, что я готов сдать. Он ласково сказал:

— Вы молоды, а мы вам поручили перевод «Манаса». Дело ответственное. Доверие надо оправдать. Нам нужно это стихотворение, другого у нас нет. Мы хотим поощрить автора. Переведите быстро и хорошо, сокращайте, как вам захочется. Вы ведь знаете, что Манас являлся сказителям во сне и приказывал им петь о своих подвигах. Воспринимайте нашу просьбу как приказ Манаса, но не советую вам думать, что это вам снится.

От Союза писателей до моего Неопалимовского переулка сравнительно недалеко, я решил пойти пешком, через Трубниковский попасть на Арбат, по дороге все обдумать. В конце Арбата я зашел в «Смоленский» гастроном, купил колбасы, хлеба, коробку крабов. Дома оказалось, что я потерял тетрадку с подстрочником. Искал среди учебников — нет. Возвратился в сильном волнении в магазин, спросил у кассирши, у продавцов — не нашел ли кто тетрадку, ученическую, в серой обложке. Оказалось, нашли!

Чтобы работа пошла веселее, я задал себе трудную техническую задачу: в народно-киргизском стиле прошить русский текст рифмами сплошь — и анафорическими, и концевыми, и редифными, а некоторые строки изготовить так, чтобы в них друг с другом рифмовалось каждое слово.

Перевод был на вечере прочитан, а потом напечатан, кажется в «Литературной газете». Или в «Правде»? Автор был счастлив. Добродушный паренек. Стихотворение много сталинских лет помещалось во всех соответствующих антологиях и сборниках. В 1937 году, когда влиятельные киргизские литературные кадры были арестованы или ждали ареста, молодого автора выдвинули в депутаты Верховного Совета — не помню, республиканского или всесоюзного. Но поэт, и ныне здравствующий, не сумел закрепить свою небывалую удачу. Скромный, стеснительный, честный, он так и остался в родной литературе на вторых ролях.

Между тем русский «Манас» рос, хотя и не сказочно, не по дням и часам, а все же за месяцем месяц. Увлеченно работали поэты и художник Г. Петров (потом, в беседе со мной, о его пышных картинках резко отрицательно высказался В. А. Фаворский, но как человек Г. Петров нам нравился, милый, преданный искусству). Мы не знали, что из Киргизии некоторые местные партийные ортодоксы атаковали издательство письмами, в которых грозно предупреждали, что «Манас» — создание байско-феодалной верхушки, орудие буржуазных националистов — и разоблаченных, и притаившихся. Киргизское руководство, конечно, знало об этих письмах и, как часто бывает в таких случаях, хотело, чтобы всю ответственность взяла на себя Москва, московское издательство. А издательство ждало решающего указания от киргизского руководства. В конце концов, издательские хитрецы решили, чтобы поэты отправились в Киргизию, постарались очаровать фрунзенское начальство своей почти готовой работой. Ведь инициатива издания эпоса принадлежит киргизам, московское издательство пошло навстречу их просьбе, что же они там затеяли волюнку? Было задумано так, что представитель издательства — штатный редактор — во Фрунзе не поедет, поедут только беспартийные

поэты, свободные художники: мол, дело не в политике, в республике должны решить, насколько красиво и близко к подлиннику сделан перевод.

Марк Тарловский и я отправились в семидневное путешествие поездом Москва — Алма-Ата. Прямого поезда до Фрунзе тогда не было, недалеко от киргизской столицы наши вагоны отцеплялись от состава и прицеплялись к рабочему поезду, шедшему до Фрунзе от небольшой узловой станции. Не помню, почему с нами не мог поехать Лев Пеньковский.

На вокзале нас встречал поэт Кубанычбек Маликов, который в знании «Манаса» мог состязаться с иным сказителем. Впоследствии он стал одним из трех кодификаторов различных вариантов эпоса (двое других — поэт Аалы Токомбаев и прозаик Тугельбай Сыдыкбеков).

Кубанычбек отвез нас на дачу киргизского Совнаркома — километрах в сорока от столицы. Дорога, сначала пыльная, все время шла мимо свекловичных полей в горы, к подножию увенчанного снежной чалмой Алатау: так киргизы называют Тянь-Шань (по-китайски «Небесные горы»). Запомнилась по пути медленная, но шумная река. Вдоль ее берегов цвели белые и желтые цветы шиповника, розовая жимолость, красная таволга.

Дача Совнаркома располагалась посреди густого обширного сада, богатого яблонями. Я никогда не видел так много больших яблوك, они, как фонари, светились в полдневной зеленой тьме. Белое одноэтажное здание было предназначено для сравнительно важных командированных и для отдыхающих второстепенных аппаратчиков местной номенклатуры. В царстве зелени белело и другое здание — столовая и кухня. А за воротами взбирались к предгорьям одноэтажные домики, в которых летом и ранней осенью жили руководители республики со своими семьями. Один или два домика обычно пустовали — их построили для московского высшего начальства на случай приезда. Я не заметил, чтобы домики правящих охранялись: только у въезда на дачу был милицкий пост.

Нас вдвоем поселили в большой светлой комнате, в окно которой заглядывал тополь. Не помню, сколько таких комнат было в коридоре. Была еще и бильярдная, в которой вечером собирались обитатели дачи и домиков — играющие и болельщики. Других развлечений не было. Теперь все это перестроено, воздвигнуты роскошные корпуса, великолепные персональные дачи, здания для правительственных приемов. Здесь видно, как богатеет руководство страны.

Официантками в столовой служили семиреченские хохлушки и русские, все как на подбор молодые, крепкие, грудастые, круглобедрые. Они украшали досуг начальников, охранников и менее занятых, чем их хозяева, шоферов.

Маликов простился с нами, обещав, что появится скоро. Действительно, он приехал на другой день за нами в обкомовской «эмке» — нас вызывают в обком.

Сейчас Фрунзе довольно чистый, многозеленый город, менее поэтический, чем описанная приятелем моей юности Юрием Домбровским казахская столица, но достаточно привлекательный. Высокие дома, сады, фон-

таны. Молодые киргизские интеллектуалы недовольны тем, что, в то время как все остальные среднеазиатские столицы носят национальные наименования (Ташкент, Алма-Ата, Душанбе, Ашхабад), только их главный город называется некиргизским именем. Впрочем, я не уверен, что Пишпек (прежнее название Фрунзе) — слово киргизского происхождения. Когда мы приехали во Фрунзе, этот бывший Пишпек был, в сущности, большим кишлаком. Лишь в центре города возвышалось несколько десятков приличных зданий, а вокруг — глиняные мазанки, пыльные, сонные улицы без деревьев.

Обком помещался в доме недурной постройки, окна выходили в сквер, на противоположном конце которого, в доме такой же точно архитектуры, разместился ЦИК республики и несколько наркоматов. Стены обкома были украшены росписями венгерского художника-политэмигранта Бельи Уитца и отечественного «фламандца» Василия Яковлева. Самая большая роспись — голые пограничники, загорелые, сильные, русские и киргизы, купают в реке лошадей, прикрывая их крупами срамные места.

В обкоме нам сказали, что тех, кто нас вызвал, сейчас нет, просят зайти часика через два-три. Марк Тарловский предложил прогуляться по городу, познакомиться с ним.

— Действует ли мечеть? — спросил он.

Маликов вежливо, но начальственно сказал:

— Пойдем в дунганскую шашлычную.

— Ты же только что плотно с нами позавтракал на даче. Лучше погуляем.

Маликов не снизошел до ответа, молча и сурово повел нас к дунгану. Дунгане — китайцы мусульманского вероисповедания, они хорошо ужились с единоверцами-киргизами, говорили и по-китайски, и по-киргизски, а по-русски плохо, с характерным китайским акцентом. В республике они славились своим земледельческим трудолюбием (они разводили рис и опиумный мак), а также кулинарным искусством.

Когда мы уселись за грязноватый столик, Маликов заказал по-киргизски (мы понимали):

— Сорок четыре палочки.

Сорок, сорок четыре (как семь и двенадцать) — сакральные числа в эпосе шумерском, аккадском, тюркском, монгольском.

Я спросил:

— Почему именно сорок четыре?

Маликов сощурил свои узкие глаза так, что они превратились в две едва намеченные черточка:

— Неужели для вас по две палочки много?

Значит, он съест сорок! Действительно, прав был В. В. Радлов, когда писал, что киргизы обладают чудовищной пищеварительной способностью. Потом мы узнали, что Маликов в этой области герой многих легенд.

Все же, выйдя из шашлычной, мы погуляли по городу. Кубанычбек показал нам неказистые здания театра, гостиницы, НИИ языка, истории и литературы, где нам потом пришлось бывать очень часто, жилища руко-

водителей — кстати, весьма скромные на вид. В обкоме нам сказали, что нас сегодня не примут. Маликов отвез нас на дачу.

На следующее утро, когда мы, возвратясь после завтрака из столовой, разложили свои манускрипты, в дверь постучали. Вошедший сказал:

— Прошу простить меня, кажется, я вам помешал. Узнал, что здесь москвичи литераторы, пришел познакомиться с земляками. Позвольте представиться: Николай Иванович Бухарин.

Можно ли сейчас, в нынешние времена, вообразить, чтобы редактор «Известий», второй по важности газеты Государства, кандидат в члены ЦК, пришел первым знакомиться с двумя рядовыми литераторами. Да и редактор-то какой — не теперешний бонза-чиновник, а всему миру известный Бухарин.

Внешность Бухарина меня поразила: я не ожидал, что он такой русский. Да, это был с виду русский рабочий, таких я видел среди типографов, темный блондин, немного курносый, широкоплечий, не очень высокий, рано польсевший — о таких говорят: «Бог лба прибавил». И речь у него была вкусная, ярко-русская. До Бухарина я видел близко трех большевистских лидеров: Ларина, Стеклова и Каменева. К первым двум у меня были письма от отца, рабочего социал-демократа, участвовавшего в движении под их руководством. Оба они жили со своими семьями в том отсеке гостиницы «Метрополь», который упирался в стену у Воскресенских ворот. С Каменевым я познакомился, когда он был директором издательства «Academia», куда, по рекомендации Горького, были приняты к печати мои переводы стихотворений латышского классика Яна Райниса.

Ларин был высок, худ, одна рука была парализована. Лицо семитское, выразительное. Стеков и Каменев — вальжные господа, особенно крупен физически был Стеков, но еврея не обманешь, а эти бары были явными евреями. Речь у всех троих была интеллигентная, но какая-то тусклая, я бы сказал, провинциальная. Впрочем, Каменев на заседаниях в издательстве порою произносил немецкие или французские присловья.

Бухарин быстро нас покинул, сказав: «До вечера». Я имел возможность убедиться в том, что он резко отличался от своих соратников, мне знакомых. Он разговаривал живописно, свободно, весело и совсем не книжно. Как выяснилось, он приехал на недельку отдохнуть, поохотиться в киргизских горах. Его сопровождал секретарь-известинец Семен Ляндрес, отец популярного ныне детективного литератора Юлиана Семенова. Мы поняли, что накануне вся республиканская верхушка встречала Бухарина, потому-то не было кому принять нас в обкоме. Поселили Бухарина и Ляндреса в отдельном домике.

Визит Бухарина взволновал нас. Марк Тарловский и я вспоминали всевозможные события его политической жизни (частной его жизни мы не знали), высказывания о нем Ленина и Сталина, чьи-то стихи о комсомолке: «У нее вместо юбки пятый том Бухарина». Мы оба сочувствовали его экономическим взглядам, но опасались друг другу в этом признаться, говорили с осторожностью.

Вечером к нам снова постучался Бухарин:

— А не пройтись ли нам, милостивые государи, перед ужином по этому парадизу, подышать благоарастворенной прохладой?

Предложение лестное. Мы вышли в сад, сели на скамью под чинарой, видевшей, может быть, вступление русских войск в эти края. Тишина раннего азиатского вечера, только светятся лампа на столбе и мусульманский полумесяц в тяжелом, черном небе и, кажется, еще выше — снежные вершины гор, старейшины каменных племен. Бухарин продекламировал что-то по-латыни. Тарловский подхватил, продолжил. Потом он мне сказал, что то были строки из «Метаморфоз» Овидия.

— Похвально, что молодые наши поэты знают Овидия в подлиннике, — одобрил Бухарин.

Тарловскому тогда было тридцать четыре года, он был на десять лет старше меня. Впрочем, в ту пору и я уже не считался молодым поэтом, я уже шесть лет печатался. Тарловский, несмотря на свою болезненность, выглядел моложе своих лет. Он еще в 1922 году окончил филологический факультет Московского университета, был хорошо образован. У него была такая странность: он крайне редко читал художественную прозу, даже классическую, любимым его чтением помимо, конечно, поэзии были словари, энциклопедии и записки путешественников.

Узнав о причине нашего приезда в Киргизию, Бухарин сказал:

— Давайте, отужинав, устроим поэтический вечер. Подумать только, «Илиада» кочевников! Эпос — золотое детство человечества, об этом хорошо сказал Энгельс. У старика был литературный вкус, хотя собственные его стихи мало способствовали его украшению, уж очень беспомощные. — И прочел по-немецки несколько строк в псевдонародном духе, как оказалось, начало какой-то баллады Энгельса. По дороге в столовую Бухарин продолжал: — Вспомнив об Энгельсе, нельзя забывать о Марксе. — И заразительно рассмеявшись: — Вы, надеюсь, не станете меня упрекать в том, что я отхожу от Маркса? У него есть примечательная мысль о том, что не всякая мифология может стать основой истинного, большого искусства. Например, мифология египетская ничего бы не дала грекам. Интересно было бы узнать, какова мифология киргизов?

Я что-то начал рассказывать о Кайипе — мифологическом покровителе парнокопытных, о камушке джай, извлекаемом из желудка овцы и обладающем волшебным свойством с помощью заговорных слов изменять погоду и времена года.

Мы дошли до столовой. У дверей уже собралось начальство, киргизы и русские, ожидая Бухарина. Все удивились, особенно Белоцкий, единственный, которого мы знали, когда нас представил Бухарин, и возникла неловкость, когда нас пригласили в отдельную комнату — обычное наше место было в общем зале.

Не помню, о чем шла беседа за ужином. Разговаривали главным образом Бухарин и Белоцкий, киргизы помалкивали. Только Тореккул Айтматов, не помню в связи с чем, рассказал о прелести охоты с беркутом на лисиц. Кто-то из охранников принес к ужину бурдюк со свежим кумысом. Бухарину напиток понравился. Киргизы заулыбались, узнав, что мы будем читать перевод «Манаса». Чтение решили устроить в бильярдной — видно, другого подходящего помещения не нашлось.

Уселись вокруг зеленого стола. Первым, по старшинству, как принято на Востоке, читал Гарловский, потом я. Слушали внимательно, а киргизы — прошу меня простить — даже восторженно. Когда я прочел:

Ночью — девушка, днем — кумыс, —
Так проводит время киргиз,
Скачет по луговой траве
С куньей шапкой на голове, —

предсовнаркома Исакеев, прервав меня, радостно продекламировал эти строки по-киргизски, и все рассмеялись. Видимо, киргизов забавляло и удивляло, что по-русски получается в стихах то же самое, что и на их родном языке. Только рифма в подлиннике была другая: кыргыз — кыз (девушка).

Когда чтение кончилось, заговорил Бухарин — он понимал, что ждут его слова. Он высоко оценил киргизский эпос, назвав его великим памятником изустной поэзии (киргизы были счастливы), одобрил и нашу переводческую работу, сказал, обращаясь к Ляндресу, что по возвращении в Москву надо будет в «Известиях» дать целую полосу, посвященную «Манасу» (что было исполнено).

— Одно место мне показалось странным, — сказал Бухарин. — Может быть, переводчик напугал? Киргизский воин удивляется тому, как пляшет Алмамбет, его товарищ по разведке. Получается так, что разведчика поражает не красота китайского танца, а то, что человек вообще способен плясать. Неужели киргизы не знали искусства танца?

— Не знали, — ответил Белоцкий. — Так утверждают специалисты. Мы только сейчас начали в республике развивать это искусство.

— Трудно поверить, — возразил Бухарин. — У каждого народа есть танцы, связанные с религиозным культом, этнографические, наконец. Не думаю, что киргизы так обделены судьбой.

— Товарищ Белоцкий не совсем прав, — осмелел Исакеев, поправляя хозяина. — Когда табунщик, с помощью укрука, ловит неука из табуна, он поет и приплясывает.

— А сейчас так пляшут? Жаль, что не увидим, — огорчился широкоплечий русак, недавний любимец партии.

Исакеев встал с места:

— Почему не увидите? Сейчас увидите и услышите.

Он направился к дверям бильярдной, вытянул руку, как будто держит жердь с петлею на конце, и запел — протяжно, одногласно. То был пастуший зов из далеких оузских времен. Потом, изображая, будто ловит неука, маленький, но складный Исакеев, не переставая петь, приплясывал, то приближаясь к бильярдному борту, то плавно, изящно от него отступая.

Бухарин заплодировал. Самый молодой из начальников, вожак республиканского комсомола (по фамилии, кажется, Камбаров), предложил продолжить чтение. Бухарин сказал:

— Уже поздно, а нам завтра рано выезжать. Да и устали мы. Стихи чудесные, но и лошадь околеет, если ее кормить одними пирожными.

Кто-то пригласил Бухарина, прежде чем разойтись, сыграть партию на бильярде. Бухарин отказался:

— Пивной спорт. Не люблю.

Через год его арестовали...

То ли одобрение Бухарина, то ли и впрямь наш перевод, то ли — вернее всего — надежная информация сверху, из Москвы, а вышло так, что уехали мы с письмом издательству, подписанным Белоцким, о необходимости быстрее издания «Манаса» и о том, что перевод одобряется. Однако дело двигалось обидно медленно. Работники издательства объясняли это тем, что издание задумано богатое, подарочное (кстати, оформленные получались безвкусное), надо терпеливо ждать.

А до «Манаса» ли было в стране шумных театральных процессов, постановщиками которых были заплечных дел мастера, в стране массовых арестов и расстрелов? Оказалось, что и вожди Октябрьской революции, и ее полководцы — герои гражданской войны — агенты иностранных разведок, жалованья им не хватало, вот и стали они шпионами на службе у Германии, Японии, Англии, Франции, Турции.

Все подсудимые признавались в своих преступлениях: да, шпионы. Бухарин пытался на суде найти менее противную формулировку, но ничто ему не помогло, его расстреляли. У человека есть больше возможностей околоть, чем у лошади.

За связь с Бухариным арестовали и Семена Ляндреса, он выжил, просидев в концлагере восемнадцать лет. Когда он освобовился, мы встретились, вспомнили Киргизию. В лагере ему перебили позвоночник. Не знаю, дожил ли он до дней блестящего преуспеяния своего сына, прославляющего в киносценариях подвиги наших разведчиков.

Дружба народов между тем развивалась. Киргизия стала союзной республикой. Была образована коммунистическая партия Киргизии, возглавляемая, как водится, собственным центральным комитетом. В издательстве решили, что «Манас» нуждается в одобрении этого республиканского ЦК, прежнее одобрение утратило силу, поскольку Белоцкий, разоблаченный как враг народа, был арестован и, возможно, расстрелян. Та же участь постигла его ближайших сотрудников. Между прочим, крестьянский писатель Петр Замойский, автор «Лаптей», просидевший недолгое время в московской тюрьме, встретив меня на улице, сказал:

— Тебе привет от моего сокамерника.

— Кто это?

— Исакеев.

— Что с ним стало?

— Думаю, в раю гурия его утешает...

Издательство решило командировать в Киргизию редактора Евгения Мозолькова и меня. В одном из наших чемоданов был текст тридцати тысяч строк перевода, образцы иллюстраций, заставок, концовок и красный макет тяжелого, необъятных размеров переплета.

Поехали мы осенью, в середине октября. Не помню, кто нас встречал и отвез на дачу, но хорошо помню, что по дороге мы узнали об аресте Аалы Токомбаева, основоположника киргизской советской поэзии и одного из

трех составителей сводного варианта эпоса. К счастью, он просидел недолго, около двух лет. Теперь он Герой Социалистического Труда.

Он мне рассказывал, когда вышел на волю, что тюрьма была битком набита колхозниками, неграмотными, не понимающими по-русски чабанами, не понимающими, чего от них хотят. Их взяли потому, что они состояли в родстве с арестованными руководителями республиканского и районного масштаба. А в Киргизии родовые связи сильны и поныне, каждый киргиз знает, к какому роду он принадлежит, и если роды между собой враждовали в давние времена, то коммунисты из этих родов продолжают питать друг к другу враждебные чувства. Следователи принуждали чабанов, хлопкоробов, свекловодов признаться в том, что они троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, их били, и они признавались, не понимая, что означают эти слова кафи́ров (неверных). У Токомбаева были две рубахи, черная и белая, да еще иглу ему удалось припрятать, он разодрал черную рубаху на нитки, с помощью которых вышивал на белой рубахе стихи, в которых славил Сталина, внушал колхозникам надежду, что великий отец освободит их и сурово накажет тюремщиков. За эти стихи его били конвойные.

Мне кажется, что, останавливаясь на этом эпизоде, я продолжаю тему «Манаса».

На даче — или так мне чудилось — все было полно тревогой. Она мерещилась мне в глазах милиционеров, садовников, праздных шоферов, официанток, собак, и только яблони молча, но торжественно и победно справляли праздник своей осенней зрелости. Шоферы и поневоле бездействующие охранники с утра до обеда гоняли шары в бильярдной или забивали «козла» на садовой скамье. Их было меньше, чем официанток, — не потому ли, после ужина, официантки подходили к нашим окнам, пели украинские песни, со значением хохотали.

К нам никто не приезжал, никто нас не вызывал, о нас, видимо, забыли. Книг не было. В комнате Мозолькова мы нашли в шкафу пухлый роман Я. Ильина «Большой конвейер», но, как я ни старался, дальше второй страницы прочесть его не был в состоянии. В сторожке милиционеров, как выяснилось, накопилось большое количество газет, русских и киргизских. В одной из них мы прочли примерно следующее:

«Презренный холуй Исакеев, унижая свое партийное и национальное достоинство, как угодливый раб перед пьяным и сытым бай-ананом, плясал и пел перед Бухариным за куски жирного беш-бармака с барского стола».

Вот как откликнулся этнографический экскурс председателя Совнаркома, удовлетворявшего любознательность Бухарина. Я привел пассаж из выступления комсомольского вожака, того самого, который за два года до этого присутствовал на чтении перевода «Манаса» в бильярдной. Но и ему ничто не помогло, и его арестовали, превратили в лагерную пыль.

Непонятную жизнь вели все эти дни на правительственной даче переводчик и редактор национального эпоса. В город мы не могли попасть из-за отсутствия транспорта. Под снежными вершинами Алатау было тихо,

пусто и грозно. В столовую, кроме нас, и то лишь к завтраку, иногда заходил один военный — и весьма важный, с ромбом. Он был немолод, у него было открытое, загорелое, солдатское лицо. Нам сказали, что он — военный комиссар республики, зовут его Иван Васильевич Панфилов. Он, кажется, был единственным из крупного руководства, оставшимся на свободе. Только его домик светился по вечерам в густой среднеазиатской темноте. Это был тот самый генерал Панфилов, который через несколько лет, во время войны, прославился как отважный командир 316-й стрелковой дивизии. Он погиб в бою — так же как и те двадцать восемь панфиловцев, о которых созданы сказки и песни.

В столовой Иван Васильевич с нами здоровался, усмехаясь, а один раз заговорил: «Творите? Ну и творите». Мы понимали, каким бессмысленным казалось этому боевому солдату наше пребывание на правительственной даче в такое страшное время.

Официантки и шоферы, единственные наши собеседницы и собеседники, потрясенные участью своих недавних господ, но и ликовавшие ликованием вольноотпущенников, рассказывали нам подробности. Не знаю, насколько они достоверны. Запомнилось: жена Белоцкого, тоже, как и муж, заслуженная коммунистка, сама русская (или грузинка?), устроила в бюро пропусков НКВД скандал из-за ареста мужа. Ее тут же взяли. Умно и ловко, по мнению слуг, поступила жена Айтматова, по национальности татарка. Она, взяв с собою двух маленьких детей, мальчика и девочку, с хозяйственной сумкой в руках, села в рабочий поезд и уехала неизвестно куда. Татарки, они всегда хитрее русских. Если даже все это было не совсем так, то бесспорно, что эта женщина (я ее раньше видел — красавица) спасла для нашей литературы одного из самых одаренных ее деятелей.

Настал теплый, зелено-золотой ноябрь. Ко мне постучался милиционер и протянул мне плотный конверт. Признаться, у меня засосало под ложечкой. В конверте оказалось два пропуска: Мозолькова и меня приглашали 7 ноября на правительственную трибуну. Господи, сколь прекрасен твой мир!

Как, однако, мы доберемся до города? Машины нет, а наши новые друзья-шоферы без машин ничего не стоят. Один из них посоветовал нам обратиться к Панфилову. Иван Васильевич посмотрел на нас внимательно, мне даже почудилось, что нам подмигнул, и обещал взять нас с собою.

Мы выехали праздничным ранним утром. По дороге Панфилов расспрашивал нас о нашей работе, вздыхал, качал головой в командирской фуражке. Спина шофера была угрюмой, казалось, что он не верит в благополучную судьбу своего хозяина.

Правительственная трибуна представляла собой балкон, протянувшийся почти во всю длину здания киргизского ЦК. Первым секретарем ЦК, недавно назначенным на эту должность, был Максим Кирович Аммосов, якут, член партии с 1917 года. У него было умное, интеллигентное лицо. Рядом с ним стояли новые руководители республики, как и он, нам незнакомые. Панфилов выбрал себе место на самом краю балкона. Мы притулились к своему покровителю.

Внизу проходили стройные радостные ряды, вздымая знамена, портреты Ленина и Сталина, портретики членов Политбюро. Трудящихся приветствовали с балкона то маханием рук, то лозунгами. И вдруг мы услышали, остолбенев:

— Да здравствует победа фашизма во всем мире!

Это выкрикнул Аммосов, и тут же его жесткие, прямые, слегка посебренные волосы поднялись. Он опомнился, исправил ошибку, а слова его дрожали:

— Под гениальным руководством великого Сталина — вперед к победе коммунизма во всем мире!

— Что же теперь с ним сделают, — тихо спросил Мозольков у Панфилова.

Тот так же тихо ответил:

— Уже сделали. За ним еще рано утром пришли, поджидают в его кабинете. Дали на часок-другой отсрочку, надо же кому-то приветствовать участников демонстрации. А заберут всех. Он ошибся, потому что голову потерял. Страшно ему.

Через несколько дней мы прочли в газете, что Аммосов и все бюро киргизского ЦК — враги народа.

Нам пришлось вернуться в Москву без руководящего указания. Да и кто мог бы нам его дать? В издательстве решили рукопись русского «Манаса» законсервировать, пока окончательно не распогодится.

Но эпос держался еще крепко. По его мотивам композиторы Молдыбаев, Власов и Фере написали оперу. Она была показана в Большом театре во время Декады киргизского искусства и литературы в 1940 году.

Среди участников декады был и знаменитый сказитель Саякбай Каралаев. Мы с ним дружили. Я любил его, восторгался им, и он это чувствовал, благосклонно мне говорил: «Ты тоже мастер». Он боролся с басмачами во время гражданской войны, поэтому ему особенно удавались батальные сцены, которыми изобилует эпос, он, держа в руках комуз, вскакивал со стула, его лицо, два круглых и смуглых яблочка, заливалось пламенем, узкие глаза сверкали, как два лезвия, он заражал своим волнением слушателей, забывал себя и весь окружающий мир, вдохновляясь картинами богатырских схваток и битв, каждый раз находя неожиданные сравнения, краски, глубокие рифмы. Как-то он мне сказал:

— Помни, Семеке (уважительно-ласковое от Семен), что манасчи должен чистую душу иметь. Нельзя нам грязную душу иметь. Плохо для нас грязную душу иметь. Манас накажет, если будешь грязную душу иметь. Даже если ты русский манасчи, ты должен закон Бога и лицо пророка в душе иметь.

Во время декады мы часто выступали вместе. Ему нравилось, когда я, подражая ему, пел зачин своего перевода (шесть—восемь строк) на мотив эпоса. В угоду эстраде я даже пытался повторять движения Саякбая, и он меня подбодрял, крича: «Дабай! Дабай!» — что по-русски означало: «Давай!» Возвращались из какого-нибудь дома культуры, иногда подмосковного, в предназначенном нам автобусе. Однажды, когда въехали в центр Москвы, он меня попросил:

— Зайдем со мной в лавку. Для меня тройку выберем.

— Какую тройку?

— Я же теперь не в аиле, а в Прунзе живу, да? В пилярмонии служащий, да? В контору хожу, да? Одеваться надо. Костюм-тройка надо. Московский костюм-тройка.

Мы направились в бывший «Мюр-Мерилиз». Саякбай был хорошо сложен, ему легко было подобрать костюм. Я не сразу уговорил его приобрести respectable темный, он все норовил купить поярче, поцветастей. Он примеривал брюки в кабине перед большим зеркалом, и мне странно было видеть сказителя древней поэмы в трусах. Гомер в трусах! Саякбай был доволен, благодарил меня за консультацию, а когда мы оказались на улице, задал неожиданный, ошеломляющий вопрос:

— Семеке, где в Москве блядский базар?

— Что ты, Саяке, разве теперь старое время? Разве теперь царствует белый падыша Николай? Нет в Москве блядского базара.

Он посмотрел на меня с недоверием. За его плечами были столетия азиатской мудрости.

Когда закончилась декада, нам выдали пропуска, пригласили в Кремль на правительственный прием. Мне поручили опекать Саякбая. Я зашел за ним в номер «Гранд-отеля». Мой друг был горд и взволнован: он увидит Сталина. Мы двинулись в Кремль. Сказитель был в своей новой тройке, на голове — ак-колпок, национальный головной убор. Прохожие на него оглядывались. Он мне негромко, но с торжеством сообщил:

— Ты, оказывается, незнающий человек. В Москве, оказывается, есть блядский базар.

Наслаждаясь моим удивлением, он продолжал:

— Вчера вышел вечером на улицу. Русская девка стоит. Такой не очень хороший, худой, беленький. Я спросил ее: «Скажи, дочка, где тут блядский базар?» Она подумала, наверно, что я узбек, ударила себя ручкой где надо, сказала: «Раис, тут блядский базар».

Раисом узбеки называют председателя колхоза. «Худой, беленький», видно, хорошо знала свое ремесло: раис — выгодный клиент. В качестве цивилизованного старшего брата я внушительно ответил:

— Саяке, ты же мне говорил, что манасчи должен иметь чистую душу, иметь в душе закон Бога и лицо пророка. А сам такое грязное дело сделал.

Саякбай рассердился:

— Эй, оказывается, никудышный ты человек! Разве ты молдо (мулла)? Ты ишан, что ли? Я плювал на закон ишана. Зачем акыну (поэту) закон толстобрюхого ишана? Акын закон Бога должен знать, лицо пророка всегда видеть. Если ты действительно акын, то разве какой-то стакан водки заставит тебя забыть закон Бога? Разве какая-то чужая женщина помешает тебе видеть лицо пророка?

...Через год началась война, я на пятый день был направлен на Балтику, в Кронштадт. Не до «Манаса» было. Но, когда война кончилась, русский «Манас» был издан в 1946 году — огромная книга в красном, прочном, как металл, переплете. Официально она была встречена хорошо, русскими читателями — без интереса. Меня наградили орденом «Знак поче-

та». Я написал повесть «Манас Великодушный» по мотивам эпоса. Освободясь от жестких уз перевода, я по-своему построил сюжет, выразил, как умел, свое понимание киргизской национальной поэзии. Работа доставляла мне удовольствие. Повесть вышла в «Советском писателе», а потом в Детгизе. В 1948 году она получила вторую премию на конкурсе лучшей книги для детей. Ее перевели на несколько языков народов СССР (прежде всего почему-то на литовский), вышла она и в Праге на чешском языке. Появились хвалебные рецензии в московских журналах и газетах, в киргизской прессе. Я не мог предвидеть, какие неприятности принесет мне вскоре эта повесть. Да и вообще рано было радоваться.

Принято считать, что начавшаяся на рубеже 1948—1949 годов антикосмополитическая кампания с ее кровавыми жертвами была направлена только против евреев. Это верно в своей основе, но неверно в трагических частностях, которые для наших республик вовсе не были частностями. Начав, еще во время войны, с высылки целых народов, Сталин любовно и терпеливо выращивал ядовитое древо геноцида, истребляя интеллигенцию не только еврейскую по крови, но и в национальных республиках. Он вовсе не считал процесс врачей-убийц дрейфусианско-бейлисовским апофеозом своего страшного спектакля. У него были далеко идущие режиссерские планы. После того как Хрущев разоблачил так называемый культ личности, многие коммунисты, да и многочисленные рабы, стали высказываться в том духе, что Сталин в конце жизни заболел паранойей. Раньше, мол, был великим и мудрым, а вот стал параноиком. Это чепуха, рожденная желанием покорных и подлых слуг как-то оправдать себя в собственных глазах. Решившись на геноцид в многонациональной стране, Сталин был как никогда дерзок, как никогда смел был его бесовский ум.

У нас о многом забывают, хотят забыть. Забывают, например, о том, как жестоко напала партийная и литературная печать на безобидное стихотворение «Любите Украину». А ее автором был знаменитый украинский поэт Володимир Сосюра, член партии с 1920 года. Как он посмел любить Украину! Петлюровская отрыжка! Говорят, что затеял травлю Каганович, сменивший к тому времени — на краткий срок — на посту первого секретаря украинского ЦК Никиту Хрущева, которому, тоже на краткий срок, Сталин перестал доверять: мол, строит из себя освободителя Киева от немецких захватчиков, поддается угодливой лестии украинских националистов, тайных петлюровских недобитков. И сам, кажется, хохол. Или поляк?

Каганович смутно помнил по своей прежней работе на Украине, что Максим Рыльский — далекий от жизни неоклассик, писавший триолеты о средневековом Лангедоке. Во время войны, страдая в эвакуации от ностальгии, Рыльский написал поэму «Путешествие в молодость», недурную вещь, в которой нарисовал мастеровитым стихом портреты нескольких дореволюционных деятелей украинской культуры, посещавших дом его отца-шляхтича. Не приняв во внимание, что Максим Таддеевич давно стал другим, давно стал панегиристом вождя, Каганович, понукаемый Сталиным искать на Украине врагов, приказал и на Рыльского напасть — и сильно напасть. Довольно скоро Сталин понял, что Каганович бьет не

тех, кого надо, преследует верных ему и преданных слуг, но сначала он искал: кого бить? где враги? где таится опасность для его державы-монархата?

Каганович бьет сильно, в этом ему не откажешь, но глупо. Кого из писателей он выбрал себе в помощники? Первомайского. Данные объективны: комсомолец двадцатых, коммунист, участник войны, орденоседец, настоящая фамилия — Гуревич. Нет, так дело не пойдет. Гуревичи нам не нужны. Когда немцы временно оккупировали Украину, огромное количество украинцев стало служить Гитлеру. Они не забыли годы коллективизации. А кто свирепствовал во время коллективизации? Надо объяснить украинцам: вот такие Гуревичи. Они и есть враги, космополиты, поклоняющиеся Западу, а не украинские патриоты социалистического отечества.

Не забывал Сталин и о других врагах.

Вдоль восточных границ империи, на необъятном пространстве от прикаспийского Баку до среднеазиатского Фрунзе, от вершин Кавказа до вершин Тянь-Шаня, распространились мусульманские народы Азербайджана, Дагестана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана, а поглубже, вдали от этих станов, вплоть до самого сердца Великой России, молятся Аллаху кавказские горцы (правда, большая часть их заблаговременно выслана), башкиры на Урале, татары на Волге. Между тем неслыханные перемены происходят на старом земном шарике. Одно за другим, под зеленым знаменем мусульманского пророка, добились и добиваются независимости арабские страны, и рядом — шиитский Иран (а с шиитами Сталин встречался в Баку — изуверы, боевитые, смелые) и Афганистан, и узкая пятнадцатикилометровая полоска афганской земли отделяет нас от новой исламской страны, от Пакистана, «Страны чистых». Ничего себе чистые, от них надвигается на нас панисламистская зараза!

Сталин всегда терпеть не мог евреев, особенно тех цекистов, которые с высокомерием европейцев смотрели на него, практика-кавказца, но он их недооценивал, надо себе самому в этом признаться, видел в них натасканных болтунов, а не разглядел их национальной сплоченности, их воинственной решимости утвердиться как нация. Он потому-то первым и признал Израиль (ошибся!), что надеялся: это крохотное государство, населенное большим количеством выходцев из России, государство, чьи коммунисты разговаривают по-русски, поможет ему оградиться от губительного влияния арабского панисламизма на советских мусульман, которым никогда не доверял картвел-семинарист. От евреев, конечно, надо избавиться, но они пригодны как жертвы. Что же, устроим торжественное, на радость всем, жертвоприношение. Но кто наиболее вреден внутри страны? Кто грозит нашему единству?

Сталин щупал — и нащупал: опасность исходит от недобитых восточных буржуазных националистов. Возвеличивая свои национальные эпосы, своих древних классиков, султанов и полководцев, они становятся рассадниками панисламизма, по сути — агентами зарубежных мусульманских стран. Их надо уничтожить.

Хуже всех татары. Он с ними боролся, когда был еще наркомнацем. Мнят о себе. Кичатся тем, что у них есть большевики с дореволюционным стажем. Как евреи по всему миру, они расплозились по всей Средней Азии, по Кавказу, по Поволжью — муллы, партработники, торговцы, врачи, педагоги, артисты. Они знают русский язык лучше, чем тамошние местные жители, вот и выдвигаются, искусно вползая в щели нашей недостаточно продуманной кадровой политики. С них надо начать.

Один узбек, честный товарищ, прислал в ЦК интересное письмо: почему узбекский совет министров стоит на улице Тукая? А кто такой Тукай? Татарский поэт. А какое отношение он имеет к узбекам? А то отношение, что был джадидом, таким же националистом, как те узбеки и таджики, с которыми большевикам пришлось бороться в Бухаре, когда был свергнут эмир. Окопавшиеся в Узбекистане татарские пантюркисты навязали имя Тукая одной из лучших улиц Ташкента. И еще один сигнал: татары собираются издать на родном и русском языках свой эпос «Идегей», широко отпраздновать это событие. А кто такой Идегей? Историки доложили: временщик, правитель Золотой Орды. Он жег рязанские деревни. Разгромил великого литовского князя Витовта на реке Ворскле в 1399 году. А потом, негодяй, предпринял поход на Москву. И этого головореза прославляют в одной из наших республик! Националисты хотят посорить Сталина с русским народом, а заодно и с литовцами, которые и без того плохо себя ведут. Надо принять постановление о буржуазных националистах в Татарии, вознамерившихся, через свой антихудожественный, антигуманистический эпос напомнить нам о своем былом могуществе, о том, что когда-то владели Русью. Нет прошлого у этого неполноценного народа, у татар, их история начинается с Октября 1917 года.

И постановление было принято. Насколько оно соответствовало фактам?

Действительно, исторически существовавший Идегей был личностью для России не очень привлекательной. Но в эпосе Идегей — простой пастух, ставший еще в детстве знаменитым благодаря своей мудрости. Он — «посох для слепца, опора для униженного». Он потомок девы-лебеди. Ничего общего с ордынским мурзой не имеет герой дивной поэмы. Я вправе это утверждать, потому что перевел татарскую национальную поэму. Она до сих пор не издана, и не потому, что на меня с 1979 года по 1986-й был наложен запрет на профессию, а потому, что не отменено постановление ЦК о феодальном, националистическом, нам враждебном характере эпоса¹.

Сказание об Идегее бытует не только у казанских татар, но и у татар крымских, узбеков, башкир, каракалпаков, казахов, ногайцев — у всех народов, которые раньше входили в Золотую Орду, распространившуюся от Сибири и Казахстана до причерноморских степей и Крыма. Но крымские татары, уже ликвидированные как нация, не то что права на свой эпос — жемчужину изустной поэзии, — они лишились права на родную землю, которую неустанным многовековым тяжким трудом превратили в истин-

¹ Русский перевод эпоса издан в 1990 году в Казани (примечание 1994 года).

ный вертоград. Неразумные казанские татары, желая доказать, что «Идегей» зародился в их среде, что остальные претенденты обладают лишь копиями татарского подлинника, соединили, слили героя народной поэмы с личностью золотоордынского правителя. Их доказательства подкреплялись тем, что во всех вариантах действие поэмы разворачивается у них, на волжских берегах, кстати, поэтически нарисованных звучным татарским стихом.

Я опубликовал в «Литературной газете» большую двухподвальную статью «Народный эпос и современность» (кажется, так она называлась), в которой, между прочим, высказал следующее соображение об «Идегее»: ничего общего нет у эпического героя, доброго и мудрого пастуха, с ордынским правителем, воевавшим с Тамерланом и устраивавшим набеги на Москву и Литву. Меня пригласили в ЦК.

Разговаривал со мной заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК Александров, тот самый, который потом срамно погорел, слетел с высокого поста за то, что устроил для себя и своих друзей подмосковный бордель закрытого типа, набрав штат из юных сотрудниц торговой сети. Вместе с ним постоянным посетителем борделя был его заместитель Еголин, пожилой, полуграмотный профессор русской литературы (Жданов, покушавшийся на духовное убийство Ахматовой и Зощенко, назначил в свое время Еголина, для оздоровления литературной общественности колыбели революции, редактором журнала «Ленинград»).

Я не запомнил внешности Александрова, мне врезались в память только его вкрадчивость, цинизм (не худшая из черт высокопоставленного чиновника) и полная неосведомленность в том вопросе, по которому он меня пригласил к себе. Еще я о нем знал, что он был любовником одной посредственной переводчицы с подстрочников (ему, видимо, нравились жирные бабы). Она теперь ускоренными темпами переводит ту классическую поэзию, которую я переводил с подлинника, потому что мои работы запрещены.

В нашем разговоре с Александровым принимал безмолвное участие Еголин. В приемной ожидал аудиенции секретарь татарского обкома по пропаганде Шафиков, вызванный по тому же вопросу из Казани. Александров сказал, что прочел мою статью, что она содержательная, проливает свет на обстоятельства дела, что он и Еголин ознакомились с моим переводом эпоса, вещь яркая.

— Вот только хотелось бы знать, — спросил Александров, — что вы понимаете под патриотизмом, о котором пишете в своей статье? Как называлась та страна, патриотами которой, как вы утверждаете, были создатели эпоса?

— Она называлась Дешти-Кыпчак. А в русских летописях — Золотая Орда.

— Значит, речь идет о таких патриотах, которые были угнетателями русского народа. Вы подумали об этом?

— Французские коммунисты, участники Сопротивления, признаны самыми отважными патриотами Франции. А разве Франция не была — и не остается — угнетательницей своих колоний, например стран Магриба?

— Вы находчивы, — сказал Александров и добавил на прощание: — Продолжайте спокойно работать, мы вас ценим.

Я простился с начальниками, секретарша впустила в кабинет Шафикова, а мне сказала, чтобы я Шафикова подождать в приемной. Минут через десять Шафиков вышел довольный, сияющий. Секретарша подписала мой пропуск, мы с Шафиковым спустились в буфет. Шафиков мне сообщил, что все в порядке, эпос будет издан, благодарил меня за перевод и за статью.

На другой день, взбудоражив нашу коммуналку, одетый по-военному курьер из ЦК привез мне пакет, запечатанный сургучом. Это был мой перевод «Идегея». Записка Еголина: «Возвращаю Вам Вашу рукопись. Благодарю за доставленное удовольствие».

А еще через два-три дня подписчики получили журнал «Большевик», в котором было опубликовано постановление ЦК об антинародном, феодально-националистическом характере эпоса «Идегей», о неблагоприятии в татарской партийной организации. Не могло же это постановление быть принято Центральным комитетом и напечатано в журнале в промежутке тех нескольких дней, которые прошли после моего свидания с Александровым и Еголиным. Ясно, что оба давно уже знали об этом постановлении, может быть, сами его составляли. Для чего же играли они со мной? Ладно, я беспартийный, маленький человек, но для чего они играли с секретарем татарского обкома, вызвали его из Казани, когда дело уже было решено? До сих пор не могу их понять. Издевательство? Но к чему им оно? Или они подражали императору Павлу, который, за что-то разгневавшись на одного сановника, закончил свое письмо к нему так: «Впрочем, пребываем к вам благосклонными».

Постановление о «Идегее» испугало ученых и писателей и в национальных республиках, и в Москве, и в Ленинграде. Враждебные вихри начали веять над азербайджанским «Китаби деде Коркуд», узбекским «Алпамышем», киргизским «Манасом» — да и над остальными восточными эпосами. То, что раньше сверху поощрялось, что всесоюзно праздновалось, теперь становилось подозрительным, антисоветским, а следовательно, антирусским. Порочной была признана книга В. М. Жирмунского и Х. Т. Зарифова «Узбекский народный героический эпос». Хади Тилляевичу Зарифову, великолепному знатоку (он меня консультировал, когда я переводил поэму Навои «Лейли и Меджнун»), был нанесен двойной удар. В это время у нас произошла девальвация рубля, Зарифов отдыхал на юге, а когда приехал в Москву, то получил только десятую часть гонорара: если бы он успел позаботиться о том, чтобы деньги перевели на сберкнижку, то пострадал бы не так сильно. Мораль: не пиши порочных трудов.

Любопытно то (хотя это было нетрудно предугадать), что закоперщиками, наиболее яркими, злобными преследователями национальных словесных сокровищ, стали всевозможные деятели в республиках. Подвергшийся ненависти Багирова, сталинского опричника, покончил самоубийством азербайджанский молодой ученый, написавший книгу о русско-кавказских общественных связях и возвеличивший Шамиля, а Шамиль,

по указке Сталина, из героя-освободителя был превращен в английского шпиона. Прокатившиеся по всей Средней Азии в 1916 году восстания были признаны антинародными. Замечательный исследователь Востока, профессор А. А. Семенов, бывший в те времена вице-губернатором Самарканда, сказал мне, хитро улыбаясь: «А мы-то, дураки, и не подозревали тогда, что англичанка гадит». Арестовали в Узбекистане писателей Максуда Шейх-Заде, Саида Ахмада, Шухрата. Волю им принесли через несколько лет смерть Сталина и доклад Хрущева.

Шейх-Заде был азербайджанцем, в молодости преподавал в школе в Темир-хан-Шуре (ныне Буйнакск, в Дагестане), был сослан в середине двадцатых в Узбекистан, стал благодаря близости двух тюркских языков узбекским поэтом и ученым, профессором университета. Образованный, остроумный, при этом выпивоха, он был богом для студентов. Его присудили к 25 годам каторги как турецкого шпиона. Видимо, готовилось дело на первого секретаря узбекского ЦК Усмана Юсупова, огромного, толстого, умелого сталинского выдвигенца, принимавшего посильное участие в истреблении своих предшественников. Он благоволил к Шейх-Заде, это было известно. Шейх-Заде отказался дать показания против него, тогда поэту предъявили фотоснимок: голый, брюхатый и лысый Юсупов сидит рядом с голой женой Шейх-Заде. Поэт разгадал фальсификацию. А жена его, милая, добрая азербайджанка, была детским врачом, гораздо более популярной в городе, чем ее муж. У них был превосходный особняк, наверно, принадлежавший до революции русскому чиновнику, на той улице, где кончался новый, когда-то русский Ташкент и за которой медленно-азиатски начинался старый город. Писатели говорили, что Шейх-Заде потому арестовали, что председателю их союза приглянулся этот особняк. Возможная вещь. Председатель действительно занял отличный дом с садом, предоставив жене Шейх-Заде свою малогабаритную квартиру. Когда, после смерти Сталина, Шейх-Заде вышел на волю, дом ему не вернули.

Юсупова не тронули, перевели в Москву, сделали министром по хлопководству. Сменивший его на посту первого секретаря узбекского ЦК Ниязов в одной из своих речей назвал националистическими не только эпос «Алпамыш», но и величайшего поэта своего народа Алишера Навои. Каким бы ни был Юсупов, от него такого не дождались бы, поэтому и убрали из республики. Еще недавно торжественно и пьяно отпраздновали 500-летие со дня рождения Навои, а теперь необходимо было вспомнить, что основоположник узбекской литературы был знатным тимуридом, хранителем печати, а потом везиром (первым министром) в период правления своего соученика, султана Хусейна Байкары, в Герате, что его произведения проникнуты философией суфизма, воспринимавшей мир как эманацию Божества. Сгущались тучи над Айбеком, автором романа «Навои», но с ним приключился инсульт, который спас его от ареста.

Однажды я сидел в маленькой комнатке редакции журнала «Дружба народов» — к редактору надо было пройти через эту комнатку. Открылась входная дверь, появились приехавшие из Ташкента два местных рус-

ских писателя — Швердин и Мильчаков. Они (в особенности Мильчаков) при поддержке председателя узбекского Союза писателей Уйгуна были главными борцами против буржуазного национализма. Швердин, посредственный литератор, был интеллигентен, знал хорошо узбекский и таджикский языки. Мильчаков, темный и тупой, думаю, пришел в литературу из лагерных конвойных. Он сочинял самодеятельные стихи. Я сказал вошедшим узбекистанцам:

— Вот, как раз сижу над гранками перевода стихотворения «Кремлевские ели» вашего земляка Аскада Мухтара.

— Как Аскада Мухтара? — возмутился громила Мильчаков. — Ведь его должны арестовать!

Они вошли к редактору. Послышались голоса, доходившие до крика. Перекричал редактор журнала Виктор Гольцев:

— Откуда вам известно, что его арестуют? Это не в вашей компетенции. Не мешайте работе редакции!

Приезжие вышли, красные от высокого волнения. Действительно, Аскада Мухтара беда миновала, он не был в их компетенции.

Аресты, преследования ученых и писателей разразились и в других республиках. Бурятский писатель Африкан Бальбуров, причастный к подготовке издания эпоса «Гэсер», спасся только потому, что бежал из Улан-Удэ, спрятавшись в глухой сибирской деревушке. Аалы Токомбаев улепетнул подальше от греха в Москву, в свои уже немолодые годы поступил на Высшие литературные курсы. Киргизские манасоведы в трепете ожидали ареста. Многих (среди них сведущего, дельного Саманчина) прогнали с работы. Местная печать неистовствовала. Особенно свирепствовал критик Самаганов, озлобленный собственной бездарностью и древней родовой ненавистью. Его статьи были настолько бездоказательны, настолько глупы, что всем было понятно, каких сильных, тайных покровителей имеет этот разбойник.

В Москве первым напал на «Манас» Л. И. Климович, ныне, кажется, здравствующий. Фадеев привлек его как специалиста по Востоку в штатском к работе в аппарате Союза писателей, сделал его заведующим национальными литературами. В молодости он пытался изучить арабский язык, но, одолев алфавит, не очень легкий, дальше не пошел, и глава нашей арабистики Игнатий Юлианович Крачковский, чудный человек, отстранил неспособного студента от занятий. Климович, где-то что-то окончив, занялся борьбой с исламом, выдвинулся, как эрудированный атеист, стал профессором (без докторской степени), печатал в солидном количестве компилятивные статейки, паразитируя на трудах серьезных ученых. Он отомстил своему бывшему учителю. На заседании востоковедов в Ленинграде обвинил И. Ю. Крачковского, недавно удостоенного Сталинской премии, в космополитизме (поляк). После этого заседания всемирно известный арабист скончался от сердечного приступа.

Климович составил для Фадеева печально известное выступление, в котором Фадеев бичевал родоначальника нашей исторической поэтики Н. А. Веселовского (умершего в 1906 году), обвинив его в компаративизме, т. е. в теории миграции сюжетов: следовательно, Н. А. Веселовский и

его школа отрицали самобытность русской изустной и письменной литературы, низкопоклонничали перед Западом. Климович подвел Фадеева, спутав Н. А. Веселовского с другим Веселовским, у которого были те же инициалы, но в пылу сражения этой ошибкой решили пренебречь. Пренебрегли же несколько позднее ошибкой Сталина, который в своем эпохальном труде о языкознании причислил румынский язык к славянским.

В институте востоковедения я присутствовал на заседании, на котором Климович клеймил космополитами всех видных иранистов. Нельзя сказать, что он был совершенно безоружным: не зная ни персидского, ни арабского, вообще ни одного восточного языка, он обладал сильной, своеобразной памятью нетворческого человека, цитировал наизусть страницы из прочитанных трудов, хорошо, даже эффектно произнося арабские или персидские имена, заглавия книг, но при этом нес такую чепуху, что небольшой старинный зал гудел от негодования. Кто только не возражал ему: и востоковед И. М. Рейснер (брат известной Ларисы Рейснер), и восточные коммунисты-политэмигранты, сотрудники института, возмущенные наступательным, губительным невежеством Климовича, но тот стоял, как скала, — его подпирала та сила, с которой у нас в стране бороться невозможно, до тех пор, пока она, будучи величиной векторной, сама не изменит свое направление.

Настал день, когда мы сразились с ним из-за «Манаса». Дискуссия происходила в Союзе писателей. Климович настаивал на антинародности эпоса, на его вредности. Он противопоставлял ему скабрёзную пародию на «Манас», нечто вроде наших нецензурных гимназических пародий на «Евгения Онегина», предлагая ее-то и считать истинно народной. Как ни спокойна и ни убедительна была моя аргументация, потому что я ничего оригинального не говорил, просто называл белое белым, Климович меня и слушать не хотел. Да что меня! Его не убедила и обстоятельная, умная статья крупного тюрколога А. К. Боровкова «О народности киргизского эпоса «Манас», помещенная в журнале «Дружба народов». Только после смерти Сталина признал Климович народными (в своей основе) «Манас» и «Алпамыш» и даже критиковал тех, кто нигилистически отрицал художественную ценность этих изустных поэм. Когда ему напоминали о его непоследовательности, он не смущался: «Я всегда там, где партия». Да, насилие, будучи видом силы, величина векторная.

И был еще день, и меня вызвали по телефону на Лубянку. Следователь — фамилию его я забыл, помню только, что она мусульманская, скорее всего татарская или башкирская, — просил в письменной форме изложить мои мысли о «Манасе» и принести ему, желательно побыстрее. Я выполнил эту просьбу. Припоминаю такие положения: а) «Манас» глубоко народен. Следуют доказательства с помощью цитат из эпоса; б) народно-эпическое творчество имеет свои особенности, свои, только ему свойственные способы характеристики героев, среди этих способов важную роль играет гипербола; в) эпос — не летопись, исторические события отражаются в нем своеобразно и сообразно народному чувству; г) не может быть эпоса, на Востоке в особенности, вне религиозного мирозерцания; д) в эпосе есть наносные напластования, от которых составителям и пере-

водчикам следовало бы избавиться; е) есть в эпосе несколько эпизодов, посвященных не освободительному, справедливому походу, а походам захватническим, в частности несуразно составленному походу на орусов (русских), нами не переведенному. Ошибкой было и то, что эпос издан по-русски прежде, чем он вышел в свет на родном языке, что не была произведена предварительная серьезная кодификаторская работа (должен сказать, что она ныне сделана киргизскими учеными), что, помимо наносных напластований, не были выброшены многострочные повторы, естественные для изустного произведения, но ненужные, когда произведение стало письменным. Используя популярность эпоса, господствующие классы стремились испортить бочку меда ложкой дегтя, но мед не надо уничтожать, надо его очистить от дегтя.

Последняя часть последнего пункта — единственная моя уступка нечестному, но всесильному противнику. Она не могла меня ни огорчать, ни унижать в собственных глазах. Замечание, правильное по существу, я мог бы высказать раньше, во время свободного обсуждения рукописи, а не в навязанных мне условиях уже после выхода книги. Я был рад, когда, через много лет, Аалы Токомбаев мне сказал, что республика располагает несколькими показаниями по «Манасу», но мое — самое благоприятное для эпоса, даже самое смелое. Не знаю, что показал он сам, хочется думать о нем только хорошее.

В беседе со мною следователь играл роль человека интеллигентного, рассудительного, беспристрастного, играл по системе Станиславского, вдумчиво — как не играют в теперешнем МХАТе. И все же сквозь это актерство проступало то, что ему не нравится вся эта антиманасовская затея. Он, конечно, знал, что в киргизском народе росло, пусть бессильное, пусть глухое, а все же сопротивление и московским, и местным недругам «Манаса». Власти, видимо, это учитывали. В печати был разброд, что у нас не любят. Между тем Саякбаю Каралаеву запретили исполнять «Манас». При встрече он мне с горечью сказал: «Поеду в горы, в родной аил, спать со своей старушкой» (он выразился грубее).

Я покинул Лубянку немного успокоенный, но худшее было впереди. Почему изо всех, более или менее заметных восточных переводчиков, я вызвал особую ненависть у некоторых одиозных фигур писательского начальства? Не объясняется ли это тем, что я не только переводил, но и пропагандировал изустную и классическую поэзию Востока, писал статьи, участвовал в дискуссиях, а по мотивам «Манаса» даже повесть написал, которая пользовалась некоторой популярностью у тогдашних детей. Когда в «метропольские» дни я познакомился с Андреем Битовым и Юрием Карабчиевским, они рассказали мне, с каким удовольствием в детстве читали «Манаса Великодушного». Добавлю к этому, что я в Союзе писателей был председателем комиссии по киргизской литературе, был членом правления Союза писателей Киргизии — и это в пору, когда разгоралась борьба с космополитизмом.

Сначала меня вывели из состава правления СП Киргизии. Меня это ничуть не трогало, бодал я это. Меня освободили от обязанностей председателя киргизской комиссии — сущий пустяк по сравнению с теми напас-

тями, которые обрушились на других. Но вот из Фрунзе пришло письмо о том, что я, написав повесть «Манас Великодушный», вознамерился присвоить себе авторство киргизского эпоса. Казалось бы, бред неуча, но в Москве к письму отнеслись серьезно. Вспомнили все мои тяжкие грехи: и то, что я перевел «Джангар» — эпос высланных калмыков, сотрудничавших с немецкими оккупантами, и то, что я перевел татарский «Идегей», подвергшийся суровой, но справедливой марксистской критике в известном постановлении ЦК, и то, что я не только перевел поэмы Навои, но и писал статьи, в которых восхвалял этого проповедника мусульманского мракобесия.

Было назначено рассмотрение моего дела на секретариате Союза писателей. Признаюсь, что я изрядно струсил. Меня страшило исключение из Союза писателей — из того самого, из которого впоследствии я вместе с Инной Лиснянской вышел по собственной воле. Василий Гроссман, разделявший мою тревогу (исключение из Союза писателей в те годы грозило арестом), попросил Константина Симонова за меня заступиться. О том же попросила Фадеева Мария Петровых — она была с ним в дружеских отношениях. Да и со мной раньше Фадеев был в хороших отношениях. Маруся сказала, что Фадеев меня примет у себя дома в 10 часов утра — за день до заседания секретариата.

Я пришел в назначенное время к Фадееву на улицу Горького. Я бывал у него прежде на Большом Златоустинском, а здесь — впервые. Кабинет у Фадеева был таким, каким полагается быть кабинету писателя. Строгая мебель, нет нынешней роскоши нуворишей, много книг, рукописи на письменном столе и на тумбочках. Не помню живописи, помню фотографии — Ангелина Иосифовна Степанова в какой-то роли, сам Фадеев — то с Горьким, то с Маяковским.

Принял меня Фадеев сухо, как будто не было прежнего давнего знакомства, веселых бесед, совместных поездок, его добрых высказываний обо мне. Говорил я долго, излагал дело во всех подробностях. Фадеев слушал внимательно. Когда я кончил, он сказал:

— Вы оказались в самой середине того поля, которое теперь обстреливается. Да еще анкетные данные. Это судьба, ничего тут не изменишь. Вас не исключат из Союза, мы вам вклеим выговор. Я вам помогу, обещаю, хотя мне будет нелегко, в руководство Союза проникли охотнорядцы, но я надеюсь, что с помощью Кости Симонова с ними справлюсь.

Вдруг он звонко рассмеялся:

— Пришел ко мне Хачим Теунов, председатель Союза писателей Кавказа. Я ведь у них в Нальчике «Разгром» писал. Просит содействия в издании перевода на русский язык кабардинских «Нартов», а перевод поручить вам. Я ему сказал: «К чему вам Липкин, у него тяжелая рука, как переведет эпос, так объявляется эпос феодальным».

И он снова рассмеялся, еще звонче. Он хорошо смеялся, от всей души. Я, ободренный, сказал:

— Когда вы были председателем джангаровского юбилейного комитета, а я его секретарем, документация скапливалась у меня. Я сохранил копию постановления Политбюро ЦК ВКП(б), подписанного Сталиным.

Копия заверена Чадаевым. Там, среди прочих, указан такой пункт: «Поручить Гослитиздату издать калмыцкий эпос «Джангар» в переводе С. Липкина». Сам Сталин подписал! Я думаю, что будет неплохо, если на секретариате оглашу этот документ. Хотите посмотреть? Я взял его с собой. Он ударит по охотнорядцам.

Лицо Фадеева налилось кровью. Он крикнул:

— Дурак!

Я поднялся, оскорбленный. Фадеев пришел в себя, положил руку мне на плечо, сказал:

— Умоляю вас, ради ваших детей, не вспоминать об этом постановлении. Имя Сталина не произносите, не произносите! На секретариате скажите в двух словах: благодарю, мол, за справедливую критику, учту в дальнейшей работе... Еще раз твердо вам обещаю: вас из Союза не исключат. Они и Павлика Антокольского хотят съесть. Его, конечно, занесло, его часто заносит, но в обиду я его не дам.

У себя дома я все же решил подготовиться к большой речи. Перечитывал статьи — свои и чужие, документы, делал выписки. Перед тем как отправиться в Союз писателей, пропустил стакан водки, закусил куском куриного студня. Почувствовал веселую готовность к битве — никого не боюсь!

В кабинете Фадеева в Союзе я занял место в углу у окна около входа. У другого окна, в глубине кабинета, уселись Панферов и Корнейчук. За столом, на председательском месте, — Фадеев, спиной ко мне — Симонов, Софронов, стенографистки, напротив — Сурков, Леонов, может быть, еще кто-то.

Излагать дело поручили Софронову. Повернул он его неожиданно, с полицейской изобретательностью. Мои договоры на перевод «Манаса» — и это не случайно! — подписаны врагами народа: Лупполом и Лозовским. Последний арестован как сионист, и опять же не случайно в депутаты Верховного Совета СССР он пролез от Киргизии: покровительствовал местным националистам. Зловонный сионистско-пантюркистский букет.

Надо сказать, что академика Ивана Капитоновича Луппола я никогда в глаза не видел. Слишком я был в те ранние годы молод, чтобы иметь непосредственный контакт с главным редактором или директором издательства. Что же касается Соломона Абрамовича Лозовского, в прошлом — председателя Профинтерна, в первый год войны — председателя Совинформбюро, то я действительно общался с ним в бытность его директором Гослитиздата. Как бы обрадовался Софронов, думал я, сидя на секретариате, если бы я ему рассказал такой эпизод. Однажды Лозовский пригласил меня, чтобы поделиться теми трудностями, которые непрестанно возникали на пути издания «Манаса». По неопытности я ска-

— А почему вам не обратиться прямо в ЦК, спросить там, как поступить?

Он ответил на идише:

— А каше ист ойх трейф.

Приблизительный перевод: вопрос — тоже грех, запрещен. Вот бы возликовал Софронов: в нашем русском издательстве директор и переводчик беседуют по-еврейски!

Далее Софронов уже говорил то, что я ожидал, к чему был готов: тут и «Джангар», и «Идегей», и повесть «Манас Великодушный». Он потребовал моего исключения из Союза писателей.

— Мало! — крикнул Панферов.

Сидевший рядом с ним Корнейчук возразил:

— Строже наказать нам не дано, этим займутся другие. — Помолчав, добавил: — Все же человек талантливый.

Такие оговорки не бывают случайными. Я подумал, что Фадеев с ним предварительно побеседовал. Фадеев предоставил слово Симонову. Тот назвал меня мастером перевода, предложил объявить мне строгий выговор, из союза не исключать. Леонов — вопросительно: «Может быть, на вид поставим?» Сурков поддержал вопросительное предложение Леонова. Дали слово мне. Как научил меня Фадеев, я поблагодарил за критику, обещал ее учесть в дальнейшей работе. Потом сказал:

— Разрешите зачитать один документ.

Фадеев, забыв, что все на него смотрят, схватился за голову. Он решил, что я и его подведу, и себя погублю, что я сейчас прочту постановление Политбюро, произнесу имя Сталина. Но я огласил другой документ. У меня сейчас нет его под рукой. Содержание его такое. В джангаровский юбилейный комитет обращается с письмом ростовская писательская организация. Она давно и тесно связана со своим соседом Калмыкией. Ростовский литературовед Закруткин опубликовал ценное исследование калмыцкого эпоса. Между тем на юбилейные торжества в Элисте ростовской организации выделены только два места. Просят хотя бы четыре. Подпись — секретарь ростовского отделения Софронов, 1940 год.

Боже, как обрадовался Фадеев, как он смеялся, как ему громко вторил торжествующий Сурков и тихо — явно довольный Леонов. Я не видел лица Софронова, но услышал его смущенный голос, сменивший прежнюю уверенность интонации:

— Все мы сидим в этом говне.

Рассказ мой близится к тому концу, за которым непременно последует новое — и пока неизвестное — начало.

Умер Сталин. Эпические поэмы Востока вновь постепенно восстанавливались в своих древних правах. На Первой Всесоюзной конференции востоковедов в июне 1957 года академик В. М. Жирмунский в своем докладе «Некоторые итоги изучения героического эпоса народов Средней Азии» заметил:

«Живому интересу и потребности в широкой популярности разноязычных произведений народного творчества отвечают многочисленные художественные переводы эпических памятников... Пеньковского, Тарловского, Липкина, Тарковского, Державина, Шенгели и других».

В 1960 году перевод «Манаса» переиздали (предисловие С. Дароняна и мое). Та часть, которую перевел Марк Тарловский, в новое издание не

вошла — в ней были сосредоточены наиболее неприемлемые места, а переводчик исправить уже ничего не мог, он к тому времени скончался.

В «Библиотеку всемирной литературы» включили два тома эпосов народов СССР (тираж — 300 000). Были опубликованы те произведения, которые при Сталине оказались на грани гибели, у самой бездны на краю, — за исключением «Идегея». Мои переводы в этих томах представлены обильно, грех мне жаловаться.

Были возвращены на родину и калмыки, восстановили их республику. Мне было присвоено звание народного поэта Калмыкии.

В ГДР вышла на немецком языке моя повесть «Манас Великодушный». Тираж для переводной книги, да еще такого жанра, немалый: 20 000. К повести приложен перевод одной из глав «Манаса», «Письмо Каныкей», сделанный, как указано в послесловии поэтом Эрихом Милльштаттом, с моего перевода. В Киргизии выход книги на немецком языке был встречен с большим удовлетворением. Мне присвоили почетное звание заслуженного работника культуры Киргизской ССР. Стихи эпоса по-немецки звучат превосходно. Единственный упрек переводчику — переносы предложения из одной строки в последующую, что несвойственно изустной поэзии.

Означают ли все эти приятные факты окончательную победу разума? Поживем — увидим.

Что же касается моего перевода «Манаса», то он запрещен. Я почти не общаюсь с собратьями-переводчиками (вернее — они со мной), но вот какие слухи дошли до меня: мол, большой бригаде поручено изготовить новый перевод киргизского эпоса. Называют имена: Солоухин, Цыбин и другие.

Солоухин — видный писатель, особенно удались ему очерковые книги: «Владимирские проселки» и «Письма из Русского музея». Казалось бы, ничего дурного нет в том, что он после меня берется перевести «Манас». Переводили же после Кроненберга пьесы Шекспира Лозинский, Радлова, Пастернак, финскую «Гайавату» после Михайловского — Бунин, «Витязя в тигровой шкуре» Руставели после Бальмонта — Заболоцкий. Но почему Солоухина привлекают только те эпические поэмы Востока, «Манас» и бурятский «Гэсер», которые перевел я, на которого Государство наложило запрет на профессию? Почему его не волнуют другие произведения, переведенные другими поэтами, чьи имена не находятся под запретом? Странно, не правда ли? Впрочем, совсем не странно.

Цыбин, начальник секции московских поэтов, много переводит заново то, что я переводил до моего выхода из Союза писателей. Способ он применяет не совсем обычный, довольно-таки интересный. Он оставляет мои ритмы (восточная версификация не похожа на русскую, вообще ни на одну европейскую, поэт-переводчик должна найти русский ритм, лишь напоминающий ритм подлинника), оставляет мои метры, мои рифмы, чуточку переделывает левую половину строк, а правую, устремленную к рифме, оставляет мою вместе с рифмой. В переводе стихов современных поэтов он оставляет и мои отступления от подлинника, строки, принадлежащие мне, а не автору. До сих пор я мог быть спокоен, что хотя бы пра-

вая сторона его переводов не искажает подлинника. Но что будет с «Манасом», в котором помимо концевой рифмы есть рифма в начале строки, анафорическая? Неужели Цыбин и левую сторону моих переводов оставит без изменения? Хорошо бы. Он уже так поступил с моим юношеским переводом киргизского акына.

Новый перевод «Манаса» издан. Книги я не видел, но мне известно, что под переводом есть только одно имя — В. Солоухина. Есть ли у него в душе то, о чем говорил мне Саякбай Каралаев, — закон Бога, отражается ли в нем лицо пророка?

1986

ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Впервые имя Инны Лиснянской я услышал от ее бакинского земляка, милого человека. Он с патриотическим воодушевлением поставил это имя рядом с именем Ахматовой и Цветаевой, что не могло тогда не вызвать моей улыбки. Разговор происходил в 1959 году. Мой собеседник сообщил мне, что стихи поэтессы охотно печатает Твардовский в «Новом мире». Я был многолетним подписчиком журнала, но не запомнил этого женского имени. Когда в ближайшем номере я увидел стихотворение Инны Лиснянской, я внимательно и с любопытством его прочел. Оно было посвящено Заполярью. Обычное, характерное своей пустотой и ненужностью, свойственное нашей рифмованной продукции произведение. Так я решил исходя из того, основанного на опыте, положения, что о прозаике можно судить по первой странице, о стихотворце — по одному стихотворению. Я не подумал о том, что если поэт трудный, то редакция норовит выбрать у него вещь наименее удачную.

Но, как заметил Василий Гроссман, есть жизнь и есть судьба, и судьба свела мою жизнь с жизнью Инны Лиснянской, и я узнал поэта, чье имя не только заслуживает, но и требует того, чтобы сопоставлять его с именами других истинных поэтов, обозначить его место среди них. При этом невольно, поскольку речь идет о поэте-женщине, Ахматова и Цветаева вспоминаются раньше других, ибо значением своим отодвинули от нас Каролину Павлову, Евдокию Ростопчину, Мирру Лохвицкую, Зинаиду Гиппиус.

Самый значительный русский поэт нашего времени, с присущей ему зоркостью заметив, что Лиснянская, может быть, точнее, чем кто иной, пишет о смерти, а это ведь одна из самых главных тем в литературе, — этот поэт, Иосиф Бродский, различает в стихах Лиснянской «ахматовское эхо». Одному зарубежному критику при чтении книги Лиснянской тоже припоминаются Ахматова и Цветаева.

Я не совсем с этим согласен. Я не удивился бы, если бы в книге Лиснянской прочел нечто подобное строкам Верлена: «Что ты сделал, ты, что плачешь, с юностью своею?» Мне почему-то кажется, что Лиснянская

ведет свою родословную от тех французских поэтов, которых принято называть «проклятыми». От них ее «вдохновенье и усталость», вера в Бога и неверие в себя, афористичность ее печали и противоречивость ее афористичности.

Я с подозрительностью скряги
Свое бесславию храню.

Горечь этого признания не только тяжела, но и необычна. В самом деле, какой поэт может спокойно терпеть свое бесславию? Но для чего его хранить, да еще с подозрительностью скряги? Так начинается то противоречие, которое в самом существе печали рождает некий оптимизм.

Максим Горький однажды поставил такой вопрос: «Почему с начала XIX века буржуазия — класс-«победитель» — выдвинула из своей среды так много крупных поэтов-пессимистов?» Ответ на этот вопрос он излагает тоже в вопросительной форме, потому что — отдадим должное его честности — ответа не знает. Может быть, размышляет Горький, бесчеловечное, грязное дело наживы, безумный процесс накопления денег способствовал тому, что у этих поэтов «развилося отрицание смысла жизни, презрение к ней, склонность к «мировой скорби», к пессимизму и мизантропии»?

Думаю, что Горький искал не там, где нужно, пытаясь сочетать это явление с победоносной буржуазией. И вряд ли можно назвать Баратынского или Фета оптимистами, но они дворяне, а не буржуа. С другой стороны, совсем уже не буржуа Сологуб, сын нищего деревенского портного и прачки, а как печальна его поэзия. Печальна, но не пессимистична. Горький вывел в одном из своих произведений Сологуба под именем Смертяшкина, но не понял поэта-символиста: Сологуб печален, но твердо верит в иную, лучшую жизнь. Не правильной ли видеть истоки пессимизма в том разрушении веры в Бога, которое деятельно и убежденно начал восемнадцатый век, «энциклопедии скептический причет»? Да, мы заплатили дорогой ценой за просвещенное неверие энциклопедистов. Не потому ли родилась бесфигурная, абстрактная живопись, что художника перестал интересовать человек как подобие Бога? Не потому ли еще раньше один из героев Тургенева — уж на что далекого от всякого буржуа — вспоминает:

Я сжигал все, чему поклонялся,
Поклонялся всему, что сжигал.

А младший современник Тургенева, умный и дерзкий Случевский, сокрушается:

Я Богу пламенно молился,
Я Бога страстно отрицал.

У Ахматовой таких метаний и таких сомнений нет. Единственная женщина, за все двадцать веков нашей эры ставшая великим поэтом миро-

го значения, чем, к слову, русские должны быть горды, Ахматова с христианской кротостью и суровой мудростью принимает весь мир, и его земную красоту, и его горе, как дар Божий. Цветаева миром недовольна, но она хочет его полюбить, она неистово ищет его красоту и правду то в узурпаторе Бонапарте, то в белом движении на Дону, то в героическом подвиге челоскинцев, ищет и не находит. Для Лиснянской этот мир — хорош он или плох — долго был чужим:

Я не гостя и не хозяйка,
Не прислуга и не родня,
Не захожая попрошайка —
Просто бабочка у огня.

Мандельштам первым обратил наше внимание на то, что поэзия Ахматовой рождена русской прозой. Можно уточнить: прежде всего прозой Достоевского и Толстого, и ни в коем случае — прозой Тургенева и Чехова. Героиня любовной лирики Ахматовой человек очень сложный: она и кроткая, и страстная, и негодующая, и обманутая, но всегда — всепонимающая, и боль ее от этого всепонимания особенно остра. Цветаева — другая, она не только не понимает, она не хочет понять, она уверена в себе: тот, кто ее отверг, «попрал Синай», заменил мрамор Каррары «трусой гипсовой». С виду может показаться, что Лиснянская обуяна той же исступленной гордыней:

Я тебя очеловечила,
Ты меня обожествил.

Но так только кажется. В действительности «Ты меня обожествил» не приказ, а просьба: мне трудно, я слаба, помоги мне, на худой конец, притворишь, что ты меня благодаришь за то, что я тебя очеловечила.

Ахматова не ищет сострадания: она ищет соучастия, неподкупной общности. Цветаева ищет, кому сострадать, но так, чтобы тот, кому страдаешь, стал ее собственностью. Бывает ли робка Цветаева? Всегда. Но у этой Робости есть царственная сестра — Гордость. Лиснянская даже на сочувствие не надеется:

Господи Боже, кому мои слезы?
Господи Боже, кому я сама?

Поэзия Лиснянской есть поэзия виновности. «Сама виновата, сама виновата», — повторяет она как бы в бреду. «Все мы бражники здесь, блудницы», — спокойно говорит Ахматова, спокойно, потому что знает, к какой высоте она причастна. «Ну да, я плясала и пела, ну да, я спиртное пила», — хочет, в отчаянии, оправдаться Лиснянская, хочет и не может, потому что долго еще не слышит Того, кто один может простить. Но пока, понимая свою беспомощность, одиночество своего дара, и уже предчувствуя, что спасение придет, что оно — в единственно существе прощении, боязливими шагами нащупывает путь к нему в замечательном стихотворении двадцатилетней давности:

Забвенья нету сладкого,
Лишь горькое в груди, —
Защиты жди от слабого,
От сильного не жди.
Такое время адово
На нынешней Руси —
Проси не у богатого,
У бедного проси.
Наглядны все прозрения,
Все истины просты, —
Не у святых прощения,
У грешников проси.

Когда-то было сказано: «Блаженны нищие духом». И человек нынешней Руси, приняв эти слова в сердце, просит защиты и прощения у слабого, у бедного, у грешного. Да, он слаб, он беден, он грешен, но он — человек, он — подобие Бога, ищешь его — значит, ищешь Бога. Так срывает с себя поэт оковы пессимизма и приходит к спасительному смирению, к пониманию того, что «казнить себя — нет гордости страшней». И все же поэт продолжает себя казнить, ибо невыносимо жгуче клеймо вины, и мы слышим крик:

Вот она я — унижайте меня!
Вот она я — распинайте меня!

Может показаться, что у Лиснянской есть и более простой способ уйти от чувства своей виновности — перед кем? — от своей безысходности: рисовать жизнь со стороны. Но пейзаж, натюрморт, фигурная композиция всегда превращаются у нее в автопортрет. Некрасов в одном из самых, как теперь выражаются, исповедальных своих стихотворений, описывая, как на площади бьют молодую крестьянку, назвал ее родной сестрой своей музы. Сам он при этом только зритель: «Часу в шестом я вышел на Сенную». Лиснянская, даже сравнишь она гениальностью с Некрасовым, так никогда не скажет: это не сестру ее музы бьют, даже не ее музу, а ее, поэта. Боль Руси — это ее физическая боль, топчут Русь — это ее топчут, не музу она сестра, а кровавым подснежникам:

Предвидено, предсказано —
Цветком не прорасту,
Я к времени привязана,
Как к конскому хвосту.
О плоские бульжники
Крутым затылком бьюсь.
Молчат твои подвижники,
Затоптанная Русь!
Молчат твои утешники,
Лежат в сырой земле,
Кровавые подснежники
Им чудятся во мгле,
Да снится, как расплощило
Их младшую сестру, —
Лишь волосы распущены
И тлеют на ветру.

Быть привязанной к конскому хвосту и помнить, что волосы ее распущены, — какая власть субъекта над объектом!

Разумеется, среди ее полотен есть и такие, на которых художник не изображен, например, «Набранный», где в вагоне узкоколейки желтобородый старик то ли спит, то ли мыслит, то ли вспоминает ссыльные годы, когда «тряслись в малярном огне непривычные к морю крестьяне», или слепой, который жил и действовал в каспийском городе:

Был концлагерь на Востоке,
А на Западе — война.
Перещупывал он строки
Возле темного окна.
Мир земной и мир надземный
Вновь осмысливал старик —
Позапально, потюремно
Вел он тайный временник.
Но однажды на рассвете
Вновь слепого увели
И сожгли страницы эти,
Но потомки их прочли,
Потому что было Слово,
И в воздушную тетрадь
Он иголкой словой
Приспособился писать.

И еще один портрет: в санаторном отделении особенной больницы без конца пишет Иуду больной антисемитским бредом:

Его Иуда был курчавый,
Змееобразный, без ребра,
Одна рука была кровавой,
Другая в пятнах серебра.
Помешивал художник краски
В помятой банке жестяной,
А на него не без опаски
Поглядывал другой больной.

Может быть, поглядывал не больной, а больная? Лиснянская не раз возвращается к этой недолгой, но тяжелой поре своей жизни, с наибольшей художественной силой изобразив ее в венке сонетов «Круг». Беглой, но твердой, порою жесткой кистью написаны психиатр-провокаатор, санитарка-алкоголичка, орущая на больных, и та, которая навещает свою дочь, — посетительницу ждущая машина главка и ужин в доме чешского посла, и вот уже в изысканную форму сонета облекается далеко не изысканная, страшная обыденность:

Судьба меня за шиворот берет,
Бросает в ночь сорок второго года.
Перевернет мне душу этот год.
Стоит брезентом крытая подвода
У госпиталя, там, где черный ход,
Гружу я трупы за мензурку меда,
За черный с красным джемом бутерброд.
Мне лед мертвецкой руки ест, как сода,

Я — школьница, подросток, худоба,
Впервые вижу я мужское тело,
Но мертвое. Опричница-судьба,
О как ты далеко вперед глядела, —
Как эта смерть, что здесь во льду лежит,
Передо мною обнажился быт.

Повторяю: кисть твердая, жесткая, не хочет автор приспособиться писать еловой иглой в воздушную тетрадь — вообще не хочет приспособляться! Еще раз убеждаешься в том, что нет изобразительных средств сильнее, чем подробности обнаженного быта, окрыленные мыслью и музыкой. И еще одно наблюдение, может быть, мелкое, ремесленное: как хороши здесь традиционные рифмы, как ново они звучат, ибо содержательность (не содержание!) новая, и как чужеродны трагической поэзии Лиснянской беззвучные игрушечные ассонансы, до которых, пугливо следуя моде, она иногда опускается, вроде проза — просьба, завтра — олеандра и совсем уже невозможных кинохроника — тувовника. Пусть этим тешатся те, для которых «как» важнее, чем «что», потому что не понимают единства, слитности этих понятий. Дело не в брюзгливом пуризме, дело в гармонии.

Между тем чувство гармонии, то, что Заболоцкий обозначил когда-то аббревиатурой МОМ (мысль, образ, музыка), развито у Лиснянской так, как оно должно быть развито у истинного художника. Если вспомнить тех немногих, ныне здравствующих подлинных русских поэтов, прежде всего, конечно, Бродского, Чухонцева, Тарковского, Кублановского, то, может быть, их подлинность открывается нам в гармонии, в той высокой душе, которая облачена в единственно предназначенную ей плоть ритма. Исходя из этого я хотел бы остановить внимание читателя на тех стихах Лиснянской, которые приближаются к русской народной лирике. И здесь Лиснянская имеет предшественниц в лице Ахматовой («На Малаховом кургане» и «Я с тобой не стану пить вино») и в особенности Цветаевой, сделавшей в этой области существенные открытия. С удовлетворением замечаешь, что у Лиснянской такого рода стихи обладают чертами, только ей свойственными. Бросается в глаза, что она пользуется редко теперь встречающимися короткими (двух или двух с половиной стопными) размерами. Если придерживаться женской линии, то начало ее, быть может, в «Рудокопе» Каролины Павловой:

Здесь я мал и слаб,
Сплю в золе, как тварь;
Здесь я подлый раб,
Там я — грозный царь!

Не отсюда ли происходят такие стихи Лиснянской, как «На излете лет...», «Разлетелся дым...», «Прощальная песня» и «Не затем я шла...». Последние две пьесы как бы родились вместе, но они, при внешнем сходстве, не близнецы, да и пути их разошлись. «Прощальная» начинается так:

Но прости-прощай,
Хлебом не стращай,

Я ведь шла не для
Твоего рубля,
Я ведь шла к тебе
Как судьба к судьбе.

Метрический близнец этого стихотворения трагичен, менее наступательен, более скромнен и поэтому более естественен:

Не затем я шла,
Чтоб тебя обидеть,
А затем я шла,
Чтоб тебя увидеть.
Не затем жила,
Чтоб не знать о боли,
А затем жила,
Чтоб не знать неволи.
Не затем ушла,
Чтобы скоронили,
А затем ушла,
Чтобы не забыли.

Этот маленький шедевр, как бы пропетый с помощью пастушеской дудочки, обвораживает нас гармонией. Ведь Лиснянская верит, что Гармония (с большой буквы) возродится, и именно здесь, «в этом воздухе глухо закрытом», хотя сейчас

Сама себе Гармония надоела,
Как только может себе надоеть старуха.
Полгода сидит в рубахе когда-то белой,
И перед ней бордовая бормотуха.
А ведь давно ли в Санкт-Петербурге в белые ночи
Шпорой серебряной век перед нею звякал.
Что же с Гармонией делаться стало нонче?
Блок бы ее увидел — навзрыд заплакал.

У Серебряного века, у гусара, шпора из того же металла. Когда же кончился Серебряный? Ахматова считает, что наш двадцатый век наступил вместе с первой мировой войной, отстав от календаря на четырнадцать лет. Если говорить о поэзии, то, на мой взгляд, кончина Серебряного века совпадает с двумя страшными кончинами — Гумилева и Блока. Пошли дни, каждый из которых — длиною в год. Русская литература достойно их описала, но возвращается к ним снова и снова, потому что страшна и прекрасна, безнравственна и целомудренна их долгота.

Есть у Лиснянской стихотворение «Дни», как мне представляется, самое глубокое из тех ее устремленных к эпосу творений, где на полотне только объект, а субъект в нем растворяется. Мы не видим на этом полотне тех трех чудовищ, которые пожирали и пожирают отпущенные нам дни, — мы не видим тюрьмы, войны и больницы. Но самые ужасные бездны начала двадцатого века, бездны «На дне» или «Мелкого беса» — наконец, андреевской «Бездны», — райские кущи по сравнению с тем, что происходит день за днем в обычной, обыденной коммунальной квартире:

Зачем, опершись о порог,
Часа эдак три или четыре
Трет замшевой тряпкой сапог
Тишайший сосед по квартире?
Зачем в коммунальном аду,
Где все наши песенки слеты,
Выкрикивает какаду
Название центральной газеты?
Зачем тугодум-управдом,
На восемь настроив будильник
И спрятав его в холодильник,
В шкафу удувился стенном?

Да, безумие тереть четыре часа, чистя тряпкой, свой сапог, да, безумны и какаду и управдом-самоубийца, безумны наши дни, а поэт не ужасается. Слабый и безоружный, он вооружается опытом:

Но есть жесточайший порядок
И в том, что безумны они,
И в том, что они без загадок.

Только художник, черпающий мужество в смирении и вере, может определить безумие наших дней, ничуть его не страшась, как порядок, пусть жесточайший. И все же загадка есть. Это загадка русского поэта. Через какие только муки ада не прошел человек, а всегда оставался подобием Того, Кто создал его, Кто устами Своих поэтов говорил убийцам: «Не волк я по крови своей, и меня только равный убьет». И еще говорил: «Смерть можно будет побороть усилием воскресенья». И еще говорил: «И в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас». И даже та, чья поэзия родилась из чувства вины, говорит убийцам как высшая, как сильная:

Не мучайте меня, — умру от жалости,
Мне жалко вас, не мучайте меня.

В унижении и бесправии непобедимую высоту дала ей вера.

Май 1986

БЕСЕДЫ С АХМАТОВОЙ

Разрозненные воспоминания

Эту комнату в квартире Ардовых на «легендарной Ордынке» вспоминатели называют нежно: «уютная». Комната в большой квартире дореволюционного дома когда-то, видимо, предназначалась для прислуги. Очень маленькая, с окошком под самым потолком. Ахматова к старости стала туга на ухо, но разговаривать громко я затруднялся, потому что все было слышно за стеной, в главной комнате, где собиралась семья, сидели гости — шумные, веселые, пожилые и молодежь, писатели и актеры. Среди писателей, часто посещавших хозяина дома, был один, пользовавшийся дурной славой. Ахматова предупреждала меня об этом, между тем она охотно, по крайней мере со мной, беседовала на жгучие политические темы, мне приходилось повышать голос, опасный гость мог услышать. Так вправду ли была уютной эта легендарная комната?

Я встречался с Анной Андреевной у Марии Петровых на Беговой, и у Ники Глен на Садово-Каретной, и у Большинцовой-Стенич на улице Короленко в Сокольниках, на пятом этаже без лифта, и у Нины Леонтьевны, вдовы поэта Георгия Шенгели, на Первой Мещанской (теперь проспект Мира). Во всех этих временных ее пристанищах к ней относились любовно, я бы сказал, восторженно-почтительно. И все же она всегда рвалась на Ордынку, даже из огромной квартиры Манухиной-Шенгели, где три женщины — мать, дочь и домработница — обхаживали Анну Андреевну, где в ее распоряжении была большая светлая комната и замечательная библиотека покойного Шенгели, книги на разных языках. Почему же Анна Андреевна всегда тянулась на Ордынку, к маленькой комнате с окошком под самым потолком?

Я думаю, что ее влекла не только доброта и самоотверженная отзывчивость Нины Антоновны Ольшевской, жены Ардова, актрисы и режиссера. Анне Андреевне была по душе вся атмосфера в шумной актерской семье Ардовых, милые мальчики Миша и Боря, молодежь, их посещавшая, ужин и беседы после полуночи за широким без скатерти столом.

Чем-то — так я предполагаю — это напоминало «Бродячую собаку», но там, признавалась она в стихах, все было невесело, а здесь, на Ордынке, в ее скудную и трагически трудную жизнь врывались новые голоса, новые словечки новой улицы, уже не совсем безъязыкой. Здесь происходили наши самые долгие беседы под многоголосицу за стеной.

Что мне особенно сильно запомнилось, если не повторять других воспоминателей, в особенности автора замечательных записок — Лидию Корнеевну Чуковскую?

О Гумилеве. Всем было известно, что Гумилева расстреляли за участие в монархическом заговоре. До Анны Андреевны дошла каким-то образом из Парижа книга Ирины Одоевцевой «На берегах Невы», в которой утверждалось, что молодая поэтесса нечаянно увидела в ящике стола Гумилева большое количество кредиток и револьвер. Отсюда — вывод Одоевцевой — подтверждение участия Гумилева в таганцевском заговоре. Видимо, Одоевцева хотела, чтобы читатели окончательно поверили в героический монархизм Гумилева, в русского Андре Шенье.

Понятно, как вознегодовала Анна Андреевна, читая эту красивую выдумку об отце ее репрессированного сына, о поэте, с чьим именем навсегда и грозно связано ее имя. Она точно знала, что Гумилев в таганцевском заговоре не участвовал. Более того, по ее словам, и заговора-то не было, его выдумали петроградские чекисты для того, чтобы руководство в Москве думало, что они не даром хлеб едят. Гумилев, говорила Анна Андреевна, шел к советской власти. «Увидишь, — сказал он ей, — это будет первая настоящая русская власть в России». Он с удовольствием работал в горьковской «Всемирной литературе».

Теперь, когда я пишу эти записки, стало окончательно доказанным, что расстреляли ни в чем не повинного человека, но Ахматова мне говорила об этом тридцать лет назад.

Еще Анна Андреевна мне говорила, что Гумилев в годы войны разочаровался в династии, ему отвратителен был Гришка Распутин. Эти рассуждения она от него слышала, когда он на краткий срок приезжал с фронта.

Как-то я сказал, что талант Гумилева особенно ярко выразился в «Огненном столпе». Анна Андреевна со мной согласилась:

— Это его последняя книга. Он только начал развиваться как поэт. Мысль его стала глубже, от христианства бытового, обрядового он поднимался к постижению высочайшей христианской философии. Неизвестно, как бы сложилась его жизнь, если бы его не расстреляли, в последующие годы, но бесспорно то, что мы бы имели еще одного огромного русского поэта.

Когда Гумилева арестовали, Анна Андреевна пошла просить заступничества у Горького. По ее словам, Алексей Максимович вел себя безукоризненно. При ней звонил Ленину, Троцкому, но их секретари его с ними не соединяли. Удалось ему дозвониться только до Луначарского, тот обещал поговорить с Лениным, но неизвестно, состоялся ли такой разговор.

Были о Гумилеве и более веселые рассказы. Я их передаю своими словами. Гумилев читал в литературной студии начинающим стихотворцам

лекцию по версификации. Однажды занятия посетил Горький, под началом которого служил Гумилев. Когда слушатели разошлись, Горький спросил Гумилева:

— Скажите, все это надо поэту знать? Обязательно?

— Надо, — твердо сказал Гумилев.

Тут Горький задал каверзный вопрос:

— Николай Степанович, что вы скажете мне о моих стихах?

— Я их плохо знаю. Признаться, не помню, чтобы я их читал.

Горький не обиделся, но возразил:

— А между тем одно мое стихотворение имело большой успех, особенно среди молодежи, студенческой и рабочей. Его и сейчас декламируют. «Буревестнику» называется оно.

— Да, да, вспоминаю, четырехстопный хорей со сплошь женскими окончаниями. Размер — подражание «Гайавате». Простите меня, Алексей Максимович, это беспомощно. Мне как-то попала на глаза одна ваша строчка: «Высоко в горы вполз уж и лег там». Если бы вы знали русское стихосложение, вы не составляли бы стопу амфибрахия из односложных слов. Нельзя это делать, неграмотно. «Вполз уж и лег там». Неужели ваше ухо талантливого писателя не слышит этого совершенно невозможного сталкивания слов — и не только в стихах?

Когда Гумилев рассказал о том, что случилось, Анне Андреевне, она рассмеялась, но и встревожилась: не рассердится ли Горький, не лишится ли Гумилев работы, а значит, и пайка, столь нужного в тот голодный год? Горький не только не рассердился, но стал, по словам Анны Андреевны, еще уважительней относиться к Гумилеву.

Многое у меня связано с комнатой на Ордынке, всего и не упомнишь, но кое-что то и дело всплывает в слабеющей памяти.

Однажды я возвратился домой поздно вечером, после какого-то никому не нужного переводческого совещания. Вдруг — звонок Анны Андреевны:

— Приезжайте ко мне. Сейчас.

— Может быть, отложим на завтра? Уже поздно...

— Вы мне нужны сейчас. — И повесила трубку.

Я оделся, спустился в метро, благо пересадки не было, минут через сорок был уже у Анны Андреевны. Сразу было видно, что она очень взволнована. Не полулежала, как всегда, на твердой тахте, ходила по комнате, поднимая руки, что было ей несвойственно, под рукавами виднелись прорехи. Я решил, что случилось нечто ужасное, — вся жизнь Анны Андреевны подготовила меня к тяжелому предчувствию.

— Читайте, — сказала она и дала мне зарубежный русский журнал. Не помню ни названия журнала, ни автора статьи, взволновавшей Анну Андреевну. Смутно мерещится мне, что автор — княгиня Шаховская. Если это не так, то заранее прошу прощения у читателя.

Я прочел указанные мне Ахматовой строки. Они повергли меня в недоумение. Прочел снова. В чем причина столь сильного волнения Анны Андреевны? В статье-воспоминании сообщалось следующее (передаю, конечно, не дословно, а самую мысль). Гумилев бросил великого поэта Анну Ахматову ради хорошенькой, пустенькой Ани Энгельгардт.

Что я должен был сказать? Что ужасного было в этом сообщении? Но не напрасно же Анна Андреевна позвала меня так поздно вечером к ней приехать. Вот я и сказал:

— Нехорошо вмешиваться в личную жизнь поэта, слава Богу, живого.

— Какой вздор! При чем тут личная жизнь? — В голосе Анны Андреевны слышался знакомый ее друзьям гнев. — Не Николай Степанович бросил меня, а я бросила Николая Степановича.

У меня отлегло от сердца, ничего дурного не произошло, этот женский гнев меня умилил и восхитил. Великий, боготворимый мною поэт все-таки женщина.

Но вдумаемся в то, что произошло. Вся жизнь на Анну Андреевну клеветали. Клеветали враги, клеветали непрочные друзья, клеветали мелкие люди и свирепые власти. Одно из ее стихотворений так и называется «Клевета». Она, такая точная в своих литературоведческих работах, в своих, к сожалению кратких, воспоминаниях, она, обладавшая волшебной, завораживающей точностью в своих стихах, терпеть не могла неточности и в любом жанре, а тем более — лжи, и, как это часто бывает, пустяк, прочитанный в зарубежном журнале, был еще одной каплей, переполнившей чашу, горькую чашу ее жизни.

Как и все мы, Анна Андреевна была возмущена тем скандалом, который учинил Хрущев в Манеже, обрушившись на молодых художников. Разговаривая об этом, я почему-то вспомнил фразу из «Автобиографии» Тамерлана (по-тюркски Аксак-Темира, Железного Хромца): «Мир подобен золотому сундуку, наполненному змеями и скорпионами».

Фраза понравилась Анне Андреевне, но она заговорила о другом.

— Моя прародительница Ахматова была в родстве с князьями Юсуповыми. А Юсуповы — ветвь от потомков Тамерлана. Сам же Тамерлан был потомком Чингисхана, следовательно, Чингисхан мой предок.

Я объяснил, что это не так, и на следующий день принес ей «Автобиографию» Тимура в переводе с тюркского и джагатайского В. Панова и с его же предисловием и комментариями. Комментаратор отрицает претензию Тимура на то, что он будто бы внук Чингисхана: «Это обычная манера генеалогий «Автобиографии» — сближать «героя» с великим родоначальником».

Анна Андреевна была явно недовольна, но примирилась с тем, что она не потомок Чингисхана: «Быть потомком Тамерлана тоже неплохо».

Будучи редактором переводов стихотворений татарского поэта-классика Габдуллы Тукая, я предложил Анне Андреевне перевести несколько его стихотворений. Она сказала:

— Я сейчас плохая, но своего переводу непременно.

Замечательное свойство Анны Андреевны, не мной первым замеченное: в своих поступках, в своих беседах она была высока, но никогда — высокопарна. Любила шутку и шутила сама. Могла о людях, которых почитала, порою выразиться не очень почтительно, но не осуждающе. Всегда с гордостью говорила о том, что она акмеистка, и чувствовалась в ней давнишняя неприязнь к старшим, к символистам. Оказывалось, что у всех, за исключением Блока, были дурные черты характера. Часто расска-

зывала мне (а я жадно слушал) о том, что за люди были Брюсов, Вячеслав Иванов, Бальмонт, Мережковский, Гиппиус. Всех не любила, хотя признавала, что символизм — важное, значительное явление в русской общественной жизни.

Она с интересом следила за тем, что происходило в молодой русской поэзии и в многочисленных толпах поклонников этой поэзии. При мне хвалила только Иосифа Бродского, уже тогда видела в нем первоклассного поэта. О другом поэте, который был, кажется, годами старше Бродского и широко печатался, говорила: «Изящен, но мелко». Отрицала талантливость самых знаменитых. Я назвал одного из них недурным, часто острым фельетонистом, Анна Андреевна удивилась:

— К чему мне фельетоны в стихах?

Когда Анна Андреевна приезжала из Ленинграда в Москву, к ней каждый день приходили друзья и знакомые. Ей было неприятно, если в одно и то же время сталкивались разные люди, и для каждого она определяла не только день, но и час. Так было назначено время и мне, но, когда я пришел, застал на Ордынке Пастернака. По его облику и поведению было заметно, что он собирался уходить, но заговорился. Говорил же он почему-то о Голсуорси, «Сагу о Форсайтах» называл нудной, тягучей, даже мертвой. Вскоре он ушел. Анна Андреевна развеселилась:

— Вы догадываетесь, почему Борисик вдруг набросился на Голсуорси? Нет? Когда-то, много лет назад, английские студенты выдвинули Пастернака на соискание Нобелевской премии, но получил ее Голсуорси.

— Анна Андреевна, помилуйте, разве это пристало такому великому поэту?

— Великий этот поэт — совершенное дитя.

Надо заметить, что разговор происходил задолго до того, как Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. «Борисик» звучало ласково, Ахматова преклонялась перед гением Пастернака. Она твердо верила в бессмертие поэзии Пастернака, между тем как в прочности, нужности своих стихов сомневалась часто, искренно. Она была довольна, хотя и несколько удивлена, когда я ей сказал, что она — единственная в двадцатом веке продолжательница Некрасова, что его щемящий, за душу хватающий анапест слышен в ее строках из «Реквиема»: «И ненужным довеском болтался возле тюрем своих Ленинград». И одновременно со своими сомнениями, как это нередко бывает у больших художников, она догадывалась о своей силе, о своем месте в ряду бессмертных.

Году в 1958-м или в 1959-м она мне позвонила, сказала, что находится близко от меня, сейчас ко мне приедет. Потом я узнал, у кого она была в гостях — всего в десяти минутах ходьбы от меня, но ей уже была тяжела и такая дорога, приехала в такси.

Я поставил на стол бутылку «Лидии», тогда модного молдавского вина, но Анна Андреевна, сказала, что это вино ей не нравится.

— Может быть, водочки? — предложил я.

— Немного — с удовольствием, хотя врачи запрещают, — согласилась Анна Андреевна и достала из кармана то ли нитроглицерин, то ли валидол. Я тогда был здоров и не знал назначения этих лекарств. Мы выпи-

ли по рюмочке, потом по второй, далее уже пил один я. Анна Андреевна прочла мне главу из «Поэмы без героя». Это было так ново, так мощно, так непохоже на прежнюю Ахматову и так по-ахматовски умно, притягательно, прекрасно. Я был потрясен и сказал Анне Андреевне, что никто из теперешних русских поэтов не понимает с такой глубиной русскую боль, русскую жизнь, как она, что никто еще не написал о предвоенных десятилетиях, а это было очень важное, переломное для России время. Все могло бы быть у нас иначе, если бы не первая мировая, ненужная царскому правительству и ужасная для народа. Об этом времени, может быть, еще и напишут, но пока она — первая. Анна Андреевна раскраснелась, то ли от двух рюмочек, то ли от моих слов, и похвалила меня:

— Никто не понимает в стихах так, как вы.

Обычно она говорила такие слова только о Чуковских — об отце и дочери.

Создалась такая шутивая, даже радостная атмосфера, да к тому же я выпил полбутылки, что, забыв свой всегдашний трепет, я сказал:

— Так что же получается? Среди женщин — выше всех Ахматова. Ну, давайте посмотрим, кто был раньше и позже. Цветаеву я в счет не беру, потому что по-настоящему мне нравятся только ее «Версты» и несколько стихотворений из последующих книг, не люблю ее поэм, кроме «Крысолова», «Поэмы Горь».

Ахматова улыбнулась, промолчала. Я начал свой экскурс:

— Была в восемнадцатом веке Бунина, родственница Ивана.

— Ее никто не читал, я тоже. Следующая!

— Евдокия Ростопчина.

— Это очень поверхностно.

— Каролина Павлова.

— Ценный поэт, но не первого класса.

— Мирра Лохвицкая.

— В ней что-то пело. Но на ее стихах лежит печать эпохи безвременья — Надсон, Минский, Фофанов.

— Кто же тогда остается? Одна Сафо?

— Сафо — это прелестный миф. Мне ее читал по-гречески Вячеслав Иванов. От строк Сафо остались одни руины.

— Я, разумеется, Сафо не читал в подлиннике, только в переводах того же Вячеслава Иванова, в книге «Алкей и Сафо». Назову последнюю — Деборд-Вальмор. Пастернак сравнил с ней Цветаеву.

Анна Андреевна возразила с горячностью:

— Еще Пушкин писал о слабости французской поэзии. Ведь еще не было Бодлера и Верлена. А Деборд-Вальмор хотя и мила, но чересчур сентиментальна, наивна...

Через несколько дней после этой веселой беседы произошло важное событие в моей жизни — важное потому, что оно связано с Ахматовой.

Был объявлен мой вечер в ВТО¹, — впервые я должен был читать свои оригинальные стихи. Анна Андреевна заволновалась:

¹ Всероссийское театральное общество.

— Я непременно приду.

Я просил, даже умолял Анну Андреевну не делать этого, ей будет тяжело, зал, возможно, душный, лифт, как это часто бывает у нас, выйдет из строя. Меня поддержала Нина Антоновна Ольшевская, но Анна Андреевна упрямо повторила:

— Я непременно приду. Должна прийти.

И пришла. До сих пор организаторы вечеров «Устной поэзии» в ВТО с гордостью вспоминают о том, что Ахматова у них была. Они даже прибавляют к этому, что Ахматова будто бы одобряла их вечера. А все дело в том, что Анна Андреевна своим присутствием хотела помочь немолодому, но неизвестному другу.

В 1961 году я закончил свою главную стихотворную работу — поэму «Техник-интендант». Анна Андреевна выразила желание послушать поэму. Ахматова жила тогда на проспекте Мира у Нины Леонтьевны Манухиной-Шенгели. Я часто бывал в этом доме, так как дружил с покойным Георгием Аркадьевичем, потом там собиралась комиссия по его литературному наследию, членом которой я был.

Поэму я читал обеим — Анне Андреевне и Нине Леонтьевне, читал долго, больше часа. Я заметил слезу на глазах Анны Андреевны.

Пришло лето. Анна Андреевна подарила мне свою маленькую книжницу в черном переплете, вышедшую в серии «Библиотека советской поэзии». Вот надпись:

«С. Липкину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз плакала.

Ахматова

6 июля».

У меня — несколько книг с добрыми надписями Анны Андреевны. Эта — самая драгоценная. Она была не только моей гордостью, — она для меня стала правом на существование в те восьмидесятые годы, когда на родине, в советской печати, я не существовал.

9 мая 1989

СИЛА СОВЕСТИ

С Борисом Слуцким я познакомился благодаря В. С. Гроссману, который, в свою очередь, услышал о Слуцком от Эренбурга. Слуцкий, служивший во время войны в армии в качестве юриста, принес Гроссману свои записки о солдатах и офицерах, судимых военным судом за различного рода преступления. Записки эти показались Гроссману чрезвычайно ценными, отлично изложенными. Он мне сказал, что материальные обстоятельства складываются у молодого литератора неважно, просил меня помочь Слуцкому раздобыть переводы и, конечно, послушать его стихи.

Слуцкий пришел ко мне на Беговую. Насколько я помню, произошло это еще в сталинское время, но, может быть, в ранне-хрущевское. Переводческий вопрос был решен быстро: я предложил Слуцкому перевести несколько стихотворений из одного сборника, который я тогда редактировал. Забегая вперед, скажу, что Слуцкий справился с этой новой для него работой на хорошем профессиональном уровне.

В день знакомства Слуцкий прочел мне много своих стихов. Некоторые из них вскоре стали знаменитыми, как, например, баллада о тонущих лошадях. Стало ясно, что мой гость принадлежит не к распространенному у нас виду сочинителей стихов, а к чрезвычайно редкой и драгоценной породе поэтов. Хотя те, от которых явно шел Слуцкий, — Маяковский, Асеев, Сельвинский были мне чужды, талант поэта был неоспорим в своей значимости и объемности. Оказалось, что литературные взгляды Слуцкого вовсе не были узкими, он понимал красоту и важность других наших поэтических направлений, отдавал должное Хлебникову, Цветаевой, Белому, Кузмину, Ходасевичу и даже Бунину, о стихах которого мало кто из советских стихотворцев тогда знал.

Собственные стихи Слуцкий читал не совсем обычно — ни в эстрадной манере левого толка, ни в спокойной классической. Казалось, он зачитывает рапорт или приказ, и при этом бесстрастными были его голос и глаза, да и весь его внутренний облик. Он знал, что и я не только перевожу, но и пишу в стол, послушал меня и, что называется, принял. Между

нами установились приятельские отношения, постепенно переходящие в дружеские.

Мне нравился характер Слуцкого. Человек серьезный, уверенный в себе, преданный друзьям. Убежденный коммунист, но противник Сталина. Поклонник Маркса, но читающий и порой почитающий Бердяева и других веховцев. Интересы широкие, не только литература, но и политика, история, живопись, и острое любопытство к людям, к повседневному быту. Не прочь был поделиться литературной или политической сплетней — кто ее не любит?

Гроссмана и меня он приохотил к художественным выставкам, приводил в мастерские художников, весьма разных, — к Тышлеру, к Сидуру, к Глазунову в крохотное ателье на Сретенке, к Вейсбергу. Прелестная его черта — желание, когда стал известен, помочь поэтам, молодым и не очень молодым, много тратил времени на то, чтобы пробить их сочинения в редакциях журналов, издательствах, подробно рассказывал о том, как движутся его усилия в этой области. Он привел ко мне Глазкова, Куняева, Лимонова, красивого блондина, который продал мне, рублей, кажется, за пять, машинописную тетрадочку своих стихов и предложил сшить мне брюки. Когда я сказал Слуцкому, что Глазков — талантливый, Куняев — способный, Лимонов — вздор, он обрадовался за Глазкова, горячо возражал против оценок двух других. Осторожно хвалил знаменитостей — Евтушенко, Рождественского, Вознесенского, отдавая предпочтение последнему. Ахмадулина его удивляла и умиляла. С большей симпатией отзывался о тогда менее известных Самойлове и Корнилове. О стихотворении Межирова «Коммунисты, вперед!» (а ставил он этого поэта высоко) сказал: «Сам-то он не коммунист, коммунист — я, в этом-то и наши расхождения. Хотя у него есть партбилет».

После войны Слуцкий, не имея собственного жилья в Москве, вынужден был снимать пристанище за большие для него деньги. Наконец Союз писателей предоставил ему и его жене Тане небольшую комнату в писательском доме на Ломоносовском проспекте, в коммунальной квартире. В Москве это называлось подселенка. Благодаря энергии Тани комнату в коммуналке удалось обменять на двухкомнатную квартиру в доме полу-барачного типа у самой рижской железной дороги. Таня превратила это бедное жилище в нечто уютное и милое. Мы сделали довольно близкими соседями, стали с Борисом видеться гораздо чаще, чем прежде, совершали прогулки по нашим аэропортовским местам. О чем говорили? О разном: о политике, о еврейском вопросе, о литературных делах, о прочитанных книгах по истории и философии, о стихах. Радость бесед заключалась в их откровенности.

Началась травля Пастернака в связи с выходом за рубежом «Доктора Живаго». Членов Союза писателей вызвали на общее антипастернаковское собрание. Сосед по писательскому дому, всегда внушавший мне недоверие, позвонил мне, приглашая в собственную машину. Я ответил, что мне надо в поликлинику, покинул дом, чтобы вернуться поздним вечером. Потом узнал, что такой же путь абсентеизма избрали все литераторы, счи-

тавшие себя порядочными людьми. На большую храбрость не осмеливались.

Вернувшись домой, я с помощью телефона узнал, что против Пастернака выступил Слуцкий. Через несколько дней он ко мне пришел без предварительного звонка. Он был небрит, его обычно бесстрастное, командирское лицо налилось краской. Вот что он мне рассказал.

Его, как члена партии, партком обязал уговорить обрушиться на Пастернака поэта Леонида Мартынова, с которым Слуцкий почтительно дружил. Кандидатура Мартынова нравилась парткому потому, что Мартынов был беспартийным, талантливым и негосударственным. Было известно, что Пастернак его ценил. Мартынов нехотя согласился, но за полчаса до начала собрания сказал Слуцкому: «А почему вы не берете слова? Я выступлю только в том случае, если выступите вы».

Растерявшись, Слуцкий повел Мартынова в партком. Секретарь парткома (забыл его фамилию) обратился к Слуцкому: «В самом деле, почему тебе не выступить? Леонид Николаевич прав». Слуцкий вынужден был согласиться. Все это он мне рассказывал зло, злясь, как я подумал, на себя. Но и я не был расположен к добродушной беседе:

— Боря, вы понимаете не хуже меня, что никакое общее собрание не может исключить из русской литературы великого поэта. Вы, умный человек, совершили поступок не только дурной, но и бессмысленный.

Слуцкий беспомощно возразил:

— Я не считаю Пастернака великим поэтом. Я не люблю его стихи.

— А стихи Софронова вы обожаете? Почему же вы не потребовали исключения Софронова?

— Софронов не опубликовал антисоветского романа за рубежом.

— Но ведь он уголовник, руки его в крови. И этого бездарного виршеплета вы оставляете в Союзе писателей, а Пастернака изгоняете?

...Когда Слуцкий тяжело заболел, я почувствовал, что не должен был с ним так разговаривать. Несколько лет назад Межиров сказал мне, что симптомы психического заболевания случались у Слуцкого и раньше, например сразу же после войны.

Пастернак умер. Когда я вернулся с похорон, домашние мне сообщили, что звонил Слуцкий. Я протелефонировал ему, мы условились о завтрашней встрече на углу Черняховского и Планетной. Слуцкий нервно стал меня расспрашивать о похоронах. Я рассказывал: у входа на ступеньках стояла Ивинская в траурном платье, из известных писателей я запомнил Паустовского, с которым стоял в почетном карауле, Каверина, Вознесенского, гроб с телом поэта несли на руках через поле, а напротив, вдоль забора, выстроились писательские и иные аппаратчики, я узнал Воронкова, тогдашнего секретаря Союза писателей по оргвопросам, на нас нацелили фотоаппараты, у могилы прекрасно, умно говорил В. Ф. Асмус, потом замечательно выступил молодой монах... Слуцкий вбирал в себя каждое слово. Мне стало его жаль.

Мы продолжали встречаться, читали друг другу свои стихи. Однажды, выслушав мою поэму «Техник-интендант», Слуцкий сказал:

— Хватит вам сидеть дома. Вот Тарковский наконец издал книгу. Теперь ваша очередь.

— Ничего из этого не выйдет.

— Выйдет. Дайте мне рукопись. Я отнесу в «Советский писатель».

И отнес. Мало того, сопроводил рукопись своей рецензией. Официальной силы рецензия не имела, так как Слуцкий не значился в списках рецензентов, утвержденном высшей инстанцией, но сочувственные, даже хвалебные слова известного поэта сделали свое дело. Книгой заинтересовались, ее дали на отзыв Адалис и Кожинуву, отзывы были положительные, и через три года, в урезанном виде, на 56-м году моей жизни, издали первую книгу моих стихов «Очевидец». Я храню в сердце благодарность Слуцкому.

Основной круг моих знакомых составляли переводчики, в смысле культуры — передовой отряд Союза писателей. Когда я начал общаться с советскими поэтами, меня удивили две их черты: они в большинстве своем были мало образованы и любили говорить о себе. Слуцкий был очень начитан, книгу любил, как жизнь, и крайне редко говорил о себе, только в случаях необычных. Вот один из них: готовилось выступление по телевизору известных деятелей литературы и искусства еврейского происхождения, направленное против агентов ЦРУ — сионистов, против государства Израиль, которым управляют «фашисты под голубой звездой». Я знал об этой акции, так как, хотя не принадлежал к известным, выступить предложили и мне: один из секретарей Союза писателей (московского отделения), генерал-лейтенант КГБ Ильин, прельстился такой коллизией: я — еврей и в то же время — народный поэт Калмыкии, здесь — дружба народов, там — фашистская нечисть. Чтобы закончить о себе: я немедленно вылетел в Душанбе для переводческой работы.

Слуцкого вызвали высокие инстанции, может быть ЦК КПСС (не ручаюсь за точность памяти). Слуцкий там сказал: «Меня интересуют заботы русского мужика, заботы израильского мужика оставляют меня равнодушными». Ответ, видимо, понравился, к Слуцкому больше не приставали.

Я ничего не знаю об интимной жизни Слуцкого до Тани, разговоры на такого рода темы Слуцкий не терпел (и в этом он отличался от своих сверстников — советских стихотворцев), я видел только, что Таню он любил всем своим существом, гордился ее красотой и умом — и было чем гордиться. Она заболела смертельной болезнью, и он боролся за ее жизнь, добился того (а это было нелегко), что она получила возможность лечиться во Франции, здоровье ее несколько улучшилось. Последние дни ее жизни мы — двумя семьями — провели в писательском доме творчества в Малеевке. Таня участвовала в наших беседах, молодая, прелестная, смеялась шуткам, воля у нее была сильная. Много гуляли, Слуцкий приравнивался к тому, что Таня и я (сердечник) шли медленно. Случалось, что Таня не выходила, ей недужилось, мы прогуливались вдвоем, о состоянии Тани Слуцкий сообщал отрывисто, кратко. Однажды он мне так же отрывисто, глядя не на меня, а в снежное пространство, неожиданно сказал:

«Мое выступление против Пастернака — мой позор». И замолчал. Молчание длилось долго.

Тане стало очень плохо. Инна Лиснянская находилась неотлучно у ее постели. Слуцкий вызвал «скорую помощь». Таню увезли в больницу. В больнице она скончалась. Мы хоронили ее в новом — дальнем — крематории. Во время похорон Слуцкий несколько раз благодарил Инну Львовну, видимо забывая, что повторяется. Держался он по-солдатски стойко, но напряжения не выдержал, заболел, слег в больницу.

Началась «метропольская» история, мы со Слуцким не встречались год или больше. Причина — наше с Инной Львовной особенное положение и болезнь Слуцкого. Случайно я встретился с ним на улице, пошли по направлению к его дому. Глаза у него были больные, неподвижные, он не смотрел на собеседника, пересохшие губы покрылись какими-то мелкими белыми точечками. Он сказал, глядя не на меня, а перед собой:

— У меня цензура выкинула из сборника шесть стихотворений. — Помолчал и добавил: — О вас и Инне слышал по радио. Ваш выход из Союза писателей не одобряю.

Когда мы проходили мимо нашего дома, я позвал его к нам пообедать. Он отказался:

— Привет Инне. Я помню ее заботу о Тане. — И замолчал, по-прежнему не глядя на спутника. У Ленинградского рынка прервал молчание: — Я был в поликлинике. Врачи мне не помогут. Я пропал.

— Вам прописали лекарства? Вы их принимаете?

— Я скоро умру.

Через некоторое время мы снова встретились на улице. В руках у него была сумка. Я опять позвал его к нам, он опять отказался, с безумным упорством просил передать привет и благодарность Инне. Сказал: «Я никого не хочу и не могу видеть. Кроме брата. Уеду к нему в Калугу (или в Тулу?). Я скоро умру».

Ему надо было в молочный. Их было несколько по дороге к его дому, но он повел меня в противоположную сторону, по направлению к «Соколу». Объяснил: «Там меня знают». И действительно, продавщица встретила его приветливо, как знакомого.

Я проводил его до дому. Он немного оживился, начал разговор на политические темы вполне разумно, но глаза его были как бы из замутненного стекла, болезненными казались подрагивающие губы и даже усы. Одет он был нормально, кепка, чистая куртка, но выбрит был плохо. Спросил меня:

— Вы пишете?

— Как это ни странно, и я и Инна пишем много, как никогда раньше.

— И я пишу много.

— Почитаем друг другу?

— Не могу. Я очень болен. Скоро умру.

Мы расстались у его дома. К себе он меня не позвал.

В годы, последующие за его смертью, опубликовано огромное количество его стихов. Поражает и огромность их содержания. Даты не всегда обозначены. Когда Слуцкий написал эти стихи — до болезни или во

время болезни? Жуковский говорил, что поэзия — это добродетель. Мандельштам считал поэзию сознанием своей правоты. Нельзя ли предположить, что поэзия — это сила совести и мощь этой силы побеждает страшную немощь безумия.

1992

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА

Среди моих бумаг почему-то оказалась копия следующего документа:

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что шинель специального корреспондента «Красной звезды» тов. подполковника Гроссмана В. С. за три года работы на фронте пришла в состояние полной изношенности.

Полковник (И. Хитров)

Полковник (П. Коломийцев)

Подполковник (Л. Гатовский)

28 июля 1944 г.

Каждая фраза этого акта по-своему замечательна. «Три года работы на фронте» — именно работы — в дыму, в огне атак, в грязи и снегу бездорожья, в пыли окопов, в крови раненых, в болотной, речной, озерной воде. Я видел в том же Сталинграде известных писателей — спецкоров центральных газет. Иные — не все — не чуждались передовой, ходили иногда вместе с бойцами в атаку, но их отчаянность, лихость были однодневными, одноразовыми, потом в землянках больших военачальников начиналась роскошная выпивка. «Это что-то нерусская храбрость», — вспоминается замечание Лермонтова о Грушницком. Храбрость Гроссмана была храбростью чернорабочего войны, солдата жестокой поэзии войны. В то время как его коллеги умудрялись каждый год, а то и два раза в году, одеваться в генеральских пошивочных, шинель Гроссмана «пришла в состояние полной изношенности». Вот в такой, залитой бензином, заляпанной грязью, шинели он запомнился мне в Сталинграде.

Если не считать той мелочи, что я остался в живых, мне на войне не везло. Я ее начал на Балтике, а там меня послали в морскую пехоту — в качестве корреспондента, конечно, но понимающие люди знают, что такое морская пехота на Ленинградском фронте. Пережив несколько месяцев блокады, я был временно откомандирован для работы среди войск

нерусской национальности в 110-ю кавалерийскую калмыцкую дивизию, в июле 1942 года мы попали в окружение в районе Мечетинской, больше месяца наш разрозненный отряд блуждал в степях по немецким тылам, мы вышли из окружения в районе Моздока в августе, а потом я был направлен в Сталинград, в Волжскую военную флотилию, труднейшую пору Сталинградской битвы находился на борту канонерской лодки «Усыскин», которая погибла, приходилось на бронекатерах переправляться и на правый берег, к полковнику Горохову на Рынок, и в родимцевский штаб в трубе. Однако все мои действия не были результатом моей личной смелости. Я не могу сказать о себе, что рвался в бой, — я просто подчинялся приказам.

Однажды комиссар «Усыскина» предложил пойти вместе с ним и двумя матросами по обстреливаемому немцами волжскому льду, чтобы передать письма, водку, еду повкуснее нашим морякам, установившим свой НП на чердаке одного из сталинградских полусгоревших домов на улице, занятой немцами. Комиссар мне только предложил, не приказал, он не был моим прямым начальником, и, если бы не стыд, я бы отказался.

Другое дело Гроссман. Он подчинялся не сталинградскому военному начальству, а московской редакции. Никто на фронте не мог ему приказывать. Но он с жадностью и отвагой художника искал истину войны, искал ее на той огневой черте, где смерть выла, пела над головой. Бог охранял его, он не был ни разу ранен. Его настигла не немецкая пуля, а другое страшное оружие.

На войне он был целомудренно чист, презирал тех литераторов, кто заискивал перед начальством, то униженно, то нагло выпрашивал награды и звания, кто ленился появляться на передовой. Был верен жене, в отличие от многих нас, грешных.

Его нравственную, а не только художественную силу чувствовали все. Порой боялись ее. Когда мы вступили в Германию и начались постыдные, дикие происшествия, кто-то из фронтовых стихотворцев, пародируя известную песню, сочинил:

Средь огня и насилий
Едет Гроссман Василий,
Только он не берет ничего.

Далее следовали строки об одном корреспонденте «Правды», родственнике дирижера Большого театра: «Серебро и посуду он везет Самосуду...»

В этих записках я хочу прежде всего рассказать о некоторых событиях, связанных со сталинградской дилогией «За правое дело» и «Жизнь и судьба». Я хочу рассказать о них не только потому, что этими событиями обозначаются последние годы жизни Василия Гроссмана, но и потому, что они с необычайной выпуклостью выявляют черты нашей литературы и — шире — нашей страны. Мне бы полагалось написать не только о том неизмеримо тяжком, что выпало на долю этих романов и свело преждевременно в могилу их создателя, но написать портрет одного из самых круп-

ных русских писателей нашего столетия, поскольку я единственный оставшийся в живых из его друзей, могу сказать, самый близкий его друг на протяжении двадцати с лишним лет. Однако я не чувствую себя сейчас достаточно готовым выполнить эту задачу полностью.

Наша духовная близость, наша будничная близость (если один из нас не был в отъезде, мы встречались ежедневно) не мешали мне понимать, что мой спутник-брат со всеми его мелкими, мне как никому другому открытыми недостатками намного выше меня и по таланту, и по своим душевным качествам. «Вася, ты же Христос», — говорил ему при мне Андрей Платонов, и я понимал, почему он так говорил.

Сосредоточив свое писание на истории вышеназванных романов, я все же чувствую, что обязан, хотя бы кратко, может быть, импрессионистично, кое-что рассказать и о самом Гроссмане, и о других его вещах последних лет, надеясь, что Бог пошлет мне годы и силы для более обстоятельного рассказа. Надеюсь и на то, что, если у меня найдется читатель, он не посетует на те отступления, на те беглые зарисовки, которые покажутся мне заслуживающими читательского внимания.

Нас познакомил незадолго до войны писатель С. Г. Гехт, наш общий приятель, мой земляк. Хотя литературный стаж Гроссмана к тому времени был невелик, его имя, по крайней мере в писательской среде, произносилось с уважением и было уже более громким, чем имя его почтенного однофамильца Л. П. Гроссмана, автора литературоведческих исследований и популярного романа о дуэли Пушкина «Записки д'Аршиака». Славу Василию Гроссману принес его первый небольшой рассказ «В городе Бердичеве», напечатанный в апреле 1934 года в «Литературной газете». Лучшие наши писатели открыли в Гроссмане человека оригинального таланта, подлинного художника. С похвалой о рассказе говорил мне Бабель: «Новыми глазами увидена наша жидовская столица». А Булгаков сказал: «Как прикажете понимать, неужели кое-что путное удастся все-таки напечатать?»

Позднее я узнал, что до этого рассказа Гроссман написал повесть «Глюкауф». Этим немецким словом, которое приблизительно переводится так: «Со счастливым подъемом», наши шахтеры встречали поднявшихся на землю из ее глубины своих сотоварищей. Гроссман по окончании химического факультета московского университета работал химиком-аналитиком на шахте «Смолянка-2» (он с гордостью говорил, что это самая глубокая, самая жаркая угольная шахта в нашей стране) и в своей повести, по-моему, превосходной, описал тяжелую жизнь донбасских шахтеров — забойщиков, крепильщиков, коногенов, — полную опасностей при плохой системе охраны труда, и такое описание вызвало недовольство Горького, которому Гроссман через посредство одной своей высокопартийной родственницы (впоследствии репрессированной) отправил свою рукопись. Горький ответил:

«Автор рассматривает факты, стоя на одной плоскости с ними; конечно, это тоже «позиция», но и материал, и автор выиграли бы, если бы автор поставил перед собою вопрос: «Зачем он пишет? Какую правду утверждает? Торжества какой правды хочет?»

Не странно ли, что Горький, обладавший крупным дарованием, а художественный дар всегда рождается от правды, мог предполагать, что правд имеется несколько. А ведь когда-то, осуждаемый Лениным, сам искал Бога — единственную правду...

На западе уже шла война, а в Москве стоял мирный светлый день, когда Гехт нас познакомил. И мы вчетвером (Гроссман был с женой Ольгой Михайловной) направились в летнее кафе-мороженое на Тверском бульваре, сели за столик. Я к тому времени прочел первую часть недавно вышедшего романа Гроссмана «Степан Кольчугин» и сказал, что роман отлично написан, но мне кажется непродуманным образ старого большевика Бахмутского — он скорее похож на старого меньшевика, и вряд ли во второй части судьба Бахмутского сложится благополучно, если автор будет правдив. Гроссман свернул пальцы рук, бинокликом приставил их к своим очкам, посмотрел на меня, а губы его улыбались. Он часто делал такой жест — биноклик из пальцев, если ему казалось, что собеседник что-то угадал. Кстати, не случайно вторая часть «Степана Кольчугина» так и не была написана.

Я подумал, что Ольгу Михайловну, большеглазую статную блондинку малороссийского типа, я где-то уже встречал. Впоследствии Гроссман рассказал мне историю своей женитьбы. Ольга Михайловна была женой писателя-перевальца Бориса Андреевича Губера (потомка поэта пушкинской поры Эдуарда Губера, переводчика «Фауста»).

Здесь я должен прервать рассказ, чтобы остановиться на перевальцах. Главой «Перевала», как известно, был А. К. Воронский, тот самый, которому Ленин после окончания гражданской войны поручил «собирать» новую советскую литературу. Не буду касаться программы «Перевала», я ее плохо знаю, вернее, никогда толком не знал, скажу только, как воспринимались перевальцы пишущей молодежью, мной и моими друзьями. Прежде всего — как порядочные люди, в отличие от рапповских разбойников: Авербах был той же самой породы, что и Софронов. А перевальцы хотели истинной, не прикладной, литературы, а главное, противопоставляли рапповскому национальному нигилизму искреннюю, бескарьерную любовь к России. Напомню, что это было в годы, когда само слово «Русь» считалось чем-то нелепым, глупо и даже враждебно старомодным. Рапповская критика с площадным визгом высмеивала строки Николая Зарудина (между прочим, как и Пильняк — немца): «Хорошо это счастье — поплакать над могилкою русской души». Костяк «Перевала» составляли, помимо Воронского, Иван Катаев, Николай Зарудин, Ефим Вихрев (автор первой работы о Палехе), Абрам Лежнев. К ним примыкал Пильняк. Был среди них и Петр Павленко. Считается, что он их погубил. Но, конечно, он был только орудием, перевальцы были обречены. Я был с ними немного знаком (ближе всех — с А. З. Лежневым и Борисом Пильняком), потому что в Москве писателей было мало, не то что нынешнее многотысячное поголовье, и все печатавшиеся в толстых журналах близко ли, далеко ли знали друг друга, начинающие и известные.

Когда «Перевал» был разогнан, но еще не репрессирован, я однажды встретил на узкой лестнице Гослитиздата на Большом Черкасском

А. К. Воронского, спросил его о здоровье, об А. З. Лежнев. «Разойдись, иудеи, по своим шатрам», — ответил мне своим семинарским голосом бурсак-большевик и удалился в ту комнату, где работал одним из рядовых редакторов. Это, кажется, было за год до его ареста. А был он еще не стар, крепкий, красиво седеющий.

Гроссман, приехавший в Москву из Донбасса после развода со своей первой женой, был радостно встречен перевальцами, подружился с ними. Я думаю, что в дебютном рассказе Гроссмана их привлекал образ Вавиловой, написанный без ангажированного романтизма тех лет. Вавилова, комиссар Красной Армии, лежит в бердичевской хате беременная. Идет гражданская война, а комиссар — беременная. Это должно было понравиться перевальцам. Так еще никто не писал о девушках в походной шине.

И вот Гроссман влюбился в Ольгу Михайловну. Настал 1937 год. Бориса Губера, в числе других перевальцев, арестовали. Вскоре взяли и Ольгу Михайловну. На попечении Гроссмана оказались два мальчика, Миша и Федя, дети Губера и Ольги Михайловны. Гроссман мне рассказывал: «Ты не представляешь себе, какова жизнь мужчины, у которого на руках маленькие дети, а жена арестована». И тут он совершил один из тех поступков, которые делал Гроссман — Гроссманом. Он написал все-сильному железному наркомку НКВД Ежову письмо, в котором сообщал, что Ольга Михайловна — его жена, а не Губера и поэтому не подлежит аресту. Казалось бы, это само собой разумеется, но в 1937 году только очень храбрый человек осмелился бы написать такое письмо главному палачу государства. И, к счастью, письмо неожиданно подействовало: просидев около года в женской тюрьме (она помещалась в переулке за теперешним зданием американского посольства), Ольга Михайловна была выпущена на свободу. К слову сказать: Ольга Михайловна говорила, что по тюрьме пошел слух, будто бы там в это время сидела Мария Спиридонова.

Когда мы с Гроссманом познакомились, я чувствовал, что он счастлив. Литературный успех, особенно ощутимый после полунищенской, одинокой жизни донбасского инженера (первая жена и дочь Катя жили отдельно в Киеве), новые умные, интересные друзья, красивая жена. «Меня поразило: какие красивые жены у писателей», — говорил он мне, когда мы сблизились и когда он вспоминал о своих первых шагах в литературе. Он был высокого роста, курчавый; когда он смеялся, а смеялся он в те дни часто, не то что потом, на щеках у него появлялись ямочки. Не-обыкновенными были его глаза — близорукие, одновременно пытливые, допрашивающие, исследующие и добрые: редкое сочетание. Женщинам он нравился. От него веяло здоровьем. Тогда я еще не знал, что он боялся переходить московские площади и широкие мостовые: общая болезнь с другим моим великим другом — Анной Ахматовой.

В кафе-мороженом Гехт предложил мне кое-что почитать. Я прочел два или три стихотворения. Гехт и Ольга Михайловна выслушали их равнодушно, а Гроссман сказал: «Хлебопек» — и пояснил: в девятнадцатом веке поэты были хлебопеками, в двадцатом стали ювелирами. Через

много лет он высказал мысль о хлебопеках и ювелирах в последней своей книге «Добро вам», о которой я кое-что расскажу.

После первой последовали другие встречи то у него в коммуналке на улице Герцена против консерватории, то у Гехта, то у Фраермана, куда приходили также Паустовский, Осип Черный, иногда Гайдар. Гроссмана и меня потянуло друг к другу. Наши встречи прервала война. На пятый ее день я был мобилизован и вместе с Александром Кроном и Леонидом Соловьевым (автором «Возмутителя спокойствия») был направлен в Кронштадт, а Гроссман стал сотрудником «Красной звезды» и отправился на передовую. Мы свиделись только в октябре 1942 года в Сталинграде, где базировалась наша Волжская военная флотилия, — вернее, на левом берегу Волги, против Сталинграда. Свиделись мы не случайно. Он знал, что я близко от него. К тому же он захотел побеседовать с моряками. Он был худ, небрит, в грязной шинели, испытующие, исследующие его глаза блестящие одушевлением. Мы выпили водки в каюте, которую я делил с начальником БЧ-5 (машинное отделение), потом сошли на берег, чтобы поговорить по душам, без посторонних. Я к тому дню был на сталинградском фронте всего лишь две недели, а он успел уже пройти через все круги августовского и сентябрьского ада, уже был опален тем сталинградским пожаром, который он впоследствии так мощно описал в романе «За правое дело». Между прочим, я ему сказал, что у нас каптеркой ведает мичман, украинец по фамилии Шульц, он всем нужен, на берегу моряки кричат: «Шульц!», и это испугало приехавшего из Москвы важного политработника. Тот со страха решил, что немцы высадились на наш берег. Есть у нас, добавил я, еще один моряк с громкой немецкой фамилией, командир бронекатера старшина Каутский, но он еврей. Гроссман усмехнулся, потом сказал с укором: «Анекдоты, анекдоты, а люди гибнут. И какие прекрасные люди. Сталинград почти весь в руках немцев, но здесь будет начало нашей победы. Вы согласны со мной?»

Я ответил, что в военных делах разбираюсь плохо, на все воля Божья. Гроссман не сомневался в том, что идет война между интернационализмом и фашизмом. Эта война, по его мнению, смывает всю сталинскую грязь с лица России. Святая кровь этой войны очистила нас от крови невинно раскулаченных, от крови 37-го года. Я не помню дальнейших его рассуждений, но приблизительно он говорил то, что написал в романе «За правое дело»: «Партия, ее Цека, комиссары дивизий и полков, политруки рот и взводов, рядовые коммунисты в этих боях организовали боевую и моральную силу Красной Армии».

Я проводил его до Средней Ахтубы, где он должен был сесть в машину. Длинный путь мы прошли почти молча, холодно расстались, недвольные друг другом.

В Сталинграде мы больше не встречались. Я не помню, когда он оттуда уехал. Хорошо только знаю, что нашего вступления в город он не видел. Я ему рассказывал, как в победную ночь на 3 февраля мы, моряки, шли по льду Волги с хлебом и водкой для жителей, с гармошками, с многоцветными ракетами.

Сталинградские очерки Василия Гроссмана, которые регулярно печатались в «Красной звезде», самой читаемой газете военных лет, сделали его имя широко известным и в армии, и в тылу. Кажется, некоторые из этих очерков публиковались за рубежом. Особенно знаменит был очерк «Направление главного удара», в котором слышался вопль воздуха, раскаленного авиабомбами, грохот, которым «можно было оглушить человечество», горел огонь, которым «можно было сжечь и уничтожить государство». Сталин приказал «Правде» перепечатать очерк из «Красной звезды», несмотря на то что не любил Гроссмана. Было известно, что Сталин еще до войны самолично вычеркнул «Степана Кольчугина» из списка произведений, представленных на соискание Сталинской премии, единогласно утвержденного комитетом по этим премиям. Сталин назвал роман меньшевистским. Между тем в ночь накануне опубликования списка лауреатов Гроссману звонили из главных газет страны, поздравляли. Потом, через несколько лет, Гроссман, рассказывая мне об этом, заметил, лукаво смеясь: «Ты проявил классовое чутье, твое мнение совпало со сталинским».

«Направление главного удара» привлекло к себе всю страну. Точность деталей, пылающая правда сражения рождали мысль о том, что «героизм сделался будничной, каждодневной привычкой». «Вы теперь можете получить все, что попросите», — сказал Гроссману Эренбург. Но Гроссман ни о чем не просил.

Известность его упрочила повесть «Народ бессмертен», первая сравнительно большая вещь об Отечественной войне. Даже после опубликования за рубежом повести «Все течет» и романа «Жизнь и судьба» эта повесть, хотя и гораздо реже, чем прежде, упоминается в нашей печати в почетном перечислении. Написана она выразительно, но сердца моего не затронула.

Летом 1943 года меня вызвал в Москву Военмориздат, который выпускал отдельной книжкой мой очерк боевых действий канонерской лодки «Усыскин». Я должен был кое-что исправить, учесть, как водится, замечания редактора. Не скрою, что я обрадовался вызову, возможности поехать в Москву.

Оказалось, что в столице находятся Гроссман и Платонов: они приехали с передовой на какое-то совещание военных корреспондентов. Где мы встретились — не помню, может быть, в Доме литераторов, в восьмой комнате которого кормили сносными, а для военного времени весьма сытными обедами писателей-фронтовиков, вызванных по тому или иному делу в Москву. Были среди них и такие, которые фронта не нюхали, их называли земгусарами.

Мы с Гроссманом крепко обнялись, холод сталинградской встречи был забыт. Я не сразу узнал Платонова в форме армейского капитана, мы с ним были и прежде знакомы, но шапочно. А Платонов, увидев меня, пробормотал несколько насмешливо: «Моряк красивый сам собою». Думаю, что с Платоновым Гроссман подружился во время войны, оба служили в «Красной звезде».

Однажды, рассказал мне Гроссман, им пришлось зимой ехать по фронтовой дороге вдвоем в машине. Водителем у них был татарин, пожилой, низкорослый и некрасивый. Фамилия его была Сейфутдинов, а Платонов называл его Сульфидиновым. Этот Сульфидинов пользовался большим успехом у женщин. Продрогшие, усталые, они остановились в прифронтовой избе. Нестарая хозяйка бросила быстрый взгляд на водителя. «Сульфидинов, — сказал Платонов, — забрось палку, а нам скажи зажарить яичницу».

Мы условились вечером встретиться у Платонова, поскольку семья Платонова в эвакуацию не выезжала и, значит, у него был какой-то домашний уют. Решили, что каждый постарается достать выпивку.

Теперь о Платонове пишут, что он чуть ли не работал одно время дворником. Это вздор. У Платонова была в доме Герцена отдельная (тогда большая редкость) квартира из двух светлых смежных комнат, семья его не голодала, хотя каждая копейка была на счету. Платонова преследовали с первого дня его вступления в литературу. На полях «бедняцкой хроники» «Впрок» Сталин написал одно слово, кажется «сволочь», и с тех пор пошла писать губерния.

Фадеев, редактор «Красной нови», в которой «Впрок» был опубликован, обрушился на Платонова со статьей о вылазке классового врага. Вслед за Фадеевым начали топтать Платонова его клеветы. Среди них мне запомнился Гурвич, впоследствии — несчастный, преследуемый космополит. Ветхозаветный Бог мести наказал Гурвича. Что же касается Фадеева, то он в этом, как и во многих других, случае был неискренен. Он ценил Платонова, у него вообще был недурной вкус, чуткость к слову, но он всегда с варфоломеевским исступлением выполнял указания Сталина.

Несмотря на страшный отзыв вождя, Платонова не тронули. Но все, что он публиковал, всегда подвергалось такой губительной критике, что все думали: судьба его предрешена. Он жил трудно, его одолевали материальные заботы, ради заработка он то писал с Фраерманом пьесу для детей, то занимался обработкой сказок. Но его талант был настолько оригинален, что даже работы, написанные ради хлеба насущного, вызывали недоумение в редакциях и редко печатались и оплачивались.

В те годы значение литературной среды было большим, чем сейчас (да и есть ли эта среда сейчас?), ее мнения соперничали с государственными, были достаточно влиятельны, и существовали писатели, которые произносили имя Платонова уважительно, нередко с восхищением. Журнал «Литературный критик» вдруг, отступая от своего профиля, опубликовал рассказы Платонова, вызвав гнев литературного и нелитературного начальства. В этом журнале, где главенствовали политэмигрант, венгерский философ-марксист Георг Лукач, и другой марксист, Михаил Лившиц, охотно помещались критические статьи Платонова, подписанные псевдонимом Человеков. Может быть, псевдоним этот не случаен: Платонов говорил, что хотел бы написать роман «Путешествие в глубь человека» — название пародировало популярные книги вроде «Путешествия в глубь Африки» и т. п.

Критические статьи Платонова мне не нравились, за редким исключением, например, у него была прекрасная статья об Ахматовой. Его литературные взгляды не раз меня поражали. Он считал, что в «Войне и мире» Толстой пренебрег правдой о тяжелом положении русских крепостных крестьян. Восхищаясь Горьким, ставил его выше Бунина. Из современных поэтов особенно ценил Ахматову и Есенина, не принимал Мандельштама и Пастернака. Говоря о молодежи, хвалил рассказы Бокова.

Вспоминается замечание Платонова по поводу одного места в поэме Пастернака «Высокая болезнь». Пастернак пишет, что вокзал в годы военного коммунизма

...спорил дикой красотой
С консерваторской пустотой
Порой ремонтов и каникул.

Платонов говорил: «Писатель, заботясь о читателе, сравнивает неизвестное либо с малозвестным, либо с известным. Пастернак поступает наоборот: вокзал, хорошо знакомый миллионам людей, уподобляется консерватории в пору каникул. А многие ли видели консерваторию в эту пору?»

Я возразил: Пастернак смотрит на опустевшую консерваторию глазами человека, хорошо знакомого с консерваторским бытом. Платонов не принял моего возражения.

Я прочел ему стихотворение Волошина «Дом поэта». Оно ему понравилось, он задумчиво повторил: «При жизни быть не книгой, а тетрадкой». Он, когда ему читали, не высказывался, а несколько раз повторял понравившееся ему выражение, и оно в его устах приобретало особый, значительный смысл. Так, он повторил одну строку из моих стихов «За топтать свои следы», и я понял, что он придал этой строке, как и строке Волошина, смысл, выстраданный собственной жизнью.

Когда Гроссман читал нам главы из романа «За правое дело», Платонов тоже не высказывался, а повторял после чтения запавшие ему в душу выражения, например: «Отставить матерки!» или «Хана» — и перестал существовать», — это относится к фразе о водителе: «Возник нарастающий вой бомбы, он прижал голову к баранке, ощущая всем телом конец жизни, с ужасной тоской подумал «Хана» — и перестал существовать».

При мне Платонов читал две свои вещи: чудесную «Джан», где с библейской простотой и живописностью рассказал о маленьком племени («джан» по-персидски — «душа»), кочующем в советские годы в пустыне, и рассказ о солдате, вернувшемся к жене, которая ему изменила, пока он воевал. И, читая, Платонов в смешных местах смеялся первым.

Я не помню каких-либо пространных высказываний Платонова, обычно он как-то хмыкал, что-то бормотал под нос, поджимал губы. И это хмыканье, бормотанье, поджиманье губ казались мне значительнее и умнее многих слов. Но он умел кратко и красочно определить самую суть дела.

Об одной литературной дискуссии он сказал: «Совокупление слепых в крапиве». В тот вечер в июле 1943 года, когда мы собрались в его доме (и

Гроссману, и мне удалось достать водку по талонам) и выпили по граненому стакану, я взял со стола кусок американской колбасы из фронтového пайка, кусок показался Платонову слишком большим, и наш хозяин выразился обо мне так: «Садист на закуску». Как-то уже после войны мы зашли к Платонову, и Гроссман, поддразнивая его, сказал: «Что-то, Андрияша, давно тебя в прессе не ругают», а Платонов серьезно ответил: «Я теперь в команде выздоравливающих».

Во время этой встречи заговорили о том, что в печати мощным потоком движутся на нас произведения, лишённые не только таланта, но и профессионального умения. Платонов сказал: «В литературу попер читатель».

В моей памяти осталось только одно распространённое предложение Платонова, касающееся вопросов литературы. Он говорил, что не всякое угодливое слово нравится властям: надо, чтобы это лакейское слово было сказано вовремя. Не годится, если оно произнесено с опозданием, и оно часто вызывает гнев, если высказано до срока, — власти терпеть не могут забегальщиков.

Запомнилась мне и такая черта Платонова: его не удивляло самое сногшибательное, порой нелепёйшее сообщение, касалось ли оно политических событий или литературных. В ответ на такое сообщение он всегда спокойно произносил одну и ту же фразу: «Свободная вещь».

К Платоновым был вхож необычный гость — Шолохов. Видимо, он понимал значение Андрея Платоновича, порой заступался за него, добывал для него литературную работу. Очень гордилась таким знакомством Марья Александровна, жена Платонова, красивая, «холодная и злая», если употребить выражение Андрея Белого. Много в её характере было мне и Гроссману чуждо, но подчеркну её преданность таланту мужа. Марья Александровна считала, что Платонов выше всех писателей, незаслуженно, по её мнению, знаменитых, а такую преданность писательской жены надо ценить.

Среди литераторов нашего круга никто не знал Шолохова, и Гроссман спрашивал: «Ну, скажи, какой он? Умный?» Но Платонов в ответ бормотал что-то невыразительное.

Гроссман всегда живо интересовался Шолоховым — автором первоклассного, по его мнению, романа «Тихий Дон» и весьма посредственной «Поднятой целины». Низкопробными он считал различные его выступления. У Платоновых я упомянул о таком эпизоде. Член Военного совета нашей флотилии взял меня с собой в конце февраля 1943 года в Камышин. Я должен был описать в газете церемонию вручения награды тяжёло раненым морякам, находившимся на излечении в камышинском военно-морском госпитале. Оказалось, что в Камышине в большом, видимо, бывшем купеческом доме живёт с семьёй полковник Шолохов, живёт безвыездно, как сообщили жительницы города.

После вручения наград состоялся банкет, на который был почтительно приглашён Шолохов. Предоставили ему слово. Покалеченные войной, безногие, безрукие, ослепшие ждали, что им скажет любимый русский писатель. Шолохов посреди напряжённого молчания произнес тост: «Вы-

пьем за Советскую Украину». И больше ни слова. Гроссман очень удивился. «Вы слышали? — переспрашивал он, потом сказал: — Человек-загадка». А Платонов пробормотал: «Слова из сердца выходят редко, из головы чаще».

Они любили друг друга — известный в ту военную пору, признанный Государством член правления Союза писателей Гроссман и гонимый Платонов, чье имя долго ничего не говорило широкой массе читателей. У них было много общих черт, но чувствовалось и различие в каждой из черт. Оба ненавидели и презирали лакейскую литературу, и даже у писателей, считавшихся приличными, даже у тех, с кем приятельствовали, терпеть не могли полуправду, позерство, пустословие, выверты.

Но Гроссман не только в своих писаниях, но и в своих вкусах, относилось ли это к литературе, живописи или музыке, был более привержен традиции, русской и западноевропейской классике девятнадцатого и начала двадцатого века, а Платонов в своих суждениях был независимей. Оба чувствовали влечение к простым людям, к рабочим, крестьянам, но у Гроссмана это шло от социал-демократических воззрений его юности, может быть, внушено ему отцом, Семеном Осиповичем, в прошлом меньшевиком, а у Платонова — от преклонения перед простейшими проявлениями жизни в природе, в человеческом обществе.

Помню, с каким ликованием говорил Платонов о своей работе машиниста: «Паровоз в исправности, и ты летишь, тебе навстречу земля и небо, и ты хозяин всего простора мира». Оба, и Гроссман, и Платонов, не верили в Бога, но над моими религиозными чувствами не смеялись, как это делали многие мои сверстники. Я бы сказал, что оба исповедовали материалистическую философию, но Гроссман, по крайней мере, до определенного времени считал себя марксистом, а материализм Платонова был пантеистическим, чем-то близким мировоззрению Федорова. Я как-то рассказал обоим сюжет из индийской «Махабхараты».

Паломники, направляясь к месту поклонения, видят на пути коровьи лепешки и, боясь, что даже взгляд на нечистоты загрязнит их благочестивые намерения, спешат омыть свое тело в реке. Но тут же из лепешек восстает бог Индра и говорит им: «Жалкие люди, это я превратился в коровьи лепешки, ибо нет на земле ничего чистого и нечистого».

Гроссман сказал: «Интересно». А Платонов медленно повторил: «Нет на земле ничего чистого и нечистого».

Длинное это сопоставление я заключу тем, что оба охотно выпивали, но Гроссман любил и вкусно закусывать, к чему Платонов был равнодушен. Разница была и в том, что Платонов, в отличие от Гроссмана, пил с кем попало, лишь бы его угощали, ведь на выпивку денег ему обычно не хватало. Он мог выпивать и с грязным черносотенцем. Гроссмана это возмущало, он был требователен к себе и властно требователен к друзьям, кричал на Платонова, но при этом, как всегда, смотрел на Платонова влюбленными глазами. И такими же глазами смотрел Платонов на Гроссмана.

После войны мы иногда втроем сживали на Тверском бульваре против окон Платонова. Любимым занятием было сочинять истории о том

или ином заинтересовавшем нас прохожем. Я это делал бледно, не обо мне речь, а Гроссман и Платонов в этой забаве проявляли каждый свои свойства. Изустный рассказ Гроссмана изобилует подробностями, если он считал, что прохожий — бухгалтер, то уточнял: на кондитерской фабрике, если — рабочий, то мастер на электрозаводе. Далее шли портреты жены, детей, старого пьяницы-отца, можайского мужика, много юмора и печали. Не то — рассказы Платонова. Они были бессюжетны, в них рисовалась внутренняя жизнь человека, необычная и в то же время простая, как жизнь растения.

Вот так мы сидели как-то в жестокую пору борьбы с космополитизмом на все той же скамейке. Гроссман пошел на угол к табачному киоску, и в это время к нам приблизился шаркающей походкой профессор-стихолоб, милейший старик Иван Никанорович Розанов, и сказал, широко улыбаясь, показывая длинные редкие зубы: «Чувствуете, как воздух очистился, чесноком стало меньше пахнуть», — и удалился, опираясь на палку. Видимо, он по старости забыл о моем происхождении. Когда Гроссман вернулся с папиросами, я рассказал о происшествии. Гроссман сначала опешил: «Такой чудный старик», потом набросился на меня и на Платонова, кричал, как это мы не нашли ответа на противные слова, покорно их выслушали, матерился. Платонов вяло говорил: «Брось, Вася», но был смущен. В «Жизни и судьбе» фразу Розанова произносит старик педагог.

Когда Платонов заболел (он заразился туберкулезом от своего несчастного умирающего сына — в каком-то безумии целовал его в губы), Гроссман навещал его почти каждый день. Один раз мы пришли вместе. Никогда не забуду колюче-светящейся долгой тоски в запавших глазах Платонова, его пожелтевшее худое лицо, тихий частый кашель.

Смерть Платонова потрясла Гроссмана. При этом, как он мне писал, выехав после похорон за город, он еще измучился «из-за похорон и хлопот, которых никто из писателей в Союзе пис[ате]лей не взялся делать».

Я помню проникновенную речь, которую Гроссман произнес над гробом друга в присутствии немногих пришедших почтить память покойного в Союз писателей (а наша кучка еще больше поредела, когда мы хоронили Платонова на маленьком чистом армянском кладбище напротив Ваганьковского). Речь Гроссмана содержала в себе насыщенную умом и болью характеристику драгоценного писателя, умершего недооцененным, почти в безвестности. Напечатать эту речь долго не удавалось, не желали. В январе 1960 года Гроссман мне писал:

«Предложили мне из Радиокomiteта выступить по радио об Андрее Платонове. Я согласился, написал маленькую статью. Посмотрим, выйдет ли что-нибудь. Может быть, в жанре акына мне больше повезет».

Статью, основанную на речи на похоронах, Гроссман по радио прочел — это было первое разумное и достойное слово, сказанное в России о Платонове. В виде рецензии на посмертно вышедшую книгу Платонова статья была напечатана в «Литературной России». Еще о Платонове мало знали, когда Гроссман писал: «А. Платонов — писатель, пожелавший разобрат[ься] в самых сложных, а значит, в самых простых основах челове-

ческого бытия». Поразительная по своей глубине и изящной, математической краткости формула! Гроссман иначе вел свой поиск, чем Платонов, но оба искали одного и того же, и не случайно Гроссман сказал о своем друге, что Платонов «не стал бы писать, если б неутомимо, испуленно и безудержно, всегда и повсюду, не искал человеческого в человеке».

До конца своей жизни Гроссман не переставал вспоминать Платонова, перечитывать его. В одном из поздних своих писем он мне писал:

«Читаю рассказы Платонова. Большущая сила в них — «Такыр», «Третий сын», «Фро». Словно в пустыне слышишь голос друга — и радостно и горько. Человек написал книгу, а это не шутка».

В 1943 году Гроссман приступил к роману «За правое дело». Помню, что Гроссман мне об этом сказал после пережитой им трагедии. Его семья жила в эвакуации в Чистополе, и старшего пасынка Мишу взяли в чистопольский военкомат на допризывное обучение. Во дворе военкомата взорвалась бомба, и Миша погиб. Ему еще не было шестнадцати лет. Ольга Михайловна мне рассказывала, что могилу копал их чистопольский сосед Борис Пастернак, делал это очень умело, с его помощью в татарском городе нашли священника, похоронили мальчика по православному обряду. Горе Ольги Михайловны живет на страницах «Жизни и судьбы» — там, где жена Штрума Людмила Николаевна (Ольга Михайловна вообще ее прототип) приезжает в Саратов на могилу сына, умершего после тяжелого ранения в госпитале.

Гроссман построил «За правое дело» так, как военачальник строит свои войска. Мы видим быстрые переброски героев, молниеносные концентрации отдельных фабул, маневры и подвижность сюжетных линий, словесные контрудары и прорывы флангов, скорости моторизованного оружия фраз и картин. Не случайно некоторые знакомые мне молодые прозаики, а их можно назвать авангардистами, — очарованы конструкцией обоих романов, с которыми познакомились после выхода на Западе «Жизни и судьбы».

Автор не только не скрывает, но нарочно подчеркивает сходство плана книги «За правое дело» с планом «Войны и мира». У Толстого в центре романа — семья Ростовых, у Гроссмана — семья Шапошниковых. У Толстого «за автора» говорит и размышляет Пьер Безухов, у Гроссмана — Штрум. И если семья Ростовых биографически близка Толстому, то сестры Шапошниковы — это Ольга Михайловна и ее сестры. И от толстовской мысли о дубине народной войны происходит мысль Гроссмана о том, что в роковые часы гибели Сталинграда — «в крови и в раскаленном каменном тумане рождалось не рабство России, не гибель ее... Неистребимо жила и упрямо пробивалась сила советского человека».

Параллель с планом «Войны и мира» была откровенным приемом и приемом осталась. Степени сравнения с «Войной и миром» достигает не «За правое дело», а «Жизнь и судьба» — вершина творчества Гроссмана. Но и «За правое дело» — один из самых значительных романов советского периода русской литературы.

Еще до выхода «Жизни и судьбы» отдельным изданием читатель зарубежного журнала «Время и мы» мог познакомиться с главой из романа. Глава выбрана важная, сильная; предварительная статья Е. Эткинда — умная, дельная, я бы сказал — отличная. Будущие читатели будут благодарны С. Маркишу (сыну поэта) и Е. Эткинду за ту огромную, трудную работу, которую они проделали, опубликовав роман полностью. Заслуживает похвалы и предисловие Е. Эткинда к отдельному изданию, но в предпосланной роману безымянной заметке «От издательства» есть одно место, с которым никак нельзя согласиться. Автор заметки, полагая, что до «Жизни и судьбы» Гроссман был обычным, благополучным советским писателем, считает, что «За правое дело» — обыкновенный роман сталинской эпохи — в одном ряду с «Белой березой» Бубеннова и симоновскими «Днями и ночами».

Против этого я должен, я обязан резко и доказательно возразить.

Прежде всего, Гроссман не был благополучным советским писателем. В литературе он понадобился на краткое время для войны — так же как для нее понадобились все умные, храбрые и умелые солдаты и офицеры. Надо отдать должное и писателям — не случайно среди них так много павших на полях войны. Но из тех литераторов, кто до войны вовсю трубил о героизме, о своей боевой готовности сражаться за Родину, одни, оказавшись на фронте, заболели медвежьей болезнью (буквально), другие сдавали свою мочу на анализ, чтобы не попасть в армию, третьи, надев военную форму, ловко отсиживались в тылу, а скромный, близорукый Гроссман, а гонимый Платонов с талантом и бесстрашием несли свою воинскую службу. Да, был жизненный взлет, но еще шла война, когда очерк Гроссмана «Украина без евреев» вызвал злобу начальства и был с большим трудом напечатан во второстепенном издании. А разгром вскоре после войны пьесы «Если верить пифагорейцам»? А мучительный, страшный, долгий путь романа «За правое дело», когда мы с Василием Семеновичем затаились у меня на даче в Ильинском и каждый ночной порыв ветра, стук ставен, шаги на безлюдной улице пугали: «Они пришли». Да и само «За правое дело» с его реалистическими портретами простых людей, крестьян, рабочих, измученных женщин, с горькой правдой советской обыденной жизни, с гениальным описанием Гитлера, и пожара в Сталинграде, и гибели батальона Филяшкина, и встречи майора Березкина с женой, — нет, это не обыкновенный роман. Как можно было его уподобить плоским, ныне забытым «Дням и ночам» или «Белой березе»? И разве на обыкновенный советский роман обрушился бы столь тяжелый удар, который чуть не уничтожил и «За правое дело», и самого автора?

Надо сказать: если героям романа, написанным творящим пером, суждена долгая жизнь, то рассуждения автора примут не все читатели. «За правое дело» писалось в пору перелома Отечественной войны, когда, после того как немцы водрузили флаг со свастикой на Эльбрусе, Красная Армия погнала их назад, освобождая русские, белорусские, украинские села и города. Гроссман-художник решил ответить на вопрос: как мог произойти такой перелом в ходе войны? И отвечал: побеждали люди, ко-

торые жили и воспитывались в вере в интернациональное равенство трудящихся, побеждали рабочие и крестьяне, ставшие управителями России. К тому же топор, занесенный противником над нами, «был топор, занесенный над человеческой верностью свободе, над мечтой о справедливости, над радостью труда, над верностью Родине». По разумению Гроссмана, верховное командование знало об «уже реально существующем превосходстве советской силы над немецким насилием».

С такими мыслями Гроссман начал писать свой роман. Подчеркивая разум верховного командования, он тогда не думал о том, что нас ведет другой, истинно Верховный Разум.

Как-то в пятидесятых годах, незадолго до венгерских событий, мы, пообедав в шашлычной в парке Горького и слегка захмелев, заспорили о прошедшей войне. Спор разгорался, мы, как безумные, бегали по аллеям парка и кричали каждый свое, наконец сели в изнеможении на скамью, но спор продолжали и опомнились только тогда, когда увидели рядом сидящего и прислушивающегося к нам человека. Опомнились и испугались. Среди героев военных очерков Гроссмана был полковник (впоследствии маршал бронетанковых войск) Бабаджанян, с которым Гроссман поддерживал знакомство, начатое на войне. Я его не знал, но во время нашего спора высказал некоторые предположения о том, как он и такие, как он, повели бы себя в чрезвычайных обстоятельствах. И вот вскоре после нашего сумасшедшего спора Гроссман узнал, что Бабаджанян участвовал в подавлении венгерского восстания. Гроссман мне позвонил, предложил: «Давай выйдем» (мы уже были соседями по Беговой) и, ничего не объясняя, сказал в трубку: «Дьявол, ты как в воду смотрел».

Вернись к книге «За правое дело».

Уже с первых страниц романа советский читатель узнает то, о чем ему не сообщали государственные писатели. Старый крестьянин Пухов убежден, что на крестьянине всегда государство стоит, а государство, оно тяжелое. Нынешнюю жизнь он считает хуже прежней, при царе, — и заключает: «Только бы не колхозы». С сочувствием, немислимым для других советских писателей сталинского времени, говорит Гроссман о репрессированных «врагах народа» — о сыне старухи Шапошниковой Дмитриии и об Абарчуке, о работавших на стройке, рядом с комсомольцами, раскулаченных, «а мороз для всех один». И были «овраги, пыль, бараки, проволока». Так другие советские писатели стройку не изображали, разве что намекал Малышкин. О стройке пел Маяковский: «Я знаю, город будет», но в пасторали агитатора и главаря нет репрессированных, нет проволоки. В блиндаже, под грохот разрывов, гул дальнобойных пушек, цоканье зениток, расспрашивает начальник отдела кадров подполковника Даренского — где его жена, а Даренский ничего не знает о жене, он до войны сидел.

Я мог бы привести еще десятки, сотни подобных мест, но суть, в конце концов, не в них, суть в том, что «За правое дело» всей лексикой своей, всей музыкой, всей живописью, всем пристальным вниманием к таким подробностям быта, человеческих отношений, на которые сознательно закрывала глаза чиновничья литература, всем способом рассуждать (а рас-

суждения сверх положенного, даже в марксистском духе, не поощрялись, раздражали), наконец, всем своеобразием, всей неуправляемостью истинного таланта было чуждо социалистическому реализму. А ведь иногда читаешь произведения, написанные с позиций несоветских, но не только их словесная оболочка — самый состав их так и прыщет социалистическим реализмом.

Хочу остановиться на одном персонаже романа. Среди неудач романа «За правое дело» я назвал бы фигуру старого большевика Мостовского. Правда, в «Жизни и судьбе», при встрече в немецком концлагере с одноглазым меньшевиком (кстати, отец Гроссмана — Семен Осипович — был одноглазым), Мостовской обретает плоть и кровь, но в романе «За правое дело» высказывания его кажутся мне пресными, оптимизм — казенным. Но и тут дело не так просто. Сталин преследовал старых большевиков, уничтожил их Общество, выгнал их из жилищ на улице Стопани, многих расстрелял или замучил на каторге, и Гроссман, рисуя Мостовского как идейного, образованного большевика дореволюционной закалки, бросает вызов Сталину. Заметим, однако, что зоркость Гроссману не изменила. Мостовской, который, решив остаться в занятом немцами Сталинграде, хвалится своим прежним опытом конспирации, сразу же, ничего не успев сделать, попадает в плен к немцам. Война перечеркивает весь большевистский опыт Мостовского.

Гроссман часто и сознательно прибегает к тому, что Тургенев, говоря о Достоевском, называл «обратным общим местом». Так произошло с Мостовским, так произошло и с няней детского сада Соколовой, на которую заведено дело, она пьет, но именно она, пьяница, своей любовью выходила мальчика Гришу Серпокрыла, мозг которого помутился после того, как погибли при воздушно-моторном налете его отец и мать. И как ни ортодоксален Крымов, нас, читателей, что-то в нем тревожит, и на протяжении всего большого романа нас не покидает тяжелое предчувствие.

И случилось неминуемое: роман (он сначала назывался «Сталинград») был отвергнут «Новым миром» — редактором Симоновым и его заместителем Кривицким. Больше года они молчали. Гроссман нервничал, серьезная, столь важная для него работа будто в пропасть канула. И вот наконец ответ: печатать не будем, нельзя. Но не успел Симонов вернуть роман автору, как сменилась редколлегия журнала: редактором был назначен Твардовский, его заместителем — критик Тарасенков. Первым прочел роман Тарасенков — и пришел в восторг, поздно ночью позвонил Гроссману. Потом прочел Твардовский — и разделил мнение своего заместителя. Оба приехали к Гроссману на Беговую. Твардовский душевно и торжественно поздравлял Гроссмана, были поцелуи и хмельные слезы. Роман было решено печатать. Опомнившись, Твардовский выставил три серьезных возражения.

1. Слишком реально, мрачно показаны трудности жизни населения в условиях войны — да и сама война.

2. Мало о Сталине.

3. Еврейская тема: один из главных героев, физик Штрум — еврей, врач Софья Левинтон, описанная с теплотой, — еврейка. «Ну сделай свое-

го Штрума начальником военторга», — советовал Твардовский. «А какую должность ты бы предназначил Эйнштейну?» — сердито спросил Гроссман.

К обязанностям редактора романа Твардовский отнесся с любовью и ответственностью. На полях машинописи он сделал немало полезных заметок. Между прочим, он заметил следующее. У Гроссмана Крымов назывался раньше Крыловым, а в романе действует другой Крылов, историческое лицо, генерал, начальник штаба 62-й армии, и Твардовский посоветовал назвать этот персонаж Крымовым: замена всего лишь одной буквы в фамилии облегчает правку.

Несмотря на свои возражения, уверенный в том, что автор согласится внести исправления, Твардовский страстно хотел роман напечатать. Он действовал обдуманно, искал поддержки. Твардовский отправил роман члену редколлегии «Нового мира» Шолохову, надеясь, что великого писателя земли советской не могут не привлечь художественные достоинства романа и Шолохов, если он даже почему-то не терпит Гроссмана (был такой слух), все-таки поддержит его своим огромным авторитетом.

Ответ Шолохова был краток. Несколько машинописных строк. Я их видел. Главная мысль, помнится, такая:

«Кому вы поручили писать о Сталинграде? В своем ли вы уме? Я против».

Гроссмана и меня особенно поразила фраза: «Кому вы поручили?» Дикое, департаментское отношение к литературе.

Но Твардовский держался молодцом, был непоколебим, упорен. Он обратился за помощью к Фадееву, возглавлявшему Союз писателей. Такая помощь была необходима, потому что у романа были влиятельные противники на разных уровнях государства. Фадеев прочел роман очень быстро — и согласился с Твардовским: надо печатать. Седоголовый член ЦК приехал к Гроссману вечером, засиделся до глубокой ночи, говорил ему с любовью: «Какой вы нахал», т. е. восхищался художественной дерзостью писателя.

Машинопись размножили, дали прочесть членам секретариата Союза писателей. Заседание вел Фадеев. Гроссман был приглашен. Все высказывались положительно, за исключением, кажется, одного из секретарей, кого, точно не помню. Решили:

1. Рекомендовать «Новому миру» роман печатать.

2. Название романа «Сталинград» изменить, чтобы не получилось, что право писать о величайшей битве берет на себя писатель единолично (в эпоху борьбы с космополитизмом подтекст был ясен).

3. Штрум несколько отодвигается на задний план, у Штрума должен быть учитель, гораздо более крупный физик, русский по национальности.

4. Гроссман пишет главу о Сталине.

Все эти предложения — и другие, менее значительные — Гроссман принял, иного выхода у него не было. Когда он меня спросил, что я об этом думаю, я сказал, что надо согласиться, но мне было бы противно писать о Сталине. Гроссман рассердился: «А сколько ты напереводил стихов о вожде?» Я привел поговорку моего отца: «Можно ходить в бардак, но не

надо смешивать синагогу с бардаком». Гроссман ответил мне словами из армянского анекдота: «Учи сзбе».

Против романа, тайно и явно, выступали все грязные и грозные силы — литературные и сверхлитературные, но Фадеев и Твардовский не сдавались, и Гроссман, разумеется, видя в них своих покровителей, шел им навстречу. Написал главку о Сталине, стараясь изобразить его с человеческим лицом, без общепринятых космогонических сравнений, ввел в роман новый персонаж — видного ученого Чепыжина, учителя Штрума.

Раньше относившийся к Гроссману холодно, подозрительно, быть может, враждебно, Фадеев несколько раз встречался с ним у него на квартире, он понимал значение романа для русской литературы. При мне зашел разговор о заглавии. «Сталинград», как я уже упоминал, не годился. В то время официальная критика высоко отзывалась о произведении Поповкина «Семья Рубанюк». Это словосочетание почему-то сместило Гроссмана, и он с досадой предложил: «Назову роман «Семья Рубанюк». Фадеев звонко, с детской веселостью расхохотался: «Да, да, «Семья Рубанюк», что-нибудь в таком роде». Было решено во время этой беседы назвать роман «За правое дело» (выражение из речи Молотова, произнесенной в первый день войны), не помню, чье это предложение — Фадеева или самого Гроссмана.

Неожиданное хорошее отношение Фадеева к роману, как и потом его предательство, нетрудно объяснить, Фадеев любил русскую литературу всем сердцем (а оно у него было), терпеть не мог хлынувшую на нас пакость, но вынужден был, чтобы оставаться у власти, публично хвалить то, что считал бездарным. Может быть, личность Фадеева, наложившего свой отпечаток на целую литературную эпоху, читатель лучше поймет, если я остановлюсь на одном эпизоде.

Когда кончилась война, моя семья жила в такой немислимой тесноте, что мне пришлось зимой, чтобы иметь место для работы, поселиться с Николаем Чуковским на полупустой даче его отца в Переделкине (дачи в Ильинском у меня еще не было). Дружили мы с вернувшимся из карагандинской ссылки Николаем Заболоцким, нашедшим пристанище неподалеку, часто собирались вместе. К нам иногда приходил по вечерам Фадеев, чтобы прочесть отрывки из «Молодой гвардии», которую он в ту зиму заканчивал, либо — во время запоя, когда он становился удивительно человечен. Вот однажды он нам говорит: «Что делается в нашей литературе, конец света. Прислали мне из Пятигорска повесть «Кавалер Золотой звезды», кому-то наверху она понравилась. Дорогие мои Коля и Сема, дальше идти некуда, дальше табуретки. Остается кричать: «Спасите наши души». Потом он читал с чувством, наизусть, строки Пастернака «Синий цвет», куски из «Страшной мести» Гоголя, пел «Выхожу один я на дорогу», хорошо пел.

Проходит некоторое время, и меня приглашают в Союз писателей на заседание президиума, посвященное выдвижению книг на соискание Сталинской премии. Как председатель комиссии по киргизской литературе, я должен был доложить президиуму мнение нашей комиссии о книге одного киргизского поэта. Сижую, жду, когда очередь дойдет до меня. Заходит

речь о «Кавалере Золотой звезды» Бабаевского. Хвалят. Берет слово Фадеев, тоже хвалит и вдруг, налившись краснотой, устремляет волчьей си­невы глаза на меня и произносит со злостью: «Есть еще у нас чистюли, ко­торые воротят нос от таких повестей». Никто не понимает, почему Фадеев смотрит на меня, ведь моя роль маленькая, специальность узкая, и я, дей­ствительно, Бабаевского ни при какой погоде не читал. А Фадеев, видимо, вспомнил, что ругал этого «Кавалера» при мне, рассердился на себя и перенес гнев на меня...

Но вот наконец все преграды сметены, роман Гроссмана печатается в четырех номерах «Нового мира». Редколлегия волновалась, Тарасенков сказал автору: «Я только тогда поверю в нашу победу, когда куплю в ки­оске номер журнала».

В январе 1950 года Гроссман написал мне в Малееву:

«В Москве, в «Новом мире», проходит сейчас третий кусок, верстка, завтра начнут мне раньше срока, чтобы мог в Коктебель поехать, давать гранки последнего, четвертого куска. Разговоров много, пока без шипов, но по закону ботаники будут и они. А ты что слышишь? Ну, что ж! Ты ведь знаешь мое чувство: главное свершается. И я, знаешь, по-прежнему остро и, кажется, глубоко чувствую и понимаю это. Ощущение такое, как при напечатании первого рассказа «В городе Бердичеве». А пожалуй, даже сильнее. Должен сказать тебе, что я пишу понемногу, до чего же гра­фоманы все же упорны».

Впечатление от романа было огромное как в литературной среде, так и в интеллигентных слоях читателей, истосковавшихся по правдивому и поэтическому слову. Не забудем, что роман печатался в годы одичания общества, когда борьба с космополитизмом довершала медленное вы­рождение литературы и искусства, когда, как выразился смысленный циник, редактор «Литературной газеты» Ермилов, автор убойной статьи в «Правде» о пьесе «Если верить пифагорейцам», — «Маразм крепчал», когда на сцене МХАТа, столь дорогой русской душе, шли — и с успе­хом! — пьесы Сурова, о котором остроумный Э. Казакевич сложил сонет: «Суровый Суров не любил евреев», — того самого Сурова, кото­рого впоследствии вынуждены были исключить с позором из Союза пи­сателей, так как выяснилось, что даже на бездарные пьесы у него не хватало силенок, их за него писали литературные негры, в том числе и евреи.

Итак, все великолепно. В библиотеках за номерами «Нового мира» длинные очереди, весь тираж журнала мгновенно распродан, в литератур­ных кругах, в печати — восторги. «В колокола ударили и я, хотя крестного хода еще не было, хоругви уже поднимают», — сказал Гроссману старый пролетарский писатель Бахметьев. Его фраза, как и другие хвалебные вы­сказывания о романе, отнесена в «Жизни и судьбе» к открытию Штрума в области атомной физики. Формулировки математиков и физиков вроде «классическая работа» или «триумф, настоящий триумф» передают ту ат­мосферу, которая образовалась вокруг романа «За правое дело». Одна статья о романе была назвала «Эпопея народной войны» — в советской печати такое название означает многое.

Уже Военгиз и «Советский писатель» собирались издать роман отдельной книгой, но тут вступили в действие те «законы ботаники», о которых писал мне Гроссман. И какие там шипы — отравленные стрелы и копьё вонзились в роман. И что примечательно: именно Чепыжин, которого Гроссман ввел в свою книгу по настоянию Фадеева, для «нейтрализации» Штрума, — подвергся нападкам партийной критики. Мысли Чепыжина о том, что общество представляет собой опару и что в трудные, черные дни в обществе поднимается снизу все дурное, мысли о том, что добро воплощает в себе вечную энергию — «будь то космическая энергия или духовная энергия народа», — эти мысли показались критике антимарксистскими. Вот особенность таланта как дара Божьего: даже под давлением извне он остается верен истине, он не может ей изменить.

13 февраля 1953 года «Правда» опубликовала двухподвальную статью Бубеннова «О романе В. Гроссмана «За правое дело». Припадочный автор той самой «Белой березы», с которой безымянное зарубежное предисловие «От издательства» сравнивает роман Гроссмана, писал, конечно, то, что думал сам, сненаемый завистью и злобой грызуна, но не только собственные соображения излагал он. Отдавая должное знанию войны, проявленному Гроссманом как участником Сталинградской битвы, соглашаясь, что «свежи, правдивы главы, в которых показывается немецко-фашистская армия», одобряя «сцены в госпитале, бомбежки... случайной встречи Березкина со своей женой и дочерью», Бубеннов быстро переходит к главному заданию:

«Эти отдельные удачи не могут заслонить одной большой неудачи, постигшей В. Гроссмана. Ему не удалось создать ни одного крупного, ярко-го, типичного образа героя Сталинградской битвы, героя в серой шинели, с оружием в руках... Таких героев, которые были бы типичны, несли в себе основные черты характера советского народа, наиболее полно выражали сущность его, нет в романе «За правое дело». Нет в нем героев, которые поразили бы воображение читателя богатством и красотой своих чувств... Образы советских людей в романе «За правое дело» обеднены, принижены, обесцвечены. Автор стремится доказать, что бессмертные подвиги совершают обыкновенные люди... Но под видом обыкновенных он на первый план вытаскивает в своем романе галерею мелких, незначительных людей... В. Гроссман вообще не показывает партию как организатора победы — ни в тылу, ни в армии. Огромной теме организующей и вдохновляющей роли коммунистической партии он посвятил только декларацию... Они не подкреплены художественными образами...»

Вот я переписываю пассажи из бубенновской статьи, и меня охватывает то жуткое чувство, которое испытывали люди моего поколения, читая подобное в «Правде» при жизни Сталина. Это пахло тюрьмой, а может быть, смертью. Надо признать, что Бубеннов вместе со своими невидимками-соавторами отчетливо увидел, какую опасность для них представляют собой «обыкновенные», т. е. реальные люди.

Социалистический реализм не боится декаданса, модернизма, преследует их, ибо должен преследовать, но не боится. Социалистический ре-

лизм боится реализма. Так антихрист не боится неверия или язычества, он может их взять в соратники. Антихрист боится Христа.

У Бубеннова в запасе было оружие, хотя и не новое, но испытанное веками, а в советское время пущенное в ход только в последние годы жизни Сталина. Бубеннов пишет о родственных семьях Шапошниковых — Штрумов: «В качестве близкого человека в этой семье живет еще врач Софья Осиповна Левинтон...» Прервем на минуточку Бубеннова. Софья Левинтон — врач, а в стране задуман процесс врачей-убийц. Бубеннов старается, чтобы читатель понял самую суть: «Семья эта ничем не примечательная и вообще мало интересна как советская семья... А В. Гроссман выдает эту семью за типичную советскую семью, достойную быть в центре эпопеи о Сталинграде».

Действительно, что это за русская семья, хотя имя ее основателя, самарского революционера Шапошникова, носит одна из улиц в городе Куйбышеве, что это за семья, породнившаяся, подружившаяся со Штрумами, Левинтонами, с врагом народа Крымовым, о статье которого изверг рода человеческого Троцкий сказал в свое время: «Мраморно»? Кому Гроссман поручил быть семьей? Разве это не кощунство, что какой-то Штрум «больше всех думает и говорит об исторических событиях»? Каких людей показывает нам Гроссман? Но, вернемся к Бубеннову:

«Заняв огромную площадь романа серыми, бездействующими персонажами, В. Гроссман, естественно, не мог уделить серьезного внимания таким героям, которых должен был показать на первом плане в романе «За правое дело»... Неверно идейно осмыслен героический подвиг советских воинов. В ряде эпизодов автор упорно подчеркивает мотивы обреченности и жертвенности... В печати появились статьи, захваливающие роман... Проявилась идейная слепота, беспринципность и связанность некоторых литераторов приятельскими отношениями. Нетрудно видеть, какой ущерб наносит все это развитию советской литературы».

Статья Бубеннова — палаческая, мы, к нашему несчастью, привыкли к палаческим статьям о литературе и искусстве, но тут в палаческом ремесле намечалась какая-то новация, и читатели это поняли. Под «связанностью некоторых литераторов приятельскими отношениями» подразумевался кагал.

Нынешние палачи ловчее, искуснее Бубеннова, и как ужасно, что оборотни превращают великую русскую идею страдающего народа, чью землю Царь Небесный исходил, благословляя, в плаху, на которой обезглавливают как бы во имя России, от имени России русскую красоту, если ее создателями являются Левитан или Мандельштам, Пастернак или Гроссман. Еще много вреда принесут они нашей стране. Одна надежда, что их — кучка и есть у нас люди с умом и сердцем.

В 1970 году Анатолий Бочаров выпустил критико-библиографический очерк «Василий Гроссман». Это хорошая, благородная по замыслу книга. Уже сам тот факт, что А. Бочаров избрал своей темой творчество Гроссмана, заслуживает уважения и признательности. На одной из последних страниц своей довольно объемистой книги критик пишет: «Усилившаяся

в его характере неуступчивость, неуживчивость, прямота подчас оставляли его в тягостном одиночестве».

Критик имеет в виду время после ареста «Жизни и судьбы», когда Гроссман заболел раком. Но характер Гроссмана стал меняться раньше, когда началось уничтожение романа «За правое дело». И не прямота оставляла его в тягостном одиночестве, а те друзья-приятели, которые испугались этой прямоты, покинули его в тяжелую пору. О том, что с ним происходило, Гроссман с печальной точностью рассказывает в «Жизни и судьбе», когда его alter ego Штрум (между прочим, как и он сам, боявшийся переходить площади) оказывается в сходном положении:

«Видимо, началась эпидемия близорукости, знакомые, сталкиваясь с ним нос к носу, проходят в задумчивости мимо, не здороваются... Виктор Павлович вел счет — кто отвернулся, кто кивнул, кто поздоровался с ним за руку... Те, кто звонили каждый день, стали позванивать, а те, кто позванивали, вообще перестали звонить».

Гроссман не знал, что худшее впереди, что его ждет еще более ужасное горе — арест книги, и тогда-то его покинут почти все, а сейчас все-таки кое-кто оставался. Но и среди тех считанных, кто оставался, иные вызывали его раздражение. Ему казалось, что они себялюбивы, холодны, отягощены никчемными заботами и сознательно не хотят понять огромность его беды. Нередко у него были на то основания. Еще в начале своей литературной деятельности Гроссман познакомился с одним критиком, похвалившим его рассказы. Знакомство это растянулось на годы. Критик был человек далекий, в сущности, от литературы, мало знающий, но глубоко порядочный, и он безбоязненно не переставал посещать Гроссмана в описываемое время. Однажды Гроссман стал ему рассказывать, как для него тяжело складываются события, а наш критик возьми и скажи: «У меня тоже неприятности, сдал статью в «Учительскую газету», прошел месяц, а ее все не печатают». Гроссман разгневался, прогнал своего знакомого. Действительно, глупо было сравнивать ничтожную, написанную для заработка статейку с романом, на который обрушилась имперская мощь. Критик сделал это не со зла, а по недомыслию, но уж слишком болела душа Гроссмана, кровавилась его рана.

Не надо, однако, думать, что все это время Гроссман находился в непрестанном унынии. Были друзья, которые оставались друзьями. Гроссман выделял и любил Бориса Ямпольского, Виктора Некрасова, литературоведа Николая Богословского, человека чистого, по-детски верующего. У нас на Беговой образовался тесный кружок соседей: Гроссман, Заболоцкий, Степанов (профессор-филолог), к нам приходил Николай Чуковский (потом Гроссман и я с ним разошлись). Гроссман, чтобы на миг забыть о надвигающейся тьме, решил устроить, как он выразился, «маленький пирок во время чумы». Он предложил, чтобы каждый из нас написал биографию друг друга, воспоминания — шуточные, конечно, «материалы для будущих энциклопедических трудов». Остроумнее всех написал Заболоцкий — как раз о Гроссмане. Заболоцкий рассказывает о том, как они вдвоем с Гроссманом долго гуляют по городу. Спутник поражает его своей наблюдательностью, все-то он видит, все замечает, каждый пуста-

чок, каждый камешек, кто как одет и прочее. Когда они подходят к дому, Заболоцкий говорит: «Вот и кончилось солнечное затмение». — «Как, — удивляется Гроссман, — разве было солнечное затмение?» Развертывалось все это смешнее и ярче, чем в моем пересказе по памяти, и Гроссман от души смеялся. Не знаю, куда делись эти странички.

Почти каждое воскресенье мы проводили в гостях у моей мамы, которая с удовольствием готовила нам традиционный набор еврейских кушаний, до которых Гроссман был большой охотник. С. М. Михозлс определял это как «гастрономический патриотизм». Гроссман любил мою маму, умел с ней говорить, он вообще умел говорить с каждым человеком, и с крестьянином, и с уборщицей, и со знаменитым физиком, и все, насколько я мог заметить, даже не зная, кто их собеседник, чувствовали в нем человека необыкновенного. Чувствовала это и моя мама, и не только потому, что он известный писатель. Он умел понять ее повседневные заботы, ее горе о дочери, умершей молодой, рассуждал с ней с завидным знанием дела о способах приготовления того или иного блюда, о соседях по коммунальной квартире, запоминая некоторые сообщенные мамой подробности для своей работы.

Посещали мы с ним кафе, рестораны. Запомнился один забавный случай. Впрочем, не такой уж забавный. Мы не могли попасть в знакомые нам «Арагви», «Националь», «Асторию», — происходила какая-то конференция, эти рестораны были закрыты для простых граждан. Решили попытаться счастья в «Метрополе», в котором никогда не были. Нас пустили. Все столики были заняты, но за последним, то есть первым от входа, сидел всего лишь один посетитель. Мы попросили разрешения, подсади. Официант довольно быстро принес заказ. Наш сотрапезник был широкоплеч, коренаст, невысокого, видимо, роста, смуглый. Приступили к делу, чокнулись с соседом. Вдруг из глубины зала к нам подошел едок — большой, толстый и не очень пьяный. Он, вертя одним указательным пальцем вокруг другого на уровне своего живота, проговорил: «Пузики-животики-жидочки, пузики-животики-жидочки». Наш сосед поднялся, сделал едва заметное движение рукой, и большой толстяк упал, не только упал, но и немного покатился по ковровой дорожке. Зал настроженно молчал. Упавшему помогли встать. Он удалился, чуть пошатываясь. Мы познакомились с нашим соседом. Оказалось, то был знаменитый в свое время атлет Григорий Новак. Мы ждали вмешательства администрации, но нас никто не потревожил. «Вы нашли единственный правильный аргумент», — сказал Новаку Гроссман.

Между тем опара всходила, снизу в обществе поднималось все дурное. После статьи Бубеннова, чьи положения были автору явно продиктованы, появились другие, еще более сердитые — и страшные. Распространялся достаточно точный слух, что роман вызвал гнев Маленкова, самого приближенного из слуг Сталина. Сумасшедшая в свою пользу Маризтта Шагинян выступила со статьей против романа в «Известиях». Наконец, по роману ударил Фадеев — коротким, но сильным ударом. Твардовский на секретариате Союза писателей каялся в том, что опубликовал роман в своем журнале. Печатно отреклась от романа и редколлегия журнала.

Заставляли каяться и Гроссмана. Круг друзей и знакомых все больше редел. Случилось так, что и у меня в это время положение стало неважным, хотя, конечно, не шло ни в какое сравнение с положением Гроссмана. Еще осенью 1949 года на меня завели грязное дело. Вопрос обо мне стоял на секретариате Союза писателей: я, мол, пропагандирую как переводчик и пересказчик байско-феодалные эпосы тюркоязычных народов «Манас» и «Идегей», эпос высланных калмыков «Джангар». За меня заступились Фадеев и Симонов (последний — по ходатайству Гроссмана), дело кончилось выговором, но кончилось ли? Были арестованы мои добрые друзья, еврейские поэты, которых я переводил, — Самуил Галкин и Перец Маркиш. Пассажиры в трамваях, автобусах, электричках, прочитав о врачах-убийцах, говорили о том, что евреи-провизоры отпускают такие лекарства, которые заражают людей сифилисом.

Мы с Гроссманом решили это смутное время пережить, вернее, укрыться на моей даче в Ильинском по Казанской железной дороге. Жили мы так. Я закупал в закрытом городке Жуковском провизию (тогда это было просто), мыл посуду, а Гроссман готовил обед, каждый день один и тот же наваристый суп.

Однажды к нам приехала Ольга Михайловна, очень взволнованная: звонил Фадеев, зовет Гроссмана к себе домой, срочно. Гроссман выехал ранним утренним поездом. К сожалению, я не помню всего разговора между ними — Гроссман мне его пересказал, — я помню только суть: Фадеев настойчиво советовал Гроссману покаяться, публично отречься от романа, «ради жизни на земле» — процитировал он Твардовского. Гроссман отказался. Помню еще мелочь: увидев Гроссмана, Фадеев надул щеки, удивленно показывая, как Гроссман поправился. А все наш наваристый суп.

Перед нашим отъездом на дачу у Гроссмана произошло событие, о котором он часто и мучительно вспоминал. Гроссмана пригласили в «Правду»: позвонил ему профессор-историк Исаак Израйлевич Минц, сказал, что он должен прийти, в помещении редакции пойдет речь о судьбе еврейского народа. По пути в «Правду» Гроссман зашел в «Новый мир». Он хотел выяснить свои отношения с Твардовским по поводу того, что тот отрекся от романа «За правое дело». Оба, как я мог судить по рассказу Гроссмана, говорили резко, грубо. Твардовский, между прочим, сказал: «Ты что, хочешь, чтобы я партийный билет на стол выложил?» — «Хочу», — сказал Гроссман. Твардовский вспыхнул, рассердился: «Я знаю, куда ты отсюда должен пойти. Иди, иди, ты, видно, не все еще понял, там тебе объяснят».

В «Правде» собрались видные писатели, ученые, художники, артисты еврейского происхождения. Минц прочитал проект письма Сталину, которое собравшимся предлагалось подписать. Смысл письма: врачи — подлые убийцы, они должны подвергнуться самой суровой каре, но еврейский народ не виноват, есть много честных тружеников, советских патриотов и т. д. По словам Гроссмана, особенно противно выступил карикатурист Ефимов, родной брат репрессированного и погибшего журналиста Михаила Кольцова. Письмо так и не было послано Сталину, вообще оно

было задумано не наверху, а оказалось, как нам потом объяснил хорошо информированный Эренбург, затеей высокопоставленных партийных евреев, испугавшихся за свою судьбу со всеми ее привилегиями. Но Гроссман, в каком-то затмении решив, что ценою смерти немногих можно спасти несчастный народ, вместе с большинством собравшихся поставил под письмом свою подпись. А может быть, на его состояние повлиял разговор в «Новом мире»? Гроссман возвращался из «Правды» к себе на Беговую пешком — это сравнительно близко, — выпил по дороге полтора грамма — водку при Сталине женщины в грязных халатах поверх тулупов продавали прямо на улице — и чувствовал себя противно. До конца жизни он казнил себя за этот поступок. Читатель «Жизни и судьбы» вспомнит, что и физик Штрум совершает нечто подобное — и горько раскаивается.

Ссора Гроссмана с Твардовским впоследствии сказала на тяжелой участи «Жизни и судьбы». О, не надо было им ссориться, не надо было! Гроссман любил Твардовского, и его самого, и его стихи, тем более его раздражали некоторые поступки и высказывания Твардовского. Одно время они крепко дружили, в 1948 году их дружба прервалась, потом помирились, и хотя прежних отношений уже не было — было взаимное уважение и стремление друг к другу. Тем большей была обида Гроссмана на Твардовского, не того Гроссман от него ждал. Обида эта не угасала, а усиливалась. Вот что Гроссман мне написал в Душанбе в сентябре 1956 года — через три года после ссоры с Твардовским:

«Расскажу тебе о событиях за время твоего отсутствия. Ходил в Союз. Подал Ажаеву¹ петицию о том, что нужно создать комиссию, которая от имени Союза возбуждала бы ходатайства о реабилитации погибших писателей, не имеющих родных. Назвал А. Лежнева, Пильняка, Анд. Новикова, Святополка-Мирского. Предложение встретило сочувствие, Ажаев обещал рассмотреть его на секретариате.

Взял в архиве стенограмму Президиума, где Фадеев делал доклад обо мне. Прочел все выступления. Самое тяжелое чувство вызвала у меня речь Твардовского. Ты знаешь, прошло три года, я растерялся, читая его речь. Не думал я, что он мог так выступить. Он умнее других, и ум позволил ему быть хуже, подлее остальных. Ничтожный он, хоть с умом и талантом.

В Союзе встретился с Симоновым. Он очень горячо и очень по-деловому настаивал, чтобы я печатал вторую книгу в «Новом мире». Любопытно, что на момент нашего разговора Кривницкий звонил мне домой с тем же предложением. Сказал Ольге Михайловне: «Как я рад, что попал на вас, зная сложный характер В. С., думал, что он меня пошлет по матушке».

Кстати, я прочел в этой же стенограмме речь Симонова. Он сказал: «Если Гроссман будет дальше молчать, мы с ним заговорим другим языком. Пусть знает, что разговор будет другим».

Вот я и подумал, что он заговорил со мной другим языком, предлагая печатать вторую книгу».

¹ Ажаев Василий Николаевич (1915 — 1968) — советский писатель, секретарь СП СССР.

Надо объяснить, что в это время Симонов опять стал редактором «Нового мира», а Кривицкий — его заместителем, а просили они у Гроссмана будущую «Жизнь и судьбу», еще не зная ее содержания. Симонов и Твардовский, как некоторые древние иранские шахи, попеременно надевали на себя корону владык «Нового мира».

Да, другим языком заговорили с Гроссманом после смерти Сталина. Эту смерть мы встретили в Ильинском. Ни радио, ни газет у нас не было, мы ничего не знали, когда одним мартовским утром соседка Маруся, иногда помогавшая нам по хозяйству, сказала: «Слыхали, Сталин болен».

Мы не поверили. Слишком радостным, сказочно прекрасным показалось нам Марусино сообщение. Взволнованные, мы не могли успокоиться. Решили пойти на станцию, узнать поточнее, там был газетный киоск.

Три километра шли в мартовском рыхлом снегу, в вечернем безлюдье. Не верили и хотели верить. Киоск был закрыт, но рядом с расписанием пригородных поездов висела газета. Все правильно, Сталин болен.

Всю ночь не спали, разговаривали, гадали: подохнет? Конечно, подохнет, иначе не объявляли бы в газете, что болен. А может, его уже нет в живых? Что-то будет? Лучше или еще хуже?

Не сразу, но стало лучше: прекращение дела врачей-убийц, казнь Берии. Если же перейти от крупных событий в жизни страны к делам литературным, то через год после смерти Сталина был создан, после двадцатилетнего перерыва, Второй съезд писателей, Гроссман и я были делегатами съезда. На съезде выступил Фадеев. Он нашел в себе силу, чтобы в присутствии иностранных гостей, что называется, всенародно извиниться перед Гроссманом за то, что несправедливо напал на «За правое дело» и на автора романа. И предсмертная речь, и самоубийство Фадеева суть выражение доброго начала в этом человеке, обреченном стать жестоким. Его самоубийство не грех перед Богом, а желание искупить смертью свои грехи. Он обладал талантом весьма скромных размеров, но подлинным, и, живи он при царе, он тоже был бы пусть второстепенным, а писателем, не то что нынешние тусклые, стерильноликие руководители писательского Союза. Этим дела нет до судеб русской литературы, голова у них не болит, и утечка ярких талантов их никак не волнует, наоборот, облегчает им и без того спокойную, сытую жизнь. Им плевать, что книга, здесь не изданная, вышла и пользуется успехом за рубежом, — их больше тревожит предполагаемый конкурент здесь, на родине. На них, правда, нет крови, своими преследованиями они никого не довели до смерти, разве что косвенно, но тут причиной внешние обстоятельства. Думаю, что, будь они на месте Фадеева в годы ежовщины или борьбы с безродным космополитизмом, они превзошли бы его своей жестокостью.

Роман «За правое дело», еще недавно считавшийся политически вредным, решил выпустить Военгиз. Гроссман мне сообщил об этом в Душанбе 22 июля 1954 года:

«Здравствуй, дорогой друг!

Получил наконец твое письмо. Хотя оно не шло, а летело, полет его длился семь суток.

За время твоего отсутствия в моей жизни произошли значительные события. В Загорянку¹ пришла телеграмма от Фадеева: «Роман «За правое дело» сдается в печать. Обсуждения на секретариате не будет. Вопрос решен положительно и окончательно. Крепко жму вашу руку». Я настолько был далек от подобного сообщения, что даже подумал — не розыгрыш ли это. Но в Москве меня ждало письмо полковника Крутикова: «Вас. Сем.! Все в порядке. Звонил Сурков, сказал, что сделаем большое дело, если В/книгу выпустим к съезду писателей. Был разговор с руководящей инстанцией. Туда не надо посылать».

В тот же вечер (приезда с дачи в Москву) мне позвонил Фадеев и рассказал некоторые подробности (он решил, видимо, перекрыть евангельское чудо и принял посильное участие как в погребении Лазаря, так и в воскрешении Лазаря).

На совещании в связи с предстоящим писательским съездом, где были оба А. А.², выяснилось, что нет никаких задерживающих книгу причин и что обсуждать ее на секретариате Союза не нужно.

Вот краткое изложение фактов. Книга уже подписана к печати, и Крутиков привез мне показать макет переплета и заодно новый договор на массовое издание. Выпустить книгу предполагают в сентябре-октябре. Генерал Щербаков³ друг прислал мне письмецо, что в 1955 году Военгиз предполагает повторить издание романа вторым массовым тиражом.

Дорогой мой, уверен, что ты прекрасно представляешь себе пережитое мною чувство. Но ты, конечно, не представляешь себе, как было мне горько, что тебя нет в Москве и я не мог поделиться с тобой своими мыслями и чувствами. Долгая, трудная была дорога у книги, но дружба с тобой помогла мне пройти ее, ты по-братски разделил со мной этот путь. Но я вовсе не думаю, что дорога кончилась и начался Парк культуры и отдыха. Я рад тому, что она не кончилась, и, если суждено, пусть будет нелегкой, только бы шла.

Вспомнилось мне Ильинское, дачная идиллия, печь, игра в дурака, суп из макарон, прогулки на станцию, оттепель, гремящая ведрами Маня. «Многое вспомнилось, слушая грохот колес непрерывный».

Сема, когда думаешь в Москву, очень уж надолго уехал ты. Напиши, пожалуйста, точно, когда планируешь возвращение. Письмо твое прочел и вдруг очень захотелось побывать в этом далеком краю, в котором ни разу не бывал, походить по чудесному саду, поэтически тобой описанному. Печально было читать о смерти Айни⁴, и то, что тыпишешь о его последних днях, так грустно. Чувствую, что хороший он был человек.

Ты спрашиваешь о Москве, о новостях? Я не был на докладе Фадеева, но мне говорили, что это было коротенькое сообщение, просьба освобо-

¹ Местность под Москвой, где Гроссманы снимали дачу. Свою дачу в Лианозове Гроссман отдал бездомным людям, поселившимся там во время войны.

² Фадеев и Сурков.

³ Щербаков Александр Николаевич — главный редактор издательства Военгиз.

⁴ Айни (1878—1954) — старейший таджикский писатель.

дить его от большого доклада на съезде. Просьбу уважили, доклад будет делать Сурков, а Фадеев — вступительное слово...»

Как предвидел он, что не кончилась его нелегкая дорога! Между тем съезды — съездами, а вместе с горестями и горькими радостями шла и работа — и внутренняя, и на бумаге. Писалась «Жизнь и судьба».

Когда я как-то спросил, как будет называться вторая книга, Гроссман ответил: «Как учит русская традиция, между двумя словами должен стоять союз «и».

Двигались годы ежедневного труда, и Гроссман мне читал главы, сцены из романа. Я видел в них изобразительную силу, уже знакомую мне раньше, но находил и новое. Гроссмана стала волновать тема Бога, тема религии. Не случайно появляются в немецком концлагере католический священник Гарди и несчастный, так и не нашедший Бога, русский богоискатель Иконников, который не верит в добро, а верит в доброту. Я не мог согласиться с тем, что «Бог бессилен уменьшить зло жизни», но меня поразила мысль Иконникова о том, что «дурья доброта и есть человеческое в человеке... Она высшее, чего достиг дух человека».

Мне стал дорог майор Ершов, заключенные в немецком концлагере «чувствовали веселый жар, шедший от Ершова, — такое простое, всем нужное тепло исходит от русской печи». Сын раскулаченного, майор становится главарем советских военнопленных командиров. И далее — слова, которые многое объясняют в настроении и убеждении самого автора: «Власовские воззвания писали о том, что рассказывал его отец. Он-то знал, что это правда. Но он знал, что эта правда в устах у немцев и власовцев — ложь... Ему было ясно, что, борясь с немцами, он борется за свободную русскую жизнь, победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями смерти, где погибли его мать, сестры, отец».

И мы видим эти лагеря, советские лагеря. Гроссман собрал воедино и воссоздал все, о чем на протяжении лет, смертельно страшных лет нашей родины, настойчиво расспрашивал выживших чудом и чудом вышедших на свободу лагерников, людей ему близких и далеких, и первым нарисовал обширную картину погибающей за каторжной проволокой России. Ведь один день Ивана Денисовича для читателей еще не занялся, и я, слушая Гроссмана, уже не по отдельным рассказам, а впервые во всей своей безумной и с ума сводящей всеобщности узнал то, что болело, обливалось кровью во мне, о чем я думал постоянно и что в книге Гроссмана ошеломило меня точностью, подробностью изображения.

Есть такое мнение: Гроссман сам в лагере не сидел, писал, значит, понаслышке. Это нелитературный разговор. Державин деятельно участвовал в погоне за Пугачевым. Но не он изобразил крестьянского вожака, а живший в другом столетии Пушкин. И пугачевский тулупчик, и калмыцкая сказочка, которую рассказывает Гринева Пугачев, памятны нам с детства. Надо ли еще раз говорить о том, что талант художника, соединенный с душевным напряжением и добросовестностью исследователя, способен творить чудо жизни.

В немецком лагере что-то сдвинулось в затвердевшем, казалось бы, сознании старого большевика Мостовского, «многое в его собственной

душе стало для него чужим» и все же сидит в нем крепко, он одобряет жестокое решение коммунистов-лагерников способствовать с помощью доноса транспортировке в погибельный Бухенвальд «чудного парня» Ершов, потому что Ершов — «беспартийный, неясный, чужой».

Но и Мостовского убили в лагере, и по-иному погибает — он удавился — другой старый большевик, Магар. Перед смертью он говорит своему бывшему ученику, теперь тоже заключенному: «Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее. И Маркс не оценил ее... Там, за проволокой, самохранение велит людям меняться, иначе они погибнут, попадут в лагерь — и коммунисты создали кумира, погоны надели, мундиры, исповедуют национализм, на рабочий класс подняли руку, надо будет, дойдут до черносотенства...»

В романе «За правое дело» совсем иначе думают и говорят о Марксе идейные большевики Мостовской и Крымов, иначе думает и говорит и сам Гроссман.

Один неглупый литератор сказал мне, прочитав «Жизнь и судьбу»: «Как Гроссману не повезло! Если бы свой роман с таким точным, потрясающим описанием лагерей он опубликовал до Солженицына!»

Я с этим не согласен. Конечно, что и говорить, было бы лучше, если бы люди, каким-то образом сохранившие роман, нашли в себе смелость позаботиться о судьбе рукописи раньше, но я твердо убежден, что открытия в литературе не ограничиваются темой.

Открытием в литературе всегда является человек. И каждый по-своему — Солженицын и Гроссман — открыли человека в концлагере. А что касается темы, то она глобальна. Какой современный русский писатель вправе пройти мимо нее? Ведь лагерь, тюрьма властно и грозно вступили в дом почти каждого советского человека — в столичную ли квартиру, украинскую хату или кишлачную кибитку, — в семью почти каждого, выражаясь по старинке, обывателя. Если шуточно говорят, что суть русской литературы девятнадцатого века можно определить названиями двух произведений: «Кто виноват?» и «Что делать?», то суть русской литературы нашего века, века тюрьмы, больницы и войны, можно обозначить названиями «Архипелаг ГУЛаг», «Раковый корпус», «Жизнь и судьба».

Многое поведали мне в чтении Гроссмана главы о войне. Сам я в Сталинграде видел только то, что мне было положено видеть, — наши корабли, бронекатера, наши НП на правом берегу, штаб Родимцева в трубе, пятачок Горохова на Рынке. А Гроссман рассказал о том, что рядовой участник войны не мог видеть, не мог знать. Гроссман развернул панораму одной из величайших битв, и развернул ее не только сверху, как бы с вертолета, когда наглядны все фронты, армии, корпуса, дивизии. Он увидел битву и снизу, глазами солдата в окопе. До него только Толстой таким двойным зрением увидел войну.

И вот возникает глава о знаменитом «доме Павлова». Гроссман называет этот дом «шесть дробь один». Дом окружен немцами со всех сторон. И воюет с немцами, да еще как воюет. Командира обреченных Грекова прозвали «управдомом». И в этом доме, гибель которого куда страшнее гибели дома Эшеров у Эдгара По, потому что все в нем проще — и жизнь,

и смерть, — в этом аду сияет любовь Сережи и Кати, светлеет дерзкий разум Грекова. И вот не стало дома, не стало и Грекова, но не умирает в нашей душе отчаянный капитан, обвораживая ее русской удалью, пронзительной русской тоской своего острого, грубого и сердечного ума.

Злоключения Жени Шапошниковой в Куйбышеве, кажется, тускнеют в сравнении с ужасами немецких и советских концлагерей, тюрем, газовых камер, дома «шесть дробь один», но после того, как Гроссман прочел мне эти куйбышевские страницы, я долго находился под впечатлением услышанного. Странное дело, большинство писателей, исходящих из формулы «бытие определяет сознание», обожает писать о сознании и крайне неохотно, стеснительно касается бытия. Читая Бальзака, Диккенса, Толстого, Достоевского, мы всегда знаем, каковы материальные, житейские заботы персонажей, даже сколько у кого денег в данную минуту. А во многих нынешних книгах деньгами интересуются только отрицательные герои, а у положительных заботы либо производственные, либо — это появилось в последние годы — семейные. До Гроссмана почти никто не писал о ссорах и мелких дрызгах на кухнях коммунальных квартир, о скученности в жилищах, когда в одной комнате спят рядом и пожилые родители, и их дочь с мужем, и внуки, «аж хата хыть-хыть», как сказал мне на Кубани один крестьянин, никто не писал о долгих очередях в продуктовых лавках, о скудной зарплате, о духоте в переполненных по утрам автобусах и трамваях, о бескислородном бюрократизме, в котором задыхается беспомощный человек. Нам близки мучения Евгении Шапошниковой, которая не может получить прописку — право на жизнь в городе, мы узнаем знакомых нам мучителей в написанных как бы на заднем плане портретах трусливого начальника конструкторского бюро, в котором работает Шапошникова, и начальника паспортного стола, чьи немигающие глаза выражают задумчивое равнодушие, а в длинной, безнадежной очереди к нему «Евгения Николаевна наслушалась рассказов о дочерях, которых не прописали у матерей, о парализованной, которой отказали в прописке у брата, о женщине, приехавшей ухаживать за инвалидом войны и не получившей прописки».

Когда Гроссман прочел мне письмо матери Штрума, он снял очки, чтобы вытереть слезы. Апокалипсис еврейства двадцатого века опалил Гроссмана. Мне известны высказывания читателей «Жизни и судьбы», что Гроссман как человек и писатель изменился под влиянием гитлеровских лагерей уничтожения евреев и жесточайшей борьбы с космополитизмом в нашей стране. Я думаю, что люди, придерживающиеся такого мнения, имеют на то некоторые основания, но они забывают, что Гроссман прежде всего — русский писатель. Прелесть русской природы, прелесть русского сердца, его невыносимые страдания, его чистота и долготерпение были Гроссману важнее всего, ближе всего. Не случайно в письме еврейской матери из-за колючей проволоки гетто есть такие слова: «Как крестьяне грабили кулаков, так соседи грабили евреев».

Эти слова — из последнего дошедшего до Гроссмана письма его матери Екатерины Савельевны, памяти которой посвящена «Жизнь и судьба». Екатерина Савельевна была замучена, убита в бердичевском гетто. На

протяжении многих лет ей, мертвой, Василий Семенович писал письма, с ней, мертвой, делился своими мыслями, волнениями, сообщал ей о ходе работы над романом. Письма сохранились у пасынка Гроссмана Ф. Б. Губера.

Еврейская трагедия была для Гроссмана частью трагедии русского, украинского крестьянства, частью трагедии всех жертв эпохи тотального уничтожения людей. Есть ли в украинской литературе книга, которая рассказала бы о поголовной гибели украинских крестьян в годы коллективизации, как это сделал Гроссман в повести «Все течет»? Он не был бы подлинным русским писателем, если бы не искал человеческого в человеке любой национальности.

В этих-то поисках он шел от романа «За правое дело» к «Жизни и судьбе», и, проникая в глубь человека, освобождался от прежних, не всегда правильных представлений, и все больше и больше приближался к божественной правде, к тому «чуду отдельного человека», которое возникает перед Софьей Осиповной Левинтон на пороге газовой камеры. Старая дева подружилась с мальчиком Давидом в теплушке, они вместе вступают в камеру, и вот маленький мальчик с птичьим телом ушел раньше, чем она, тело мальчика осело в ее руках. «Я стала матерью», — подумала она. Это была ее последняя мысль. А глаза Давида перед смертью встретились с любопытствующими глазами немецкого солдата Розе, глядевшего в камеру через стекло. Человек ли Розе? Ведь «человек существует как мир, никогда никем неповторимый в бесконечности времени. Лишь тогда он испытывает счастье свободы и доброты, когда находит в других то, что нашел в себе».

Гроссман, как и его Штрум, знал лишь с десяток слов на идиш. Широко образованный, сведущий в различных областях знания, читавший с детства французские книги в подлиннике — его мать преподавала французский язык (особенно он любил — и декламировал наизусть — целые страницы «Писем с мельницы» Доде, «Жизни» Мопассана, стихи Мюссе), — он был слабо осведомлен в еврейской истории. Увидев у меня тома еврейской энциклопедии на русском языке, спросил без особого интереса: «Ты здесь находишь что-нибудь важное для себя?»

Но разве он, открывший во время одной из фронтовых поездок в Треблинку (очерк Гроссмана «Треблинский ад» в виде брошюры распространялся на Нюрнбергском процессе), разве он, впервые в литературе описавший газовую камеру (главки о ней под названием «Газ» были опубликованы в одной из наших газет еще до ареста «Жизни и судьбы»), разве он, познавший гонения на евреев в стране победоносного социализма, разве он, один из инициаторов и составителей «Черной книги» — о поголовном истреблении евреев гитлеровцами на временно захваченной территории Советского Союза, книги, уничтоженной на Родине и вышедшей за рубежом, — разве он мог, не только как еврей, но, повторяю, прежде всего как русский писатель, остаться равнодушным к одной из самых ужасных катастроф человечества в нашем столетии?

Его мучило, оскорбляло то, что писатели, русские по крови, не ранены в сердце этим ужасом, ему было стыдно за них перед живым взором вели-

ких русских писателей, философов, ученых. Когда в начале шестидесятых появилось в печати стихотворение Евтушенко «Бабий яр», Гроссман сказал: «Наконец-то русский человек написал, что у нас в стране есть антисемитизм. Стих сильно так себе, но тут дело в ином, дело в поступке — прекрасном, даже смелом».

Я рассказал о том впечатлении, которое производили на меня отдельные главы «Жизни и судьбы», когда Гроссман — в течение многих лет — читал их мне своим негромким, слегка скрипучим голосом. Но когда он в начале зимы 1960 года привез мне на Черняховскую весь роман, тысячу страниц, и я прочел их и, прочтя, начал тут же читать снова, я понял всем своим существом, разумом и сердцем, что Бог даровал мне счастье одному из первых (до меня, возможно, роман прочли только члены семьи и, конечно, машинистка) узнать творение великое и, надеюсь, бессмертное.

Я настаиваю на том, что было бы неосторожно рассматривать «Жизнь и судьбу» только с той точки зрения, что, мол, политические и философские взгляды автора изменились по сравнению с тем временем, когда он писал «За правое дело». Конечно, было и это, темные стороны действительности часто становятся источником света для сознания художника. «Жизнь и судьба» намного выше, намного важнее романа «За правое дело», но оба романа принадлежат одному и тому же таланту, цельному и мощному, как Пушкину принадлежат «Руслан и Людмила» и «Борис Годунов», Блоку — «Стихи о Прекрасной Даме» и «Двенадцать». И если Пушкин, написав «Бориса», воскликнул: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!», а Блок, завершив «Двенадцать», записал в дневнике: «Сегодня я гений», то нечто вроде этого мог бы о себе сказать и Гроссман, создав «Жизнь и судьбу». Но, увы, невеселы были мысли Гроссмана, когда он заканчивал свой шедевр. Он написал мне 24 октября 1959 года из приморского селения недалеко от Коктебеля:

«Хороши здесь прогулки по пустынному берегу, мне очень хотелось бы, чтобы ты побывал здесь. Очень тут чувствуешь море, оно тут не ялтинское, а какое-то особое, широкое, пустынное, оно для тех, кому есть о чем мечтать, у которых все впереди, и для тех, кому не о чем мечтать, у кого все позади. Ну и, конечно, хорошо оно и для поэтов — им ведь вняты и волнения юности, и печаль прожитой жизни. Вот и хотелось мне, чтобы ты тут побродил несколько дней, объял необъятное...

Я много работал здесь, закончил работу над третьей частью. Правил, сокращал, дописывал. Больше всего сокращал. Вот и пришло мое время проститься с людьми, с которыми был связан каждый день на протяжении шестнадцати лет. Странно это, уж очень мы привыкли друг к другу, я-то наверное. Вот приеду в Москву и прочту всю рукопись от начала до конца в первый раз. И хотя известно — что посеешь, то и пожнешь, — я все думаю: что же я там прочту? А много ли будет у нее читателей помимо читателя-написателя? Думаю, что тебя она не минет. Узнаешь — что посеял.

Я не переживаю радости, подъема, волнений. Но чувство хоть смутное, тревожное, озабоченное, а уж очень серьезное оказалось. Прав ли я? Это первое, главное. Прав ли перед людьми, а значит, и перед Богом? А

дальше уж второе, писательское — справился ли я? А дальше уж третье — ее судьба, дорога. Но вот сейчас я как-то очень чувствую, что это третье, судьба книги, от меня отделяется в эти дни. Она осуществит себя помимо меня, раздельно от меня, меня уже может не быть. А вот то, что связано было со мной и без меня не могло бы быть, именно теперь и кончается.

Это все, как выражаются газеты, думы слесаря Пустякова.

Помимо дум есть и житейская часть — ведь Пустяков ест, ходит в бакалею, пьет пиво. Питаюсь я жутко — со стола не сходит копченая скумбрия. Почему-то Феодосия в этом году завалена скумбрией. Ем я эту скумбрию и запиваю ее белым, мутным молодым вином. Стоит это мутное вино 7 р. 50 к. литр. Иногда я питаюсь кефалью. Хожу очень много, и ты прав — действительно похудел и загорел. Строен, как тополь, не очень молодой, правда. По вечерам играю с Ольгой Михайловной в тысячу.

Дорогой мой, писать мне сюда не надо, письма идут долго, и боюсь, что мы разминемся с письмом. Если санаторный эвакуатор не подведет с билетами, то пятого ноября будем уже в Москве, вечером. И если ты окажешься дома в этот вечер, то поговорим по телефону, условимся о встрече — у основоположника¹, наверное. Придумал я народную поговорку: «Рано птичка запела, вырвут яйца из гнезда». Но это так, не думы, а вообще... Хочется тебя видеть.

Целую крепко
Вася».

Я перечитываю эти строки, и сердце мое сжимается. Какая пророческая печаль в письме, написанном в такие дни, когда художника должно было охватить победное, великое счастье. Как он предчувствовал: «Судьба книги от меня отделяется. Она осуществит себя помимо меня, раздельно от меня, меня уже может и не быть». Все сбылось, ведь истинные поэты всегда пророки. А в тот день, когда я читал это письмо, не предвидел я, не мог предвидеть того, что свершится, только с радостью обратил внимание на то, что мой друг написал слово «Бог» как полагается — с прописной буквы.

В этом же письме есть такое место:

«Прочел рассказы Фолкнера, большинство из них печаталось в «Иностранной литературе». Сильный, талантливый писатель, манерный несколько, но манера служит серьезному делу, человек думает всерьез о жизни, прием существует не ради приема. Отлично изображает, ярко, лаконично. Талант».

Мысли Гроссмана о манере письма дают мне возможность заметить здесь, что в искусстве ничто не устаревает так быстро, как манера письма. А что живет долго, не старея? Характер. Конечно, мы помним, с восхищением повторяем метафоры, тропы, остроумные или глубокие по мысли выражения из любимых книг, и не только из русских, но и переводных. Можно ли забыть фразу Гамсуна: «Любовь — это не глицерин, любовь — это нитроглицерин», или Анатоля Франса о Гамелене: «Он

¹ Памятник Горькому у Белорусского вокзала.

был непостижим. Все люди непостижимы», или сообщение Сервантеса о том, что Санчо Панса отошел в сторонку и сделал в кустах то дело, «которое за него не мог сделать никто». Однако все эти блестящие фразы лишь тогда имеют смысл, когда работают для создания характеров — таких вечных, как Дон Кихот и Санчо Панса, Растиньяк и князь Мышкин. Если писатель не создал должителей, то быстро кончится его писательская жизнь.

И вот, прочтя «Жизнь и судьбу» целиком, я увидел, что, как выразился Версилов у Достоевского, «мысль пошла в слова» и среди рожденных словом людей есть по крайней мере два человека, которые встанут в одном ряду с характерами, созданными великой литературой. Я имею в виду Гетманова и Грекова.

Удались все персонажи романа, они живут с нами, эти красноармейцы и генералы, молодые люди и старики, крестьяне и академики, немцы и русские, армяне и татары, арестованные и следователи, лагерники и вертухаи, красавицы и дурнушки. Всех не перечислить, остановлюсь на Березкине, который запомнился нам еще в романе «За правое дело».

Этот майор средних лет в многократно стиранной, но опрятной гимнастерке храбро, умно воевал с лета 1941 года в лесах Западной Белоруссии, прошел через все испытания войны без наград, не замеченный начальством. Его когдатосний подчиненный, преуспевающий военный хозяйственник Аристов, думает, оглядывая — уже под Сталинградом — выцветшую гимнастерку и кирзовые сапоги майора: «Эх, брат ты мой, отвоевал бы я хоть ноль целых две десятых того, что ты, я бы здесь не сидел». А старуха, в доме которой Аристов на постое, говорит в его отсутствие майору: «Я вас вполне вижу, настоящего человека сразу понимаю, на ком держава стоит, кем держится. А вот этот приятель ваш, это уж воин. Такой разве понимает? Для него все государство на спиртах стоит».

В свой трудный час держава начинает понимать, на ком она держится — на комбате Филяшкине, на беспартийном полковнике Новикове, на загнанном людьми из Отдела науки физике Штруме, на близорукое, от важном писателе Гроссмани. Только вот капитана Грекова держава не сразу поняла — и, по-своему, действовала правильно.

Майора Березкина в Сталинграде повышают в звании, ему доверяют командовать полком, тем самым, которому подчинен грековский дом «шесть дробь один». Накануне решающего боя Березкин тяжело заболевает. Он лежит в блиндаже «с горящим лицом, с нечеловеческими, хрустально ясными бессмысленными глазами». Казалось, он ничего не слышит из того, о чем говорят в блиндаже. Приходит письмо от жены Березкина — давно от нее не было вестей. Один из командиров читает: «Здравствуй, ненаглядный мой, здравствуй, мой хороший». Березкин приходит в себя, поворачивает голову и говорит: «Дай сюда». И, прочтя письмо, приказывает: «Меня сегодня надо оздороветь»¹. И вот влезает Березкин в

¹ В книге напечатано «оздоровить». Когда я читал рукопись, я тоже, как и издатели, решил было, что «оздороветь» — опечатка, но Гроссман мне сказал: «Не опечатка. Так задумано».

бочку из-под бензина, налитую до половины кипятком, «дымящейся от жара мутной волжской водой». Ночью выздоровевшему Березкину звонит генерал Чуйков: «Ты охрип сильно, так тебе немец даст попить горячего молока...» — «Понял, товарищ первый». — «А понял, — проговорил с угрозой Чуйков, — так имей в виду, если вздумаешь отходить, я тебе дам гогель-могелю, не хуже немецкого молока».

Бой идет в цехах Тракторного завода. Полк Березкина выдерживает напор противника. И опять зазуммерил телефон, и в трубке тугой, низкий голос Чуйкова: «Березкин? Командир дивизии ранен, заместитель и начальник штаба убиты, приказываю вам принять командование дивизией. — И после паузы: — Ты командовал полком в невиданных, адских условиях, сдержал напор. Спасибо тебе. Обнимаю тебя, дорогой».

Изумительно написан Березкин — и все же: не нов этот характер, это толстовский капитан Тушин в наше время. А вот таких, как Гетманов и Греков, до Гроссмана не изображал никто, и никто и не мог их изобразить, даже Толстой, ибо для этого надо было проникнуть в глубь человека, возвращенного нашей действительностью.

«Секретарь обкома одной из оккупированных областей Украины Дементий Трифионович Гетманов был назначен комиссаром сформировавшегося на Урале танкового корпуса. Прежде чем выехать на место службы, Гетманов на «Дугласе» слетал в Уфу, где находилась в эвакуации его семья».

Такими спокойными словами начинает Гроссман повествование о Гетманове. Еще в романе «За правое дело» Гроссман пытался нарисовать секретаря обкома, но Пряхин как тип не получился, путешествие в глубь человека тогда не состоялось. Не обладая талантом критика, трудно в кратких заметках показать колоссальность характера Гетманова, так и хочется, облегчив себе задачу, выписать все, что сказал о крестьянском сыне Гетманове Гроссман, это, кажется, невозможно, — и все же короче не скажешь:

«Он не участвовал в гражданской войне. Его не преследовали жандармы, и царский суд его никогда не высылал в Сибирь... Он был когда-то толковым, дисциплинированным пареньком... Его мобилизовали на работу в органы безопасности, а вскоре он стал охранником секретаря крайкома... А вскоре после тридцать седьмого года он сделался секретарем обкома партии, как говорили — хозяином области... Партия доверяла ему! Подчас суровы были жертвы, которые Гетманов приносил во имя партийности. Тут уж нет ни земляков, ни учителей, которым с юности обязан многим, тут уж не должно считаться ни с любовью, ни с жалостью. Здесь не должны тревожить такие слова, как «отвернулся», «не поддержал», «погубил», «предал». Но дух партийности проявляется в том, что жертва как раз-то и не нужна — не нужна потому, что личные чувства — любовь, дружба, землячество, естественно, не могут сохраняться, если они противоречат духу партийности. Сила партийного руководителя не требовала таланта ученого, дарования писателя. Она оказывалась над талантом, над дарованием. Руководящее, решающее слово Гетманова жадно слушали сотни людей, обладающие даром исследования, пения, писания книг, хотя

Гетманов не только не умел петь, играть на рояле... но и не умел со вкусом и глубиной понимать произведения науки, поэзии, музыки, живописи... Слово его могло решить судьбу заведующего университетской кафедрой, инженера, директора банка, председателя профессионального союза, крестьянского коллективного хозяйства, театральной постановки...»

Гроссман зорко замечает, что Гетманов, собираясь на фронт, не противником интересуется, а своим комкором Новиковым, человеком не из «номенклатуры», неясным, выдвинутым военным временем. Гетманов крайне озабочен не формированием корпуса, а тем (он уже это знает, есть материал), что Новиков собирается жениться на бывшей жене Крымова (которого Гетманов на фронте погубит), а у того понатыкано связей и с правыми, и с троцкистами с давних времен.

Перед отъездом Гетманова к нему заходят проститься друзья, среди них — свояк его Сагайдак, ответственный работник украинского ЦК, и старый товарищ Машук, сотрудник органов безопасности. Сагайдак раньше работал редактором газеты. Если он считал «целесообразным пройти мимо какого-либо события, замолчать жестокий недород, идейно невыдержанную поэму, формалистическую картину, падеж скота, землетрясение, гибель линкора, не видеть силы океанской волны, внезапно смывшей тысячи людей, либо огромного пожара на шахте, — события эти не имели для него значения... Ему казалось, что его редакторская сила, опыт, умение выразились в том, что он умел доводить до сознания читателей нужные, служащие воспитательной цели взгляды».

Во время проводов Гетманова происходит нечто неприятное. Перелистывая альбом, Машук находит портрет Сталина, чье лицо размалевано цветными карандашами, к подбородку пририсована синяя эспаньолка, на ушах висят голубые серьги. И хотя собрались свои, близкие люди, Гетманову и его жене становится страшно, и больше других, конечно, страшит их Машук. «Что ж, детская шалость», — успокаивает Сагайдак. «Нет, это не шалость, это злостное хулиганство», — вздыхает Гетманов.

Не стоило бы о Гетманове говорить, если бы он был написан одной краской. Нет, он по-своему умен, неплохо разбирается в людях, а уж в государственной машине разбирается отлично. Он умеет побеседовать с рядовым красноармейцем, понравиться ему своей народностью, простонародностью. Хотя он на фронте никогда не был, в бригадах о нем говорили: «Ох, и боевой у нас комиссар». До Гроссмана были в художественной литературе характеры, чем-то напоминающие Гетманова, но таких, как Гетманов, не было. Его открыл Гроссман. Самое удивительное в Гетманове то, что он всегда искренен. Заведя уже в корпусе любовницу, он искренне негодует на командира Белова, женатого, но полюбившего медсестру, и с непритворным гневом говорит ему: «Не срами себя по личной линии». Когда комкор Новиков с перепугу предлагает выпить за Сталина, Гетманов добродушно поддерживает тост: «Что ж, ладно, за старичка, за батьку нашего. Доплыли до волжской воды под его водительством». Может сказать и так, похохатывая: «Наше счастье, что немцы мужику за один год опротивели больше, чем коммунисты за двадцать пять лет», — эта сме-

лость, замечает Гроссман, «не заражала собеседника, наоборот, поселяла тревогу».

Искренность Гетманова внушает страх. Он и предательство искренне считает прекрасным поступком, если предательство, по его разумению, необходимо. Новиков, послушавшись командующего фронтом, послушавшись даже верховного, то есть Сталина, задерживает наступление на восемь минут — и достигает успеха, его расчет был правилен. Сталин выражает ему благодарность, все корпусное начальство ликует. «Спасибо тебе, Петр Павлович, русское, советское спасибо, — говорит Гетманов Новикову, — спасибо тебе от коммуниста Гетманова, низкий тебе поклон». И Гетманов искренен. И так же искренне он пишет наверх донос: командир корпуса самовольно задержал на восемь минут начало решающей операции, нарушил приказ товарища Сталина.

Таков этот человек с большой головой, со спутанными волосами, невысокий, но широкоплечий, с большим животом, с пронизательным взглядом умных маленьких глаз, неутомимо деятельный. Таким он запомнился нам, таким он запомнится тем, кто прочтет «Жизнь и судьбу», когда нас уже не будет.

О «доме Павлова» написано множество статей, стихов, он стал священным для тех, кто приезжает в Сталинград (Волгоград), чтобы поклониться подвигу наших воинов. Гроссман — единственный военный корреспондент, кто своими глазами видел этот окруженный немцами дом, но перо его нарисовало не только то, что он увидел в доме смертников, а и то, что увидел в родной стране. Когда я как-то его спросил, есть ли у Грекова черты реального Якова Павлова, Гроссман мне сказал: «У Грекова есть кое-что от Чехова», имея в виду героя своего очерка, снайпера. Очерк был броско назван «Глазами Чехова», привлек к себе во время войны внимание читателей. Эренбург, написавший в 1946 году рецензию на сборник военных рассказов и очерков Гроссмана, назвал рецензию «Глазами Гроссмана». Замечу, что обе фамилии — Чехов и Греков — двухсложные, имеют в своей основе наименование нации, и это тоже говорит о близости героя романа к прототипу.

Уже оборвалась беспроволочная связь с домом, то ли передатчик вышел из строя, то ли «управдому» Грекову надоели строгие внушения командования. Уже близится гибель дома вместе с его сражающимися обитателями, но комиссара полка все еще тревожат сведения, полученные от информатора: Греков совсем распустился, говорил бойцам черт знает какую ересь. Правда, с немцами Греков воюет лихо, этого информатор не отрицал. Что же это за ересь говорил Греков бойцам? А вот, например, такую: «Нельзя человеком руководить как овцой, на что уж Ленин был умный, и тот не понял. Революцию делают для того, чтобы человеком никто не руководил. А Ленин говорил: «Раньше вами руководили по-глупому, а я буду по-умному». Между прочим, и мне приходилось в землянках слышать нечто подобное: страх перед начальством отступает, когда наступает смерть и чувствуешь ее дыхание.

В доме «шесть дробь один» люди не были просты. Молоденький Сережа удивляется — как это люди с такой смелостью осуждают наркомвнудельцев, с такой смелостью и болью говорят о бедствиях и мучениях, выпавших крестьянству в период сплошной коллективизации. И эти же люди отчаянно бьются за последний крохотный кусочек своей родины, за этот дом, находящийся на оси вражеского удара.

Знаменитая загадка русской души разгадывается так: это душа людей. Во время немецкого авиационного налета лейтенант Батраков, до войны преподаватель математики, близорукий, которому не подходят ни одни очки, снятые с убитых немцев, спокойно над обрывом лестничной клетки читает книгу, и Греков произносит замечательную, чисто русскую фразу: «Нет уж, ни хрена немцы не добьются. Ну что они с таким дураком сделают?» Он называет дураком Батракова с тем же основанием, с каким русская сказка называет дураком самоотверженного, душевного Иванушку. И никто из этих «дураков», даже имея на то возможность, не покидает дом, в котором — они это хорошо знают — погибнут все. Более того, Сережа без разрешения начальства возвращается в дом Грекова из штабного блиндажа. «Правильно, — одобряет Греков, — дезертировал к нам на тот свет».

Впервые мы узнаем о Грекове от политрука Сошкина, побывавшего в доме «шесть дробь один»: «Все этого Грекова боятся, а он с ними, как ровня, лежат вповалку, и он среди них, «ты» ему говорят, зовут «Ваня». Не воинское подразделение, а какая-то Парижская коммуна». Так по донесению Сошкина заводится на Грекова дело на уровне — шутка сказать! — Политуправления фронта. А знало бы Политуправление, какие разговорчики ведут между собой смертники, когда тот же Сошкин приводит к ним радистку Катю:

«— В дамочке бюст для меня основное.

— Конечно, в наших условиях и такая Катька сойдет, летом и качка прачка. Ноги длинные, как у журавля, сзади пусто, глаза большие, как у коровы.

— Тебе бы только сисястая. Это отживший, дореволюционный взгляд.

— Кому даст? Грекову — это точно».

Так о своем командире рядовые бойцы говорить не вправе. А Грекову, диктующему Кате донесение в штаб полка, хочется схватить ее, ощутить ее тепло. Греков — хозяин, волевой, иногда жестокий, ему в доме подвластно все, и он приказывает Сереже, который любит Катю и любим, отправиться из дома в штаб полка, он дарит ему жизнь, а Сережа думает: «Изгнание из рая, как крепостных разлучает», он смотрит на Грекова с ненавистью, взгляд Грекова кажется ему отвратительным, безжалостным, наглым, но Греков неожиданно говорит: «С тобой пойдет радистка, доведешь ее до штаба полка».

И вдруг Сережа увидел, «что смотрят на него прекрасные, человеческие, умные и грустные глаза, каких он никогда не видел в жизни». Греков спасает влюбленных, новые Дафнис и Хлоя — дети войны — избегают смерти в доме «шесть дробь один».

Пехотный капитан Греков до войны читал книжечки, ходил в кино, играл с приятелем в преферанс, пил водочку, ссорился с женой, которая ревновала его ко многим девицам и дамам. На войне он поражает бойцов и командиров, восхищает их удивительным соединением силы, отваги, властности — с житейской обыденностью. Штаб приказывает ему по радио ежедневно в девятнадцать ноль-ноль подробно отчитываться, но Греков сбивает у радистки ладонь с переключателя, говорит с усмешкой: «Осколок мины попал в радиопередатчик, связь наладите, когда Грекову нужно будет», ему некогда заниматься отчетностью, он воюет.

В доме «шесть дробь один», за которым «следит весь мир», сталкивает Гроссман с еретиком Грековым ортодокса Крымова, который с опасностью для жизни пробирается в дом, чтобы разобрать дело Грекова. «Все в нем — и взгляд, и быстрые движения, и широкие ноздри приплюснутого носа — было дерзким, сама дерзость... «Ничего, ничего, согну я тебя», — подумал Крымов».

Нет, не согнет. Многообразованный сотрудник Коминтерна, знавший Троцкого, Бухарина, видных деятелей международного коммунистического движения, храбрый участник гражданской и Отечественной войн со всем своим марксистско-ленинским учением оказывается бессильным перед народной правдой пехотного капитана. Не ладится у Крымова и связь с бойцами, возникшее в них чувство близкой смерти ослабляло их связь с комиссаром. Сапер с головой, перевязанной грязным окровавленным бинтом, спросил:

— А вот насчет колхозов, товарищ комиссар. Как бы их ликвидировать после войны?

— Оно бы неплохо докладик на этот счет, — сказал Греков.

— Я не лекции пришел вам читать, — сказал Крымов, — я военный комиссар, я пришел, чтобы преодолеть вашу недопустимую партизанщину.

— Преодолевайте, — сказал Греков. — А вот кто будет немцев преодолевать?

— Найдутся, не беспокойтесь. Не за супом я пришел, как вы выражаетесь, а большевистскую кашу варить.

— Что ж, преодолевайте, — сказал Греков, — варите кашу.

— А понадобится, и вас, Греков, с большевистской кашей съедят».

И вот честный, порядочный Крымов решил съесть Грекова, написал донос на него, а подлые, ничтожные карьеристы съели Крымова. Но таково наше родное безумие, что еретик Греков погибает как герой, ему воздают должное, а ортодоксу Крымову суждена бессмысленная мучительная смерть в застенке.

Когда зимой 1960 года я прочел «Жизнь и судьбу», когда я думал о людях, с которыми встретился в романе, рождалась во мне такая мысль: как не похожи друг на друга эти русские люди — Гетманов и Греков, Крымов и тот особист-подполковник, который бил Крымова. Но, думал я, незаметный поворот судьбы — и их жизнь сложилась бы иначе, они могли бы стать близкими друг другу. Недаром «в человеке, топтавшем его, Крымов узнавал не чужака, а себя же, Крымова, вот того, что мальчишкой

плакал от счастья над потрясшими его словами Коммунистического манифеста — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Это чувство близости поистине было ужасным».

Не сразу понял я, читая книгу, что иной связью, куда более сложной, чем я думал раньше, связаны жизнь и судьба. Эта связь непостижима нашему разуму. Судьбу не изменишь, ее рождает жизнь, а жизнь есть Бог. И напрасно писатели, философы, политики гадают, что было бы с Россией, если бы умнее был царь Николай, серьезней и деятельней Керенский. Все это пустые разговоры. Путем, ей определенным, пошла Россия, и на этом пути, как светильники надежды, светятся Березкин, Греков, Штрум, Ершов, Левинтон, Иконников. Я не знаю, возможно ли Царство Божие на земле, но твердо знаю, что Царство Божие есть в нас. Поэтому мы сильнее зла, Россия сильнее зла.

Возникли во мне при чтении романа и мысли гораздо менее важные, но — как бы выразиться лучше — приятные. С удовольствием я узнавал в некоторых персонажах известные мне прототипы, вспоминал, кто при мне, при каких обстоятельствах произносил ту или иную фразу. Рюрикович Шаргородский — это, конечно, наш общий знакомый князь Звенигородский, который писал стихи, отмеченные прелестным влиянием Фета, и говорил нам по-старчески хриплым, густым голосом: «Мои стихи признает у нас вся советская и антисоветская общественность, а их не печатают».

Дочь Гроссмана Катя еще девушкой случайно подслушала, как молодые парни рассуждают о ее внешности, рассказала об этом отцу со свойственным ей юмором. Точно такие же рассуждения красноармейцев (приведенные выше) в доме «шесть дробь один» случайно подслушивает другая Катя, радистка.

Комиссар родимцевского штаба, расположенного в трубе, рассказывает Крымову: «Пришлось мне везти к фронту на своей машине московского докладчика Павла Федоровича Юдина. Член Военного совета мне сказал: «Волос потеряет, голову тебе снесу». Главка о родимцевской трубе была опубликована в одной из наших газет. И я вспомнил, как Елена Усевич, Михаил Лифшиц и еще кто-то направили Гроссману резкое письмо: им показалось, что комиссар непочтительно отзывается об их друге, партийном философе-академике Юдине, которого Гроссман действительно презирал.

В Марье Ивановне Соколовой я легко узнавал Екатерину Васильевну Заболоцкую. Так же как Штрум с Соколовой, совершал с ней Гроссман прогулки по Нескучному саду. Есть и другие в их отношениях знакомые мне подробности. Я ничего не пишу о последней любви Гроссмана, принесшей ему много счастья и страдания и оказавшейся мучительной для четырех чистых, хороших людей. Я не пишу об этой любви, потому что рано и трудно о ней писать...

У Гроссмана летчики в блиндаже поют песню «Машина в штопоре кружится». Я вспомнил, как летом 1943 года нам пел в Москве эту песню Твардовский, голос у него был слабый, а слух отличный. И Гроссман с тех пор часто повторял слова этой песни.

Старый кавалергард Тунгусов рассказывает в бараке лагерникам роман, всаживая в свою баланду знаменитого Лоуренса, события из жизни трех мушкетеров, плавания жюльверновского «Наутилуса». Точно так же поступал, чтобы задобрить уголовников, наш приятель С. Г. Гехт, отсидевший восемь лет. И если слушатели находили в повествовании противоречия, Гехт, как и Тунгусов, бойко изворачивался: «Положение Надин лишь казалось безнадежным».

Николай Чуковский, когда мы с ним еще дружили, рассказал нам: у него в Харькове жил дядя Хаим, который называл себя Эдуардом и на недоуменный вопрос племянника объяснял: «Разве ты не знаешь, что в Англии все Хаимы — Эдуарды». Точно так же двоякость своего имени объясняет в романе Эдуард Исаакович Бухман, бухгалтер.

Тот же Гехт нам рассказывал, что во время ночного допроса, измученный следователем, он в отчаянии заявил о том, что его хвалили в печати. А следователь сказал: «Вы что, почетную грамоту сюда пришли получать?» Те же слова говорит следователь Крымову.

Гроссман любил поддразнить своего пасынка Федю в пору его созревания гоголевской фразой: «Эко тебя, брат, вывездило». Точно так же поддразнивает Штрум своего пасынка Толю.

В годы борьбы с космополитизмом была напечатана в «Правде» статья Юрия Жданова, сына члена Политбюро. В статье теория Эйнштейна сопровождается унижающими словами «так называемая». Гроссмана это оскорбило. В романе молодой человек из Отдела науки тоже говорит о теории Эйнштейна «так называемая», и Штрум на это реагирует с тем же негодованием, что и Гроссман.

Таких мест немало в романе, и, разумеется, с особенным волнением читал я те фразы, страницы, в которых отразились мои рассказы и стихи, например стихи о том, как немцы жгли на берегу Волги цыганку, или о калмыцкой степи, о чувстве воли во время моих блужданий по ней. «Воля... воля», — повторяет подполковник Даренский, двигаясь по калмыцкой степи, а мое стихотворение так и называется «Воля» (Иосиф Бродский, впоследствии составивший мою книгу для издательства «Ардис», по этому стихотворению назвал всю книгу, — лучше я бы сам не мог назвать).

Как-то во время работы над романом Гроссман мне сказал: «Ну и въедливый ты. Помнишь моего Даренского? Так я ему подарил твои ощущения степной воли. Будешь знать, как не печататься».

Кстати, о подполковнике Даренском. Он — действующее лицо и в романе «За правое дело». Твардовский, печатая роман в своем журнале, попенял автору, что и эта фамилия еврейская. А фамилия принадлежала домработнице Гроссмана, подмосковной крестьянке Наташе.

Теперь коснусь тех роковых причин, которые привели Гроссмана к решению отдать роман в журнал «Знамя». Прежде всего, конечно, воспаленная обида Гроссмана на Твардовского. Это — самая роковая и самая главная причина. Бессмысленно предполагать, что «Новый мир» напечатал бы «Жизнь и судьбу», но могу твердо поручиться, что роман не был бы арестован, если бы рукопись была сдана в «Новый мир». Твардовский

не отправил бы рукопись «куда надо». Но Гроссман ни за что не хотел иметь дело с отрeksiмся от него редактором. Это была обида не только автора, но и бывшего друга.

Другая причина заключается в том, что Гроссманом овладела странная мысль, будто бы наши писатели-редакторы, считавшиеся прогрессивными, трусливей казенных ретроградов. У последних, мол, есть и сила, и размах, и смелость бандитов. Они скорее, чем прогрессивные, способны пойти на риск. Странную эту мысль укрепило в Гроссмане одно событие. Гроссман отдал в либеральный альманах «Литературная Москва» свой замечательный рассказ «Тиргартен» (впоследствии был напечатан в «Нашем современнике»). Редактором альманаха был Э. Г. Казакевич, чей ум и одаренность Гроссман ценил. Правда, он был сердит на Казакевича из-за меня: по рекомендации Гроссмана Казакевич взял у меня для первого номера альманаха большую подборку стихотворений, а я не печатался как оригинальный поэт почти четверть века. Но в последнюю минуту Казакевич, ссылаясь на вышестоящие инстанции, отказался от подборки, утешая меня тем, что такая же участь постигла стихотворения Пастернака. У Гроссмана с Казакевичем был тяжелый разговор, в результате которого Казакевич решил поместить в альманахе одно мое стихотворение, хотя и безобидное, но все же в обезопасивающем сопровождении перевода. Гроссман был в какой-то мере удовлетворен. Отношения двух писателей вроде бы наладились, но разладились опять из-за «Тиргартена»: Казакевич не решался опубликовать рассказ в своем альманахе. Смело напечатывав яшинские «Рычаги», в которых бичевались некоторые проявления бюрократизма, рождающие в людях двойственность сознания, Казакевич не без основания усмотрел в «Тиргартене» ту зеркальность, которая побуждала бы читателей думать о сходстве двух режимов. После смерти Гроссмана Атаров в предисловии к книге «Добро вам», в которой помещен «Тиргартен», умело хвалит рассказ, называя его антифашистским. В сентябре 1956 года Гроссман написал мне в Душанбе:

«С Казакевичем все это дело принимает чудовищные формы. Я наконец позвонил Никитиной¹ и сказал: «Передайте Каз[акеви]чу, пусть позвонит мне сегодня же: я привык к редакционному хамству, но это превосходит то, к чему я привык». Думал, что он позвонит мне через час, но идут дни, и опять мертвое молчание. Фантастическое хамство. Я уже письмо написал ему, да не знаю, стоит ли стрелять по воробью из пушки. Вот тут бы с тобой посоветоваться. Семушка, мне твое пребывание в Ср[едней] Азии на этот раз с первых дней кажется особо тягостным».

В конце концов редколлегия альманаха во главе с Казакевичем отвергла рассказ. Этих людей можно понять, они пытались доказать властям, что вполне благонамеренные писатели способны делать хорошее издание. Альманах, однако, подвергся партийной критике и вскоре был вынужден прекратить свое существование. Гроссман понять их не хотел, считал их трусами, считал, что после смерти Сталина пора им всем выдавить из себя раба.

¹ Секретарь альманаха.

Именно в это время, когда нервы Гроссмана были так напряжены, редактор «Знамени» В. М. Кожевников попросил его дать роман в «Знамя». Гроссман сидел без копейки, и Кожевников, возможно, имея об этом сведения, предложил ему солидный аванс — под произведение, которого не читал. Гроссман согласился не сразу, он попробовал испытать Кожевникова, предложил ему «Тиргартен». Журнал пожелал рассказ напечатать. Кожевников довел его до верстки, но цензура запретила рассказ, увидев в произведении о немцах аллюзии с советской действительностью. Кожевников тут ни при чем, он не хитрил, он и впрямь хотел рассказ напечатать. Гроссман в этом убедился. По крайней мере, Кожевников сумел его убедить. И Гроссман окончательно решил связать судьбу романа со «Знаменем». Надо учесть и то, что Гроссман в свое время был близок этому журналу, несколько его вещей увидело свет на страницах «Знамени». А журнал был заинтересован в романе Гроссмана, потому что первая книга — «За правое дело» — пользовалась прочным успехом, и вторая книга привлекла бы огромное количество читателей, подняла бы весьма поблекший — по сравнению с блеском «Нового мира» — авторитет журнала.

К этому надо добавить, что несколько (два или три) отрывков из «Жизни и судьбы», напечатанных в разных газетах (один отрывок, странно сказать, в «Вечерке»), взбудоражили литературную среду, о них заговорили, и в то же время, читая их, нельзя было угадать всей сути романа. Предполагаю, что определенную роль во всем деле сыграл Кривицкий, ставший влиятельным членом редколлегии «Знамени»: после смерти Сталина он понял, что совершил оплошность, отказавшись заодно с Симоновым печатать «За правое дело». А вдруг и вторую часть ожидает такой же успех? Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Кривицкий — это орешек. Во время войны он благодетельствовал Платонову. Однажды, заранее условившись, мы с Гроссманом пришли к Платонову и вдруг в темноте узкого коридорчика приблизился к нам Платонов и прошептал: «Братцы, у меня Кривицкий, так что...» Но быстро вслед за Платоновым появился Кривицкий и сказал, заикаясь: «Здравствуйте, я пришел к вам, чтобы Андрей Платонович не успел меня обругать».

30 июля 1960 года Гроссман мне писал:

«В Москве жара невероятная, держится упорно. Переносу ее с трудом — в двояком смысле, но, к сожалению, не в тройном. Дело в том, что «Труд», которому я пошел полностью навстречу, все же не напечатал отрывка. Мотивировка настолько лжива и лицемерна, что тошно.

«Знамя» наседает, торопит, просит уточнить дату сдачи рукописи».

Насколько мне помнится, в середине 1960 года Гроссман окончательно завершил работу над романом. Перед тем как отнести рукопись в редакцию, Гроссман попросил меня прочесть весь роман снова и ответить ему на два вопроса: 1. Считаю ли я, что после неизбежных купюр, вставок, тяжелых и легких ранений есть все же реальная возможность того, что роман будет опубликован. 2. Какие места, по-моему, следует снять заранее, — такие, что их даже показывать нельзя.

И вот я прочел «Жизнь и судьбу» в третий раз и, как часто бывает, нашел много прекрасного, раньше мной не замеченного, со всей силой почувствовал свое приобщение к художественному познанию человека в мире и мира в человеке. Окончив чтение, я отвез на такси две тяжелые папки на Беговую. На первый вопрос Гроссмана я ответил так: нет никакой надежды, что роман будет опубликован. Я умолял Гроссмана не отдавать роман Кожевникову, облик которого был всем литераторам достаточно известен. На лице Гроссмана появилось ставшее мне знакомым злое выражение. «Что же, — спросил он, — ты считаешь, что, когда они прочтут роман, меня посадят?» — «Есть такая опасность», — сказал я. «И нет возможности напечатать, даже оскопив книгу?» — «Нет такой возможности. Не то что Кожевников — Твардовский не напечатает, но ему показать можно, он не только талант, но и порядочный человек». Гроссман взглянул на меня с гневом, губы его дрожали: «Я не буду таким трусом, как ты, я не намерен четверть столетия прятать свои рукописи в стол. А ты, пока Платонов прал против рожна¹, пока меня били и топтали, спокойненько переводил своих восточных клиентов, предаваясь неге и хлеву».

Я подумал, что Гроссман ко мне несправедлив. Я делал при Сталине попытки печататься, Гроссман мне сам говорил, что попытки эти напрасные. В то же время я чувствовал, что по сути он прав, я не прал против рожна. Надо сказать, что если Гроссмана порой заставляли задумываться мои рассуждения о нашем обществе, о важности развития национального самосознания советских народов, мои экуменические мечтания, то на меня серьезное и важное влияние оказывала нравственная сила Гроссмана. И когда впоследствии я сделал решительный поворот в своей жизни, я мысленно спрашивал совета у Гроссмана, и мне казалось, что слышу одобрение оттуда, где мы еще, может быть, встретимся...

Наступило тяжелое молчание. Наконец Гроссман, астматически дыша, спросил: «Ты отметил места, которые предлагаешь выбросить?» Я начал читать по приготовленной записке. Наиболее опасных мест я отобрал немного — все в романе было опасным, — скажем, 15—20. Иногда это касалось нескольких страниц, иногда — нескольких строк. Думаю, что общий объем предлагаемых сокращений составлял полтора или два печатных листа, не больше. Помню, что посоветовал выбросить всю сцену беседы Лисса с Мостовским, где гестаповец говорит старому большевику: «Когда мы смотрим в лицо друг друга, мы смотрим в зеркало... Наша победа — это ваша победа». Обратил внимание Гроссмана на несколько строк — не с точки зрения их опасности, а с другой. Вот эти строки: «Поэт, крестьянин от рождения, наделенный разумом и талантом, пишет с искренним чувством поэму, воспевающую кровавую пору страданий крестьянства, пору, пожравшую его честного и простодушного труженика-отца». Гроссман безропотно со мною соглашался, он выбросил из рукописи все отобранные мною места, и среди них те строки, в которых

¹ Выражение «прал против рожна» — из рассказа Сергеева-Ценского «Пристав Дерябин».

легко угадывается Твардовский. Потом, когда рукопись попала к Твардовскому, Гроссман был доволен тем, что в ней нет этих строк.

Когда до меня дошла изданная за рубежом книга, я нашел в ней и место о Твардовском, и беседу Лисса с Мостовским и отсюда сделал вывод, что издатели получили копию не того экземпляра, который был сдан в «Знамя», а полного, без сокращений. В книге имеются, по техническим, как сообщают издатели, причинам, пропуски разной величины. Если память мне не изменяет, пропуски эти небольшие.

Возвращаясь к нашему свиданию, остановлюсь на одной мелочи, которая, однако, кое-что объясняет в состоянии Гроссмана. В конце разговора я сказал: «Вася, у тебя дико расставлены знаки препинания. Я пытался выправить, надо перенести правку в другие экземпляры». Гроссман обозлился, вспылил: «Ты кроме знаков препинания ничего в романе не разглядел». Встретившись с моим изумленным взглядом, он быстро обнял меня, слезы стояли в его глазах.

Шли за неделей неделя, за месяцем месяц, от «Знамени» — ни звука. Однажды Гроссману обещал кое-что разведать Виктор Некрасов, он был вхож в эту редакцию, сказал, что придет в такой-то день, час. Ольга Михайловна, хлебосольная не по средствам, приготовила обильную выпивку и еду. Был приглашен и я, мне хотелось встретиться за дружеским столом с высокоталантливым писателем. Мы были немного знакомы по Малеевке, но не более того. Ждали допоздна. Некрасов не пришел, забыл, видно, загулял. Гроссман был обижен до глубины души, он любил Некрасова — и писателя, и человека.

А месяцы идут, а «Знамя» молчит. Вконец измученный, Гроссман надумал вот что. В это время сильно пошел в литературно-бюрократическую гору Николай Чуковский. Он стал членом редколлегии «Знамени». Я с ним поневоле продолжал встречаться на переводческих заседаниях — встречаться все же реже, так как эти заседания мне надоели. Гроссман поручил мне порасспросить нашего бывшего приятеля. Коля охотно откликнулся на мой вопрос такими словами: «Я не читал романа Василия Семеновича. Насколько я знаю, не читали его и другие беспартийные члены редколлегии. В редакции говорят, что роман прячут ото всех Кожевников, Кривицкий и Скорино. На прошлой неделе мы поехали на читательскую конференцию в Ленинград, я был в одном купе с Кожевниковым, спросил его о романе Гроссмана. Он буркнул: «Подвел нас Гроссман», — и перевел разговор на другую тему».

Переводческое заседание затянулось до одиннадцати вечера, но я знал, что Гроссман волнуется, ждет меня, и решил захватить к нему, несмотря на поздний час. Гроссман, его жена, Федя и его жена Ира и их дочь Леночка занимали на Беговой трехкомнатную квартиру. Две маленькие комнаты были смежными, а отдельная, та, что чуть побольше, служила и кабинетом Гроссмана, и общей столовой, и гостиной. Я застал такую картину. Посреди комнаты за квадратным столиком Ольга Михайловна, Зинаида Николаевна Пастернак и Берта Яковлевна Сельвинская играли в китайскую игру маджонг (не уверен, что правильно транскрибирую это слово). Мы примостились в углу, я шепотом пересказал сообщение Николая Чу-

ковского. «Повтори», — сказал Гроссман. Выслушав меня во второй раз, сказал, и губы его, как всегда при сильном волнении, дрожали: «А Люся играет в маджонг». Он потом нередко вспоминал и этот несчастный маджонг, и другие, большие и малые, грехи и прегрешения Ольги Михайловны, — он, например, считал, что его мать, погибшая в бердичевском гетто, осталась бы жива, если бы Ольга Михайловна незадолго до войны не воспротивилась бы тому, чтобы мать переехала к ним в Москву, и та вынуждена была навсегда расстаться с сыном. Но я думаю, что Ольга Михайловна была ему неплохой женой. Все дело в том, что он разлюбил ее и полюбил другую.

Между тем через знакомых, имевших какое-то отношение к журналу, стали просачиваться слухи, что «Знамя» не хочет печатать роман. Наконец Гроссмана вызвали на заседание редколлегии. Он не пошел и правильно сделал. Ему прислали стенограмму. Все выступавшие, среди которых малюты скуратовы чередовались с тартюфами, единодушно отвергли роман как произведение антисоветское, очернительское. Николай Чуковский в заседании не участвовал.

Гроссман уже давно стал понимать, что совершил непоправимую ошибку, отдав «Жизнь и судьбу» в руки Кожевникова и Кривицкого. Он попытался возобновить отношения с Твардовским. Вот что он мне написал в Малеевку 1 февраля 1961 года — еще до рокового заседания редколлегии:

«Дорогой Сема, получил твое письмо. Вольный сын кефира, поэт и переводчик! Я снова заболел, но на сей раз обошлось дело, кажется, без воспаления легких.

Поздравляю тебя с тем, что твоя дочь Зоя Семеновна вступила в законный зарегистрированный брак. Дай им бог всего хорошего.

Имел перед болезнью беседу с Твардовским. Встретились у него, говорили долго. Разговор вежливый, осадок тяжелый. Он отступил по всему фронту, от рукописи и от деловых отношений отказался полностью, да и от иных форм участия в литературной жизнедеятельности собеседника отстранился. Так-то».

Однако на этом отношения Гроссмана с Твардовским не оборвались окончательно. Поздней осенью Гроссман с Ольгой Михайловной поехали в Коктебель. Там в это время отдыхали Твардовский и Мария Илларионовна. Жены, в прошлом соседки по Чистополку, помирили мужей. Твардовский сказал: «Дай мне роман почитать. Просто почитать». И Гроссман, вернувшись в Москву, отвез ему, видимо, с некой тайной надеждой, роман в редакцию «Нового мира». После ареста романа к Гроссману чуть ли не в полночь приехал Твардовский, трезвый. Он сказал, что роман гениальный. Потом, выпив, плакал: «Нельзя у нас писать правду, нет свободы». Говорил: «Напрасно ты отдал бездарному Кожевникову. Ему до рубля девяти с половиной гривен не хватает. Я бы тоже не напечатал, разве что батальные сцены. Но не сделал бы такой подлости, ты меня знаешь». По его словам, рукопись романа была передана «куда надо» Кожевниковым.

Смеясь, Гроссман мне рассказывал: «Как всегда, водки не хватило. Твардовский злился, мучился. Вдруг он мне заявил: «Все вы, интеллигентики, думаете только о себе, о тридцать седьмом годе, а до того, что Сталин натворил во время коллективизации, погубил миллионы мужиков, — до этого тебе дела нет». И тут он стал мне пересказывать мои же слова из «Жизни и судьбы». «Саша, одумайся, об этом я же написал в романе». Глаза у него стали сначала растерянными, потом какими-то бессмысленными, он низко опустил голову, сбоку с его губ потекла струйка».

В феврале 1961 года роман был арестован. Гроссман мне позвонил днем и странным голосом сказал: «Приезжай сейчас же». Я понял, что случилась беда. Но мне в голову не приходило, что арестовали роман. На моей памяти такого не бывало. Писателей арестовывали охотно, но рукописи отбирались во время ареста, а не до ареста авторов. Только недавно я узнал, что еще в 1926 году изъяли рукопись у Булгакова.

Заявились двое, утром, оба в штатском. Ольги Михайловны дома не было, пошла на Ваганьковский рынок. Дверь открыла домработница Наташа. Когда эти двое вошли в комнату к Гроссману, Наташа сказала его невестке Ире: «Кажется, нехорошие люди пришли». Предъявили Гроссману ордер на изъятие романа. Один, высокий, представился полковником, другой был и званием, и ростом помельче. Вот этот, второй, постучался к Ире и сказал: «У него что, большое сердце? Дайте что-нибудь сердечное». Ира дала капли и спросила: «По какому поводу вы пришли?» — «Мы должны изъять роман. Он ведь написал роман? Так вот, изыдем. Об этом никому не говорите, подписку с вас не берем, но болтать не надо».

Этот же, званием пониже, вышел во двор и вернулся с двумя понятиями. Ясно было видно, рассказывал Гроссман, что понятия — не первые попавшиеся прохожие, а из того же учреждения, что и незваные гости. Обыск сделали тщательный. Забрали не только машинописные экземпляры, но и первоначальную рукопись, и черновики не вошедших глав, и все подготовительные материалы, эскизы, наброски. Другие рукописи, не имеющие отношения к роману, обыскивателей не интересовали. Например, несколько рассказов, повесть «Все течет» (первый вариант). Действовали по-военному точно, выполняя определенное задание — изъять только роман и все, что связано с романом. Обыскивали только в той комнате, где Гроссман работал. Были вежливы. Тот, что помельче званием, обратился к Гроссману: «Извиняюсь, дело житейское, где тут у вас туалет?»

Обыск длился час с чем-то. Полковник, когда кончился обыск, спросил, имеются ли где-нибудь другие экземпляры. Гроссман ответил: «У машинистки, она оставила один экземпляр у себя, чтобы лучше вычитать. Другой — в «Новом мире». Был еще в «Знамени», но тот, наверное, у вас».

С Гроссмана хотели взять подписку, что он не будет никому говорить об изъятии рукописи. Гроссман дать подписку отказался. Полковник не настаивал.

Гроссмана увели. Сказали Ире: «Не волнуйтесь, часика через полтора он вернется, мы едем с ним к машинистке».

Поехали не только к машинистке, но и на Ломоносовский проспект, где Гроссман был прописан: вследствие семейных обстоятельств он временно получил через Союз писателей комнату в коммунальной квартире по этому адресу. Там ничего не нашли.

Гроссман вернулся, сказал, что у машинистки забрали ее экземпляр. Потом стало известно, что пришли в «Новый мир», приказали вскрыть сейф, изъяли рукопись... Я никогда не видел, чтобы Гроссман был так подавлен, как после ареста романа.

Борис Ямпольский верно передает его состояние, когда описывает встречу с нами в Александровском саду (я читал его воспоминания в рукописи).

Когда в 1953 году ударили по роману «За правое дело», когда мы каждый день ждали ареста, когда была реальная опасность, что Гроссмана приобщат к делу врачей-убийц, он был менее подавлен, чем сейчас. Конечно, он предполагал, что вслед за романом могут арестовать и его самого, но не это его мучило, а ужасная судьба — он это понимал — его самого главного, самого серьезного произведения. «Как быть, как быть?» — повторял он, и что я мог ему сказать? Разве что горько-шутливо: «Беги на Дон к Каледину», и он улыбался, но улыбка не прогоняла тоску из его глаз.

Теперь, когда я пишу эти записки, я думаю вот о чем. Почему Гроссману не приходило в голову предложить «Жизнь и судьбу» какому-нибудь зарубежному издательству, скажем, в какой-нибудь более либеральной, чем наша, социалистической стране? Ведь уже был пример, уже разразилась травля Пастернака, когда итальянское коммунистическое издательство опубликовало роман «Доктор Живаго». Почему Гроссмана, по его собственному выражению, «задушили в подворотне», почему об аресте романа не узнали читатели ни у нас, ни за рубежом?

Затрудняюсь ответить на эти вопросы. Возможно такое объяснение: в те годы не в обычае были знакомства с иностранными корреспондентами, издателями. Во всяком случае, Гроссман никого из них не знал. Впрочем, мне вспоминается следующее. Однажды в больнице за месяц-полтора до своей смерти Гроссман спросил у меня: «Ты читал Жореса Медведова о шарлатане Лысенко?» Я не читал. «Говорят, что автор отправил свою рукопись за границу, а она вернулась к нам уже в виде книги, по Москве ходит. Мне об этом на днях рассказали. Как ты думаешь, и я мог бы так поступить?..» Ответа моего он не дождался, впал в забытие, закрыл глаза...

У Гроссмана вышел отдельной книжечкой рассказ «Жизнь» в Югославии, кое-что печаталось в Польше. Из Чехословакии он получил роскошное издание романа «За правое дело», один его рассказ был переведен в Китае, какие-то вещи переводились на английский, немецкий, испанский. Но все это происходило самотеком, без какого-либо контакта с издателями, переводчиками. Мне известно, что даже в годы более поздние, даже после выхода в свет повести «Все течет» иностранные корреспонденты не проявляли к судьбе Гроссмана никакого интереса. Станный народ, нам их не понять, как и им нас.

При всей своей подавленности Гроссман втайне не терял надежды на то, что отношение к роману может перемениться. Он видел не только отрицательные, но и положительные черты импульсивного Хрущева, считал его доклад на XX съезде партии замечательным, ему внушали, как он говорил, «этюды оптимизма» документы XXII съезда партии. Он решил поговорить с Д. А. Поликарповым. Поликарпов был одно время оргсекретарем Союза писателей, потом покатился вниз, как раз в это время Гроссман с ним встретился в Гаграх, они часто беседовали на пляже, потом Поликарпов опять поднялся, стал в ЦК заведовать культурой. Я его тоже знал, он был из тех, кто делает зло только по приказу. Поликарпов, однако, как бы забыл о гагринском пляже, был с Гроссманом суров, резок, между прочим, со вздохом заметил: «Многочисленный орденоседец, член правления Союза писателей, а что написал!» Посоветовал Гроссману обратиться с письмом в ЦК. Если не ошибаюсь, он же посоветовал поговорить с руководителями Союза писателей, читавшими роман, помог устроить встречу с ними.

Состоялась у Гроссмана беседа с секретарем правления Союза писателей СССР Марковым, с секретарем правления Союза писателей СССР Сартаковым, с председателем правления московского отделения Союза писателей Щипачевым. По словам Гроссмана, его собеседники вели себя жестко, но чувствовалось, что арест романа им не по душе. Признали, что в романе нет очернительства, многое было так, как написал автор, но в нынешнее сложное время издание романа нанесло бы вред нашему государству, если и можно будет издать роман, то лет через 250. Мягче других был Щипачев, слову «вредный» он предпочитал «субъективный».

Гроссман написал письмо Хрущеву. Копия письма сохранилась. Письмо составлено в том духе, в каком, начиная от Пушкина, составлены все письма писателей на высочайшее имя, и исполнено собственного достоинства, бесстрашной веры в свою правоту, в то, что немислимо новое общество «без непрерывного роста свободы и демократии».

Вот это письмо:

«Первому секретарю ЦК КПСС
Никите Сергеевичу Хрущеву

Дорогой Никита Сергеевич!

В октябре 1960 года я отдал рукопись моего романа «Жизнь и судьба» в редакцию журнала «Знамя». Примерно в то же время познакомился с моим романом редактор журнала «Новый мир» А. Т. Твардовский.

В середине февраля 1961 года сотрудники Комитета Государственной Безопасности, предъявив мне ордер на обыск, изъяли оставшиеся у меня дома экземпляры и черновики рукописи «Жизнь и судьба», рукопись была изъята из редакций журналов «Знамя» и «Новый мир».

Таким образом закончилось обращение в многократно печатавшие мои сочинения редакции с предложением рассмотреть десятилетний труд моей писательской жизни.

После изъятия рукописи я обратился в ЦК КПСС к тов. Поликарпову. Д. А. Поликарпов сурово осудил мой труд и рекомендовал мне продумать, осознать ошибочность, вредность моей книги и обратиться с письмом в ЦК КПСС.

Прошел год. Я много, неотступно думал о катастрофе, происшедшей в моей писательской жизни, о трагической судьбе моей книги.

Я хочу честно поделиться с Вами моими мыслями. Прежде всего должен сказать следующее: я не пришел к выводу, что в моей книге есть неправда. Я писал в своей книге то, что считал и продолжаю считать правдой, писал лишь то, что продумал, прочувствовал, перестрадал.

Моя книга не есть политическая книга. Я, в меру своих ограниченных сил, говорил в ней о людях, об их горе, радости, заблуждениях, смерти, я писал о любви к людям и о сострадании к людям.

В моей книге есть горькие, тяжелые страницы, обращенные к нашему недавнему прошлому, к событиям войны. Может быть, читать эти страницы нелегко. Но, поверьте мне, — писать их было тоже нелегко. Но я не мог не написать их.

Я начал писать книгу до XX съезда партии, еще при жизни Сталина. В эту пору, казалось, не было ни тени надежды на публикацию книги. И все же я написал ее.

Ваш доклад на XX съезде придал мне уверенности. Ведь мысли писателя, его чувства, его боль есть частица общих мыслей, общей боли, общей правды.

Я предполагал, отдавая рукопись в редакцию, что между автором и редактором возникнут споры, что редактор потребует сокращения некоторых страниц, может быть, глав.

Редактор журнала «Знамя» Кожевников, а также руководители Союза писателей Марков, Сартаков, Щипачев, прочитавшие рукопись, сказали мне, что печатать книгу нельзя, вредно. Но при этом они не обвинили книгу в неправдивости. Один из товарищей сказал: «Все это было или могло быть, подобные изображенным людям также были или могли быть». Другой сказал: «Однако печатать книгу можно будет через 250 лет».

Ваш доклад на XXII съезде с новой силой осветил все тяжелое, ошибочное, что происходило в нашей стране в пору сталинского руководства, еще больше укрепил меня в сознании того, что книга «Жизнь и судьба» не противоречит той правде, которая была сказана Вами, что правда стала достоянием сегодняшнего дня, а не откладывается на 250 лет.

Тем для меня ужасней, что книга моя насильственно изъята, отнята у меня. Эта книга мне так же дорога, как отцу дороги его честные дети. Отнять у меня книгу это то же, что отнять у отца его детище.

Вот уже год, как книга изъята у меня. Вот уже год, как я неотступно думаю о трагической ее судьбе, ищу объяснения происшедшему. Может, объяснение в том, что книга моя субъективна?

Но ведь отпечаток личного, субъективного имеют все произведения литературы, если они не написаны рукой ремесленника. Книга, написанная писателем, не есть прямая иллюстрация к взглядам политических и ре-

волюционных вождей. Соприкасаясь с этими взглядами, иногда сливаясь с ними, иногда в чем-то приходя в противоречие с ними, книга всегда неизбежно выражает внутренний мир писателя, его чувства, близкие ему образы и не может не быть субъективной. Так всегда было. Литература не эхо, она говорит о жизни и о жизненной драме по-своему.

Тургенев во многом выразил любовь русских людей к правде, свободе, добру. Но Тургенев совершенно не был иллюстратором идей вождей русской демократии, он выражал по-своему, по-тургеневски, жизнь русского общества. И так же выражали, переживали добро и зло русской жизни, ее радость, ее горе, ее красоту и страшные уродства — Достоевский, Толстой, Чехов. Ведь ни Толстой, ни Чехов не были иллюстраторами взглядов тех, кто возглавлял русскую революционную демократию, они полировали свое зеркало русской жизни, и зеркало это бывало отлично от тех, что создавали политические вожди русской революции. Но ни Герцен, ни Чернышевский, ни Плеханов, ни Ленин не ополчались за это на русских писателей, они видели в них своих союзников, а не врагов.

Я знаю, что книга моя несовершенна, что она не идет ни в какое сравнение с произведениями великих писателей прошлого. Но дело тут не в слабости моего таланта. Дело в праве писать правду, выстраданную и вызревшую на протяжении долгих лет жизни.

Почему же на мою книгу, которая, может быть, в какой-то мере отвечает на внутренние запросы советских людей, книгу, в которой нет лжи и клеветы, а есть правда, боль, любовь к людям, наложен запрет, почему она забрана у меня методами административного насилия, упрятана от меня и от людей, как преступный убийца?

Вот уже год, как я не знаю, цела ли моя книга, хранится ли она, может быть, она уничтожена, сожжена?

Если моя книга — ложь, пусть об этом будет сказано людям, которые хотят ее прочесть. Если книга моя — клевета, пусть будет сказано об этом. Пусть советские люди, советские читатели, для которых я пишу 30 лет, судят, что правда и что ложь в моей книге.

Но читатель лишен возможности судить меня и мой труд тем судом, который страшней любого другого суда, — я имею в виду суд сердца, суд совести. Я хотел и хочу этого суда.

Мало того, что книга моя была отвергнута в редакции «Знамя», мне было рекомендовано отвечать на вопросы читателей, что работу над рукописью я не закончил еще, что работа эта затянется на долгое время. Иными словами, мне было предложено говорить неправду.

Мало того, когда рукопись моя была изъята, мне предложили дать подписку, что за разглашение факта изъятия рукописи я буду отвечать в уголовном порядке.

Методы, которыми все происшедшее с моей книгой хотят оставить в тайне, не есть методы борьбы с неправдой, с клеветой. Так с ложью не борются. Так борются против правды.

Что же это такое? Как понять это в свете идей XXII съезда партии?

Дорогой Никита Сергеевич! У нас теперь часто пишут и говорят, что мы возвращаемся к ленинским нормам демократии. В суровую пору гражданской войны, оккупации, хозяйственной разрухи, голода Ленин создал нормы демократии, которые во все сталинские времена казались фантастически большими.

Вы на XXII съезде партии безоговорочно осудили кровавые беззакония и жестокости, которые были совершены Сталиным. Сила и смелость, с которой Вы сделали это, дают все основания думать, что нормы нашей демократии будут расти так же, как выросли со времен разрухи, сопутствовавшей гражданской войне, нормы производства стали, угля, электричества. Ведь в росте демократии и свободы еще больше, чем в росте производства и потребления, существо нового человеческого общества. Вне непрерывного роста норм свободы и демократии новое общество мне кажется невысказанным.

Как же понять, что в наше время у писателя производят обыск, отбирают у него книгу, пусть полную несовершенства, но написанную кровью его сердца, написанную во имя правды и любви к людям, и грозят ему тюрьмой, если он станет говорить о своем горе.

Я убежден, что самые суровые и непримиримые прокуроры моей книги должны во многом изменить свою точку зрения на нее, должны признать ошибочным ряд кардинальных обвинений, высказанных ими в адрес моей рукописи год-полтора назад — до XXII съезда.

Я прошу Вас вернуть свободу моей книге, я прошу, чтобы о моей рукописи говорили и спорили со мной редакторы, а не сотрудники Комитета Государственной Безопасности.

Нет смысла, нет правды в нынешнем положении, в моей физической свободе, когда книга, которой я отдал свою жизнь, находится в тюрьме, ведь я ее написал, ведь я не отрекался и не отрекаюсь от нее. Прошло двенадцать лет с тех пор, как я начал работу над этой книгой. Я по-прежнему считаю, что написал правду, что писал я ее, любя и жалея людей, веря в людей. Я прошу свободы моей книге.

Глубоко уважающий Вас. В. Гроссман.
Москва, Беговая, 1-а, корп. 31, кв. 1.
Тел. Д-3-00-80. доб. 16».

Гроссман надеялся на то, что сумеет убедить Хрущева, что если книгу не напечатают, то хотя бы вернут ему рукопись. Он не видел «смысла в нынешнем положении». Но разве мощь насилия не заключается в его бессмысленности?

Ответ пришел не сразу, но сравнительно скоро — через месяц или два после отправки письма. Все это время Гроссман никуда не выходил из дому, ждал звонка. Однажды вышел на часок подышать воздухом, а тут и позвонили. Трубку взяла Ира, ей дали номер телефона, по которому Гроссман должен был позвонить как можно быстрее. Так он и сделал, когда вернулся с прогулки. Его приглашали к Сулову.

Они беседовали около трех часов. Гроссман записал дома по памяти (а она у него была великолепная) эту беседу. Когда Гроссман умер, вдова

передала эту существовавшую в единственном экземпляре запись беседы с серым кардиналом в спецхран ЦГАЛИ. Ольга Михайловна с удовлетворением мне сообщила, что секретарь московского отделения Союза писателей генерал В. Н. Ильин одобрил этот ее поступок. Святая простота.

Увы, я помню из этой записи, крайне интересной, — что легко себе представить, — далеко не все. Суслов похвалил Гроссмана за то, что он обратился к Первому секретарю ЦК. Сказал, что партия и страна ценят такие его произведения, как «Народ бессмертен», «Степан Кольчугин», военные рассказы и очерки. «Что же касается «Жизни и судьбы», — сказал Суслов, — то я этой книги не читал, читали два моих референта, товарищи, хорошо разбирающиеся в художественной литературе, которым я доверяю, и оба, не сговариваясь, пришли к единому выводу — публикация этого произведения нанесет вред коммунизму, советской власти, советскому народу. Суслов спросил, на что Гроссман теперь живет. Узнав, что он собирается переводить армянский роман по русскому подстрочнику, посочувствовал: трудновата, мол, такая двухступенчатая работа, обещал дать указание Гослитиздату — выпустить пятитомное собрание сочинений Гроссмана, разумеется, без «Жизни и судьбы». Гроссман вернулся к вопросу о возвращении ему арестованной рукописи. Суслов сказал: «Нет, нет, вернуть нельзя. Издадим пятитомник, а об этом романе и не думайте. Может быть, он будет издан через двести — триста лет».

Не знаю, как двигалась эта космическая цифра, снизу — от писателей-функционеров к Суслову или сверху — от Суслова к ним. Разговаривая, Суслов перебирал рукой обе рецензии, заглядывал в них, читал вслух наиболее, с его точки зрения, предосудительные цитаты из романа. По словам Гроссмана, рецензии были довольно большие, на глаз — по 15—20 страниц каждая.

Недавно выяснилась примечательная подробность. Два соседа Черноуцана, некогда ответственного работника отдела культуры ЦК, сообщили мне каждый в отдельности, что Черноуцан им сказал, что он был одним из рецензентов «Жизни и судьбы» и посоветовал изъять роман, а Гроссмана не трогать: последнее ставит себе в заслугу.

Чтобы покончить с пятитомником. Собрание сочинений Гроссмана так и не вышло в свет, обещание Суслова осталось невыполненным. В Гослитиздате долго мурыжили, в одном из писем ко мне Гроссман жалуется на то, что директор издательства Владыкин «крутит, увиливает от ответа». В другом письме, в конце 1961 года, Гроссман писал:

«Сегодня позвонили из «Нового мира», Дементьев¹ сообщил, что рассказ у них не пойдет. Разговор противный.

Не поздравляй меня пока с собранием сочинений, ведь план издательства еще не утвержден. А если будут резать план, то кого же, как не меня, вышибут из него — стою на подножке».

Как Гроссман предсказывал, его вышибли из плана. После его смерти я, как член созданной правлением Союза писателей комиссии по литера-

¹ Заместитель Твардовского в «Новом мире». Не помню, о каком рассказе пишет Гроссман. Думаю, что о «Тиргартене».

турному наследству Гроссмана, имел по поводу собрания его сочинений (Гроссман успел составить подробное содержание каждого тома) разговор с новым директором издательства В. А. Косолаповым, который при всей своей официальной тертости мог увлечься литературным событием. Косолапов отнесся к делу сочувственно, посоветовал, чтобы я выступил с предложением издать пятитомник Гроссмана на ближайшем заседании редсовета, но чтобы перед этим в издательство обратились с письмом видные писатели. Было подготовлено письмо. Его подписали Эренбург, Твардовский, Паустовский, и с помощью Косолапова собрание сочинений Гроссмана снова вставили в план редакционной подготовки. С Ольгой Михайловной заключили договор на составление пятитомника, она сдала в издательство первые два тома, даже получила мелкие (для нее крупные) деньги, но издание отпихивали из года в год, пока эту позицию (такое слово они употребили) не вычеркнули из плана навсегда — после выхода за рубежом повести «Все течет».

Гроссман старел на глазах у близких. В его курчавой голове поприбавилось седины, появилась на макушке лысинка. Астма, которая отпустила его на некоторое время, вернулась к нему опять. Походка его стала шаркающей. Телефон у него замолк, многие старые друзья его покинули. Болезненно воспринял он поведение детского писателя Р. И. Фраермана, давнего своего друга, которого он любил. Гроссман мне писал: «Звонил Рувим, разговор длился долго — четыре минуты. Но все же позвонил, хорошо и это».

А Гроссману нужны были друзья, приятели, собеседники. Чего эти люди испугались? Ведь Сталина уже не было. Я с особенной силой понял положение Гроссмана в последние годы, когда после моего выхода из Союза писателей нечто подобное, в меньшем объеме, произошло со мной. Два моих школьных товарища, а мне пошел 73-й год, не трудно прикинуть, сколько лет мы были дружны, перестали со мной общаться. Я даже не знаю, живы ли они. Но у меня появились и здесь, и там новые чудесные друзья. А Гроссмана этим судьба не баловала. Правда, в Коктебеле он познакомился с критиком Л. Лазаревым и поэтом Н. Коржавиным. Они были к нему внимательны, понимали значение его таланта. Оба пришлось ему по душе, особенно его поразил Коржавин с его поэтическим мышлением и непоэтической внешностью. Гроссман был обоим благодарен за доброе к нему отношение.

Не печатающийся, изгнанный из литературы, он продолжал не только писать, но и живо интересоваться всем новым, что появилось в печати. Его удивил своим озорством «Звездный билет» Аксенова. Он обрадовался повести Войновича «Мы здесь живем», «Большой руде» Владимова. Он говорил, что у этих писателей большое будущее. Он не дождался того, чтобы узнать знаменитого Чонкина, верного Руслана, магаданские страницы «Ожога», двор посреди неба, но я уверен, что высоко оценил бы эти прекрасные фундаментальные вещи. Он увидел по телевидению вечер поэзии в Лужниках и с большим удовлетворением сказал мне, что задорные молодые имели у многочисленной публики гораздо больший успех, чем стихотворцы-чиновники, одетые в броню званий и должностей.

Однажды он позвал меня к себе и с ликованием, неожиданным для меня, дал мне рукопись. Это был рассказ, напечатанный с одним интервалом на папиросной бумаге. Имени автора не было, рассказ был озаглавлен каторжным номером зека. Я сел читать — и не мог и на миг оторваться от этих тоненьких помятых страничек. Читал с восторгом и болью. Гроссман то и дело подходил ко мне, заглядывал в глаза, восторгался моим восторгом. То был «Один день Ивана Денисовича». Гроссман говорил: «Ты понимаешь, вдруг там, в загробном мире, в каторжном гноище, рождается писатель. И не просто писатель, а зрелый, огромный талант. Кто у нас равен ему?»

О Солженицыне более подробно Гроссман узнал от сотрудницы «Нового мира» Анны Самойловны Берзер. Он почему-то ждал, что Солженицын придет к нему, хотел встречи с ним. Но им так и не суждено было встретиться.

Гроссман дал мне прочесть и другую попавшую к нему рукопись — «Крутой маршрут» Е. С. Гинзбург. Он с похвалой отозвался об авторе, считал, что книга написана очень талантливо, удивлялся памяти незнакомой ему писательницы.

В письмах ко мне разных лет есть замечания Гроссмана о литературных произведениях. Думаю, будет уместно, если я эти замечания здесь приведу.

«Прочел роман Кочетова «Братья Ершовы». Подлое, ничтожное произведение, построенное по схеме столь примитивной, что она может возникнуть в голове петуха, судака, лягушки. Тираж 500 000. Одно утешение — бездарно. Знаешь, ведь особенно больно, когда имеешь дело с Гамсуном, тогда возникает сложность. А здесь этой сложности нет, все просто и ясно, как в пословице о пчелах и меде¹.

«Читал ли ты Эренбурга в № 1 «Нового мира»? Читается с интересом, но в 70 лет можно бы подумать поглубже, посерьезней. Зато Мафусаилова мудрость в понимании того, что лъзя, а чего нельзя».

«Прочел я книжку Лема «Вторжение в Альдебаран». Редко книга нагоняла на меня такую тоску, как эта, — тоску не от скуки. Книга интересная, и автор с искрой в голове, но от книги тоска и противно».

«Прочел Моруа «Жизнь Флеминга», — прочти, если попадется тебе, довольно интересно, а местами и вовсе интересно, шотландец он, характер — вещь в себе, но вещь».

«Читаю мало, прочел книжку Датта «Философия Махатмы Ганди». Читал ли ты ее? Если нет — дай тебе ее, интересная очень».

«Прочел книгу Юрия Давыдова «Март» — о народовольцах. Прочти ее непременно. Что-то в ней есть очень хорошее. Хотя автор не крепкий, а в книге много хорошего. Там интересно и много о Плеханове, без «но». Впервые, пожалуй, так у нас о Плеханове написано без «но».

«Прочел в «Огоньке» рассказ маленький Казакова. Мне кажется, автор талантлив. Не зря шум. Он несколько манерен, сильно влияние Че-

¹ Гроссман любил эту пословицу: «Г... пчелы, г... мед».

хова. Но, слава богу, есть на кого влиять. Елизару Мальцеву такого упрека не сделаешь».

«Прочел в «Огоньке» перевод поэмы Турсун-Заде. Переводчик — Семен Липкин. Читая, вспомнил и перефразировал одесскую формулу: «Форма — во! Но морально тяжело». Хорошо поет проклятая цыганка!»¹

«Прочел Дудинцева в двух номерах — хорошая, смелая вещь. Отношения между людьми (деловые) реальны. Это очень важно, т. к. литература отвыкла от реальных отношений между людьми. Личные отношения написаны плохо — любовь, дружба. Но спасибо и за деловые. Живые фигуры служащих, чиновников, ученых. Тут дело не в оценке таланта, а в определении вида литературы, как-то чет — нечет, черное — белое, брехня — правда. Это не брехня. А что талант не так велик, это уже второй, следующий вопрос. Им будет интересно заняться, когда таких произведений — реальных — станет много. Пока же хочется радоваться появлению в прериях первых скрипучих телег, на которых едут смелые пионеры. Честь им и хвала и всяческой удачи».

«Прочел очень прелестные и пустые стихи Пастернака «Быть знаменитым некрасиво». Я думаю, что если бы Бор[ис] Леон[идович] хоть полчаса думал, что он не знаменит, то он подобно другому поэту «повесился бы на древе»², не смог бы жить. Но и он въехал в прерию, удачи ему! Путь его нелегок, долгий, трудный».

Читал ли ты рассказ Войновича в «Новом мире»? Прочти, талантливо. Талант в правде. Об авторе с симпатией рассказывала Анна Самойловна».

«Продолжаю читать Ямпольского. Странное дело. Талантливо написано, все мило и все не то. Как песок».

«На днях прочел у Вольтера: «Надо быть новым, не будучи странным, часто высоким и всегда естественным». Как хорошо сказано!»

Конечно, не все гроссмановские высказывания о литературе заключены в его письмах, мы ведь разлучались не очень часто, а встречались, когда не были в разъездах, каждый день и беседовали и о литературе, и о людях, и о многих других превосходных вещах — от археологических раскопок Бактрийского царства до новейших открытий физики. Читателя может покоробить замечание Гроссмана о стихах нашего великого поэта. Необходимо разъяснение.

Гроссман хорошо чувствовал, понимал силу стихотворного слова. Напомню, что в «Жизни и судьбе» он полностью приводит насыщенное страстной, страдающей мыслью стихотворение Волошина или удивительное стихотворение безымянного поэта «Мой товарищ, в смертельной агонии...». Он любил, отлично знал Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Некрасова, из более поздних — Бунина, Есенина, но то, что теперь принято на-

¹ Слова матери Тургенева о Полине Виардо.

² Единственные стихи моего младшего сына, когда ему было 12 лет: «Когда б я увидел древо, повесился бы на месте». Строки эти рассмешили моих друзей, их не раз в тяжелую минуту повторяла А. Ахматова.

зывать «магией», не завораживало его, если в «магических» стихах не было ясного смысла, важного для людей. Отсюда его отношение к Пастернаку, Мандельштаму, ко всем поэтам Серебряного века, начиная с Блока. Он брал у них только то, в чем нуждались его душа и разум. Поскольку зашла речь о Пастернаке, мне вспоминается такой эпизод.

Где-то в середине пятидесятых, будучи в доме творчества в Дубултах, на Рижском взморье, мы познакомились с писателем Д. Я. Даром, очаровательным человеком. Дар был мужем В. Ф. Пановой. Он покидал Дубулы раньше нас и приглашал в Ленинград, обещав забронировать для нас номер в гостинице. По его словам, Панова давно мечтает познакомиться с Гроссманом. Вот мы и приехали из Риги в Ленинград, позвонили Дару и были приглашены в гости. Панова оказалась женщиной острого ума, с ней интересно было беседовать. Гроссман заметил — нельзя было не заметить, — что чуть ли не полстены в ее кабинете увешаны фотоснимками Пастернака. Гроссман удивился. Панова объяснила: «Пастернак — самый любимый, самый дорогой мне из современных русских поэтов, он мой кумир». Когда мы покинули гостеприимный дом и пошли пешком до гостиницы «Октябрьская», Гроссман мне сказал с раздражением: «Не верю ей. Что ей, с ее беллетристикой, трудный, сложный Пастернак? Выкомаривается».

Проходит несколько лет, начинается тотальная травля Пастернака, его собираются исключить из Союза писателей, и вот из Ленинграда приезжает в Москву Панова, чтобы как член правления участвовать в «процессе исключения». «Для чего она это сделала? — бушевал Гроссман. — Ведь даже писатели-москвичи, сохранившие немного порядочности, сидели дома, объясняли, что больны. А эта из Ленинграда приехала, чтоб исключить самого дорогого, самого любимого своего поэта, своего кумира. Помнишь, как Коля Чуковский с придыханием в своем гуттаперчевом голосе читал нам стихи Пастернака, и вот он выступил, подал этот самый голос за исключение поэта. Господи, почему так огромен твой зверинец!»

Сам он в эти тяжкие для русской культуры дни написал Пастернаку письмо. Насколько я помню, в письме он не касался трагических событий, только с большой сердечностью пожелал поэту здоровья и покоя.

Я долго пытался познакомить Гроссмана с Ахматовой, но безуспешно. Ни он, ни она не проявляли особого желания. Я не уверен, что Ахматова читала Гроссмана, хотя, когда случилась с ним беда, участливо расспрашивала меня о нем. Что же касается Гроссмана, то я думаю (это звучит малоубедительно), что он разочаровался в ней, узнав от меня, что она терпеть не может Чехова. А Гроссман боготворил Чехова, знал наизусть многие страницы его произведений, даже многие его письма. «Как может русский писатель не любить Чехова», — возмущался он. Гроссман часто в бытовой речи цитировал расхожие строки Ахматовой, вроде «Как ты красив, проклятый» или «У разлюбленной просьб не бывает». Он понимал прелесть ее поэзии, но не постиг величия этой поэзии. Анна Андреевна подарила мне экземпляр рукописи «Поэмы без героя». Я позвал Гроссмана к себе, прочел эту поэму. Потом он стал читать ее сам, подняв на лоб очки, но восторгов моих не разделил.

Из писателей-современников Гроссман выше всех ценил Булгакова, Платонова, Зощенко, Бабеля, восхищался «Печалью полей» и некоторыми рассказами Сергеева-Ценского, в особенности его «Приставом Дерябиным», «Ибикүсом» и «Детством Никиты» А. Н. Толстого, как я уже писал, «Тихим Доном». Были у него и неожиданные пристрастия, например, высоко ставил рассказ Никандрова «Во всем дворе первая». Он почитал Вересаева как человека, запомнил его роман «В тупике». Однажды спросил меня, читал ли я вересаевский перевод «Илиады». Я сказал, что в этом переводе нет музыки, нет той мощи, которая есть в переводе Гнедича. «Знаешь, — сказал Гроссман, — я «Илиаду» не читал. Неужели ты ее осилил?» Я ответил, что с детства самые любимые мои книги после Библии, конечно, «Илиада» и «Одиссея», что Толстой изучил древнегреческий, чтобы прочесть «Илиаду» в подлиннике. Через некоторое время он поделился со мной впечатлениями от прочтения «Илиады». Он был ею восхищен: «Мы спешим прочесть современников, а многие ли из них остаются? Какая живая книга «Илиада», она о нас».

Гроссману нравилась «Россия, кровью умытая» Артема Веселого, «Растратчики» Катаева, он считал, что истинное призвание этого блестящего писателя — юмор, что напрасно Катаев, житейского успеха ради, пошел не своей дорогой.

Сурово-прямой, непримиримо требовательный, аскет-францисканец в литературе, он то с горечью, то негодуя наблюдал, как постепенно теряют свой облик крупные таланты, например А. Н. Толстой. А о тех, у кого, по его мнению, Божьего дара не было, а только литературные способности, говорил без горечи, презирал их.

Он пытливо, сосредоточенно выслушивал мои рассказы о знакомых мне писателях, погибших в сталинское время, о Мандельштаме, Бабеле, Булгакове. Гораздо меньше других я знал Марину Цветаеву, с которой впервые встретился у ее подруги ранних лет поэтессы В. К. Звягинцевой. Марина Ивановна пожелала со мной познакомиться, потому что редактировала тогда перевод на французский язык главы из калмыцкого эпоса «Джангар», мной переведенного на русский. Я провел с ней целый памятный день, с девяти часов утра до поздней ночи в ноябре или в начале декабря 1940 года. Больше того дня я с ней не виделся. Мы только разговаривали несколько раз по телефону. Странно, что Цветаева, более туманная, чем бывал Пастернак, не говоря уже о прозрачной Ахматовой, была близка душе Гроссмана, который упорно следовал вольтеровской максиме — «надо быть новым, не будучи странным». «Как просто, — радовался он, — Цветаева спрашивает: «Мой милый, что тебе я сделала?» Просто и сильно». Возможно, что Гроссман восхищала наступательная ярость Цветаевой, ее открытость, буйно разрывавшая синтаксические заветы.

Мне трудно отказать себе в желании привести здесь кое-что из моих рассказов — хотя бы потому, что в моей памяти жива реакция Гроссмана на эти рассказы.

После многочасовой прогулки по Замоскворечью понадобилась Цветаевой уборная, о чем она мне сказала с руссоистской непринужденнос-

тью. В Москве, вдали от центра, это и сейчас проблема, а до войны она стояла особенно остро. Я вспомнил, что недалеко, на Большой Полянке, я как-то заприметил вывеску райисполкома, и уверенно повел туда Марину Ивановну. Мы вступили в здание, и я быстро нашел то, что нужно было моей спутнице. Когда мы вышли, Цветаева спросила: «Все москвичи так поступают?» Я ответил, желая вызвать ее улыбку: «Только те, кто понимает значение райисполкомов», но улыбки не вызвал. Марина Ивановна не обратила внимания на мою шутку, разве что пожалала плечами. На ней был не по сезону тоненький заграничный плащ.

Она рассказывала мне о своем друге Бальмонте, полунищем и почти утратившем память, о Мережковских, отвечала на мои жадные расспросы о Ходасевиче. Говорили и о советских поэтах. Запомнилось о Кирсанове, о его версификации: «Мотор грузовика дан игрушечному автомобилю».

Мы направились в музей, созданный ее отцом, пробыли там часа два. Марина Ивановна проголодалась. Я предвкушал наслаждение угостить ее роскошным обедом в «Национале», деньги у меня тогда водились. Но Марина Ивановна, несмотря на свою близорукость, рассмотрела рядом с музеем столовую на улице Грицевец. Это была столовая строителей метро. Как я ни уговаривал Марину Ивановну, упирая на то, что здесь — обжорка, а «Националь» — в двух шагах, она не хотела меня слушать. Столовая была полутемная, душная, нас обдал стойкий, кислый запах суточных щей. Едоки обслуживали себя сами, раздатчица налила эти самые щи в плохо вымытые тарелки — двигались в очереди с подносами в руках, — и мы сели за грязный столик, но Марина Ивановна с удовольствием уплетала и щи, и хлебно-мясные котлеты с разваренными, слипшимися макаронами. Она вынула из кармана в плаще страничку и дала мне ее со словами: «Рецензия Зелинского на мой сборник для «Советского писателя». На страничке было напечатано несколько строк. Недавно я узнал, что это была лишь заключительная часть рецензии. Вся же рецензия была настолько гнусная, что в издательстве ее не решились показать Марине Ивановне (тогда рецензии авторам показывали). В строках же, которые я прочел, указывалось, что ничего политически вредного в стихах Цветаевой рецензент не усматривает, но наша советская поэзия так далеко ушла вперед, что стихотворные опыты Цветаевой покажутся читателю давно пройденным этапом, анахронизмом, поэтому нет нужды издавать ее сборник.

Когда я рассказал об этом Гроссману, у него под роговыми очками заблестели глаза, он сказал «Все ужасно, и не только эта б... Зелинский. Ты знаешь, мелочи, конечно, плащик зимой, кислые щи, а есть в них нечто чудовищное. Цветаева — тонкий, изысканный поэт — и метростроевская обжорка. Я думаю, что судьбы Цветаевой, Ахматовой потруднее судьбы княгини Волконской, вот о них, о таких, как они, и создать бы поэму «Русские женщины». Написал бы, а?»

«Мне было восемнадцать лет, — в другой раз рассказывал я ему, — когда поселился в Кунцево недалеко от Багрицкого. Он-то и приискал мне пристанище. Обычно я проводил у него вечера. Однажды — это было в

апреле тысяча девятьсот тридцатого года, к Багрицкому приехал Бабель. Я впервые увидел его: невысокого роста, плотного, с мудрыми раввинскими глазами. Из слов Бабеля я понял, что он давно не был в Москве, жил где-то в деревенской «глубинке». Он произнес фразу, которую я запомнил навсегда: «Поверите ли, Эдуард Георгиевич, я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей».

Гроссман сказал: «Как мне жаль его, жаль не только потому, что он так рано погиб, что они убили его, но и потому, что он, умница, талант, высокая душа, произнес эти безумные слова. Что стало с его душой? Зачем он встречал новый год в семье Ежова? Правда ли это? Почему таких необыкновенных людей — его, Маяковского, твоего Багрицкого — так влекло к себе ГПУ? Что это — обаяние силы, власти? И почему Бабель водился с темными личностями на бегах, с приставленным к нему Кожевниковым? Стоит над этим задуматься, явление нешуточное, страшное».

Во время «великого перелома» в Москве заканчивал свое существование альманах «Недра». Станный это был альманах! Им завладели «кузнецы» — пролетарские ортодоксы Гладков, Новиков-Прибой, Ляшко, Бахметьев, Никифоров, высокий, усатый, похожий на пожилого рабочего из плохого кинофильма, его все называли Жора, он был впоследствии репрессирован, но активно продолжали сотрудничать в альманахе и такие писатели совершенно из другого мира, как Вересаев, Замятин, Булгаков.

«Недра», по рекомендации заведующего стихами С. А. Обрадовича, приняли к печати мою юношескую слабенькую поэмку об убийстве селькора на Одессине: убил его земляк из ревности, но в газетах загудели, что по идейным соображениям — классовая ненависть. Прихожу я в редакцию (она помещалась на Варварке, в старинном ветхом доме), а секретарь редакции, писатель-кузнец Дмитриев, говорит мне, что цензура зарезала мои стихи: «Возьми на память гранки». Так, девятнадцатилетний, я впервые столкнулся с цензурой. Я был в замешательстве, не знал, что мне делать. Уйти или чего-то ждать. В глубине комнаты сидел человек, лицо которого мне показалось не только красивым, но и значительным. Что-то было в этом лице необычное, несоветское, что-то из прежней жизни. Посмотрев на меня, он дернул головой в сторону, и я подумал, что этот человек почему-то мной недоволен. Не потому ли, что цензура запретила мою поэму? Позднее я узнал, что он страдал нервным тиком. Незнакомец был в мятом, заношенном, кургузом пиджаке, в накрахмаленной белоснежной манишке, галстук бабочкой, из-под рукавов с потертыми краями виднелись старорежимные твердые манжеты. Он мне сказал: «Выше голову, мою юньюй пинт, вы начинаете в лучших русских традициях — с цензурного запрета». Это был Булгаков. Он великодушно предложил мне пообедать с ним в Доме актера у Страстной. Мы направились к площади Ногина, чтобы сесть в пятнадцатый номер трамвая. На площади чернела большая толпа: давно не было трамвая. «Видно, давно нет трамвая», — тонко заметил я, а Михаил Афанасьевич сказал: «Меня не то удивляет, что трамваи не ходят, меня то удивляет, что трамваи ходят».

Гроссману мой рассказ (дальнейшее продолжение которого здесь неуместно) запомнился. Подобно всем нам, Гроссман еще не знал «Мастера и Маргариты», но всегда воспринимал Булгакова как чудо русской литературы. «Подумай, — говорил он, — Габрилович¹ был его соседом по Нащокинскому, у них был общий балкон, разделенный перегородкой, но ни разу не попытался поговорить с Булгаковым, видно, были дела поинтересней. Не дела — делишки». Когда возникли не совсем понятные события, Гроссман любил повторять: «Меня не то удивляет, что трамваи не ходят, меня то удивляет, что трамваи ходят».

Несмотря на арест романа, несмотря на горестные обстоятельства в личной жизни, несмотря на материальные затруднения, несмотря на ухудшение здоровья, Гроссман продолжал ежедневно работать. «Графоманы все же упорны». Он написал несколько великолепных рассказов — только часть их напечатана. Наново переписал повесть «Все течет» — увеличил ее почти вдвое. Сохранилась магнитофонная запись одного его рассказа. И мы, близкие, чтобы услышать его голос, включаем 12 декабря, в день рождения Гроссмана, магнитофон. Рассказ называется «В большом кольце». В основе рассказа лежат впечатления дочери его друга студенческих лет, Вячеслава Лободы.

Подмосковная дача. Девочка, дочь высокоинтеллектуальных родителей, только и слышит в семье «Дмитрий Дмитриевич» (Шостакович), «Лев Давыдович» (Ландау). Она обожает отца, видимо, известного искусствоведа, такого умного, ироничного. И вот у нее приступ аппендицита, ее отвозят в ближайшую районную деревенскую больницу. А там — другая жизнь. В палате — старуха-матерщинница, злая и одновременно, как часто у Гроссмана, добрая, роженица — безмужняя девушка, работающая на стройке, которая сама точно не знает, от кого у нее должен родиться ребенок. И чего только не наслушалась в палате девочка из советского истеблишмента! Оказывается, не в ее доме, а в деревенской больнице — правда жизни, грубая, нищая и прекрасная. Слышит она и такую утешительную притчу. Лежат в одной больнице две роженицы: жена лейтенанта из расположенной поблизости военной части и простая девушка, на которой отец будущего ребенка не хочет жениться. Обе рожают в один день. Жена лейтенанта не хочет кормить ребенка, ей надо сохранить красивую грудь, и обоих детей кормит простая девушка. Об этом узнает лейтенант и, когда наступает день выписки, увозит к себе не жену, а безмужнюю девушку с двумя детьми — с ее ребенком и своим. Дочь искусствоведа, вернувшись домой, начинает иными глазами смотреть на своего отца, на знакомых, видит их ложь, пустоту, черствость. Пронзительный рассказ, хорошо бы его напечатать, чтобы читатель узнал первоисточник, а не мое топорное изложение.

Так и вижу Гроссмана, выгуливающего вечером на дворе пуделя Пуму, порой собака вырывается из его рук, поскольку он подолгу стоит

¹ Известный сценарист. Габрилович во время войны служил с Гроссманом в «Красной звезде».

на месте, заглядывая в чужие окна на первом этаже, — его писательское любопытство было выше условностей. Бывая в гостях, любил он заходить на кухню коммуналки, хотел узнать, что совершается в глубине квартиры, в ее сокрытом от гостей тылу. Точно так же, когда он писал книгу об Армении, он заходил во внутренние дворы, потому что там открывалась «людская жизнь: и нежность сердца, и нервные вспышки, и кровное родство».

Однажды ко мне подошла в Доме литераторов неперемнная, многочасовая его посетительница Асмик (фамилию забыл), армянка, похожая на черный колобок, и сказала мне, что она перевела с армянского большой роман Рачия Кочара на военную тему, но автор считает, что ее перевод лишь подстрочник (так оно и оказалось), нужен для обработки хороший писатель, желательнее с именем и фронтовик, так не могу ли я кого-нибудь порекомендовать. Писателя-переводчика пригласят работать в Армению, республика оплатит дорожные расходы, местное издательство заключит с ним договор. Я подумал, что неплохо бы Гроссману поехать в Армению, да и гонорар за перевод романа нужен сейчас Гроссману позарез, и обещал обрадованной Асмик с ним поговорить.

Впоследствии, в «Добро вам», Гроссман выведет Асмик под именем Гортензия («Асмик» по-армянски — жасмин).

Я не был уверен в удаче своего предприятия. Гроссман, даже когда с деньгами было туго, не любил писать на заказ. Давно, после неожиданного удара по пьесе «Если верить пифагорейцам», он спросил у жены: «Что же мне теперь делать?», а Ольга Михайловна ответила «пиши сценарии», он часто вспоминал и не мог ей простить эти слова. На моей памяти он только один раз откликнулся на предложение заказчика — театра имени Вахтангова — написать пьесу. Он инсценировал один из своих военных рассказов. В центре пьесы — старый учитель Розенталь, который полагает, что истребление евреев было «арифметикой зверства, а не стихийной ненавистью, но счетоводы просчитались». Пьеса получилась печальная, умная, по-моему, очень сценичная, однако Вахтанговский театр от нее отказался: уже в 1947 году еврейская тема вызвала отталкивание. Гроссман отдал пьесу С. М. Михозлсу — с тем, чтобы ее перевели на идиш. Соломона Михайловича пьеса «Учитель» восхитила. Я с ним был хорошо знаком (нас еще до войны познакомил Самуил Галкин, в поэтическом переводе которого театр Михозлса поставил «Короля Лира»), мы вместе с Гроссманом несколько раз посетили Михозлса в его квартире около старого ТАСС, он делал автору замечания, в которых блестящий ум неназойливо сочетался с природным чувством театра, пили вишневку, приготовленную женой Михозлса — единственной, кажется, в нашей стране представительницей знатного польского рода.

Мы провожали Михозлса в его последний путь, он уезжал в Минск по пустяковому делу — для просмотра какой-то пьесы, выдвинутой на соискание Сталинской премии. Помню перрон Белорусского вокзала, помню прекрасное уродливое лицо Михозлса, его глаза каббалиста и колдуна, сардонически выпяченную нижнюю губу — и неспешные слова, произне-

сенные на великолепном, по-актерски артикулированном русском языке: «Я уверен, что сыграю роль учителя. Это будет моя последняя роль». Помню и другого неповторимого актера — В. Л. Заскина. Мы втроем махали рукой отъезжающему Михозлсу. Он так и не сыграл свою последнюю роль. Нет, он сыграл ее, но не на сцене. Как и герой пьесы Гроссмана, он умер от руки убийц. Минской темной ночью его сбил грузовик, его убили те же силы, которые убили учителя Розенталя.

Провожали мы Михозлса и в последний земной путь. Огромная толпа двигалась по Тверскому бульвару и по боковым улицам от здания ВТО, где Михозлс лежал в гробу, до Малой Бронной, где помещался ГОСЕТ, Государственный еврейский театр. Михозлса хоронило Государство, хоронило торжественно — иначе, совсем иначе хоронило оно ближайших друзей великого артиста — поэтов, писателей, актеров. Настоящая фамилия Михозлса — Вовси, он двоюродный брат знаменитого врача Вовси, профессора, одного из главных обвиняемых по процессу врачей-убийц. Врача после смерти Сталина освободили, он остался жив.

Я не думаю, что отклонился далеко в сторону. Перейду от еврейской темы к армянской. Гроссману понравилась возможность поездки в Армению. Он сказал: «Если роман не подлый, буду переводить. Хорошо, что он, как ты говоришь, большой. И деньги нужны, и на душе скверно, может быть, поденщина поможет».

Асмик принесла свой толстенный подстрочник, роман с точки зрения морали удовлетворил Гроссмана, он спросил только: «Подстрочники всегда такие безграмотные?» Первого ноября он сел в поезд. Из Армении он мне часто писал. Я хочу, чтобы читатель познакомился с некоторыми из этих писем. Интересно будет сопоставить последнюю книгу Гроссмана «Добро вам» с его непосредственными армянскими впечатлениями. И какая жизненная сила заключена в письмах писателя, «задушенного в подворотне». Я привожу эти письма с сокращениями, касающимися обстоятельств — его и моих — сугубо личного характера.

4.XI.1961

Дорогой Семен, вот я приехал в Армению. Мне кажется, что именно ты с особой силой ощутил бы то, что составляет душу этой совершенно удивительной страны, это соединение невероятной суровости каменной земли, синего базальта, тысячелетних храмов, дивной древности и сегодняшней жизни. Знаешь, я все думаю, что ты удивительно глубоко ощутил бы Армению — с ее библейским совершенно прошлым, с ее библейским пейзажем и с ее живой сегодняшней, южной, смуглой, трудной, шумной жизнью, — с невероятным трудом вырубавших хлеб из базальта крестьян и мощных ереванских деляг, звенящих от личной инициативы.

Боже, если бы ты знал, сколько в Ереване армян! Самисыньки армяне...

В Ереване меня должен был встретить Кочар, но перепутал сроки прихода поездов, и я оказался на перроне один. Вспомнил наше прибытие в

Тифлис и твои команды: «Цветы вперед, дети к вагону, он это любит, оркестр отойдите, речей не надо, он этого не любит»¹.

Вот я и стоял с довольно-таки горьким чувством на опустевшем перроне, потом сдал вещички на хранение, потом пошел садиться в автобус, искать Кочара. Что скажешь, кроме того же: он это любит.

В Грузии тепло, зелено, проехали Гори, там огромный портрет Сталина в форме маршала, по бокам скромные портреты Ленина и Хрущева. В Тбилиси вокзал веселый, оживленный. Окон там не стеклили. Ереван хорош, хороши дома из розового туфа, площадь грандиозная. Но нет той прелести, что мы видели в Тбилиси. Над городом могучий монумент на холме в военной шинели — Сталин. Он настолько величественен, огромен, что в памятнике какая-то мистическая, нечеловеческая мощь. Сегодня Кочар возил меня на Севан. Но знаешь, Иссык-Куль все же сильнее², все горы вокруг него белее. Но зато на Иссык-Куле нет ресторана «Минутка», где подают розовую, выловленную только из воды форель. Завтра по твоему завету еду в Эчмиадзин — резиденцию католикоса. Напишу тебе об этой поездке. Живу в гостинице «Армения» на втором этаже, комната маленькая, но с ванной и — да простит меня Шолохов³ — с добрым клеветом индивидуального пользования. Вероятно, 10—12 поедем работать в дом отдыха под Ереваном...

9.XI.1961

...Я живу в Ереване, город мне нравится. Погода хорошая, днем тепло, солнце, а ночью дожди. Позавчера лил такой ливень, что я подумал — хорошо, что Арарат рядом. Арарат перед моим окном. Утром он розовый, днем сияет белизной, вечером тоже розовый. А иногда его закрывает облаками дым ереванских фабрик.

Был в Эчмиадзине, храмы огромной древности сохранились до наших дней. Конечно, они обновляются. Архитектура их поражает — гениально простая. Под главным, ныне действующим собором в земле скрыт языческий храм I века, и прямо под алтарем находится жертвенник языческий, страшный, темный котел. А в храме при мне крестил девочку молодой армянский священник.

Принял меня католикос — Восген Первый — в патриарших покоях. Это светский человек в черной шелковой рясе, лет 50-ти, с добрыми красивыми глазами и с губами Куаньяра, любившего «хвалить господу в творениях его». Католикос выпил за мое здоровье рюмку коньяка. Мы беседовали о литературе и пили черный кофе. Обслуживал это дело монах, моло-

¹ В 1956 году мы с Гроссманом совершили поездку по маршруту Москва — Нальчик — Махачкала — Баку — Тбилиси — Сухуми. Всюду нас хорошо встречали благодаря моим крепким связям, за исключением Баку, там связей не было, устроиться в гостинице мы не могли, посхали в Тбилиси. Гроссман был огорчен, и в поезде я сочинил и играл сцену его предполагаемой торжественной встречи в Тбилиси.

² В 1948 году мы поехали в Киргизию, были на высокогорном озере Иссык-Куль. Гроссман об этой поездке написал очерк.

³ Шолохов в своей речи на одном из партийных съездов призывал писателей для подъема творчества покинуть столицу с ее санитарными удобствами и жить на селе.

дой человек, невероятно красивый. Любимый писатель Восгена Первого — Толстой, тот, которого церковь предала анафеме. Восген — автор работы о Достоевском, он сказал мне, что без Достоевского невозможно человекознание. Все было хорошо, интересно, но бога в Эчмиадзине я не видел.

Едят тут вкусно — все, что должно нравиться человеку. К еде подадут много приятных приправ. Пьют коньяк — три звездочки. Цены на рынке высокие, московские, фрукты дорогие. Но в магазинах много продовольствия. Видел драку — молодой армянин хотел зарубить топором толстую даму, тоже армянку, видно жену свою. Его окружили старухи, но он и на них занес топор. Все обошлось без крови, но крику было много. И произошло это на фоне Арарата, знаешь, это какое-то особое впечатление — снежная святая гора и топор в руках жгучего брюнета.

Я работаю, твоему совету в данном случае следовать не могу — уж очень нервы у меня напряжены, спешу, спешу... Не отдыхается. Да и тоскливо бывает очень, хотя впечатлений много.

Я прерву выписки из армянских писем В. С. Гроссмана, чтобы сказать несколько слов о Вазгене (так правильно — не Восген, как у Гроссмана, — пишется имя католикоса всех армян).

Я тоже имел честь быть представленным католикосу, когда мы вместе с Инной Лиснянской приехали весной 1972 года в Эчмиадзин. В один день с нами католикос принял известную актрису из Латинской Америки Лолиту Торрес. С ней католикос говорил по-испански, со мной — по-немецки. Он сказал, что мы хорошо поступили, приехав в Армению в печальную годовщину геноцида 1915 года. Он обворожил нас своей приветливостью, его прекрасные глаза лучились умом и добротой. В отличие от Гроссмана, я увидел в нем человека, глубоко и простодушно верующего. Истинное религиозное чувство всегда явственно, всегда открыто собеседнику.

Он заботливо сказал нам, что сейчас он проследует в храм и чтобы мы пошли вслед за ним, иначе не пробьемся сквозь толпу. И вот по длинному коридору двинулся католикос в сопровождении высших иерархов армянской церкви, все — в фиолетовых рясах, а за ними — мы, безвестные гости.

Началась молитва поминовения усопших. Во время богослужения католикос молчал, проповедь произнес необычайной, благородной красоты священник. Никогда не забуду стройного, многоголосого пения хора, овладевшего мною чувства соединения с вечной правдой, чувства живого торжества жертв над палачами. Инна Лиснянская, армянка по матери, плакала и крестилась. Но в храме больше никто не плакал.

Когда кончилось богослужение, к ногам католикоса бросилась маленькая, худенькая армянка, приехавшая из США, католикос благословил ее.

Все вышли из храма радостные, просветленные. Не было уныния, была радость всечеловеческой общности, какая-то детская радость. Толпа на площади расступилась перед католикосом, матери протягивали к нему своих детей, и он благословлял их.

То была одна из самых славных минут в моей жизни. Я написал стихотворение «Годовщина армянского горя», в котором говорил о всеобщем храме людей.

Продолжаю выписывать строки из писем Гроссмана.

15.XI.1961

...Сегодня днем и вечером, после заката солнца, все без пиджаков — мягкая, ясная, чудная погода. Платаны стоят в золоте... Я много работаю — ямщик гонит лошадей. Живу в Ереване до сих пор, через несколько дней переберемся с Кочаром в писательский дом под Ереваном, не знаю, как буду там себя чувствовать, он высокогато, 1800 метров. Там начнем перепечатку 1-го тома. Я тут не очень здоров, но теперь вроде лучше. Совершил две чудные поездки — на развалины языческого храма в Гарни, ему 2 тысячи лет, и в скальный, пещерный храм Гегард. Эти скальные храмы поражают — представляешь, в сплошной скале пробиты туннели, а из туннеля внутри скалы создан храм — алтарь, колонны, купол — все совершенство и все внутри камня. Только вера могла создать это зрение мастера внутри горного камня. «Помяните мастера» — высечено древними армянскими буквами на камне. А возле входа стоит старый священник в черной рясе и продает открытки — одну из них посылаю тебе. Священник приехал из Палестины, служил в Иерусалиме в армянской церкви. И вот он стоит среди базальтовых камней и улыбается добрыми карими глазами. А камни у входа в храм забрызганы свежей кровью — это верующие люди приносят жертвы, режут овец и кур.

Был в хранилище древних рукописей, показали мне такие чудеса, такую тысячелетнюю жизнь мысли, слова, краски... Есть и древнейшие, тысячелетние, еврейские рукописи, и сочинения армянина Давида Непобедимого, названного так, потому что он победил в диспуте греков. Есть огромная книга — для создания ее пергаментных страниц было убито 600 телят.

И есть жизнь сегодняшнего Еревана — шумная, живая. Утром я завтракаю в кафе при гостинице, обычно в 8 ч. утра — ем творожник, а рядом мои смуглые кузены едят ранний шашлык и вместо чая чинно, спокойно выпивают бутылочку утреннего коньяка. Город европейский во многом, а на главной улице, залитой светом, среди машин, мимо роскошной гостиницы Интуриста и здания Совмина, по тротуару идут овечки, их гонят на закланье, идут охотно, стучат копытцами, а рядом стучат дамские каблучки, гуляют местные стилияги. А у прокуратуры — она рядом с гостиницей — стоят печальные толстые старики, женщины с горем в глазах — родичи тех, кто нарушали.

Что касается опыта Звягинцевой и Петровых, то могу подтвердить своим небольшим опытом — точно, товарищ техник-интендант¹. Но при

¹ Так он меня часто называл после того, как я ему прочел свою поэму «Техник-интендант»: название принадлежит ему. В. К. Звягинцева и М. С. Петровых — поэтессы, переводящие с армянского.

этом стоит подумать — может собственных Алиханянов и быстрых разумом Амбарцумянов армянская земля рождать.

Милы моему еврейскому сердцу базары, особенно фруктово-овощные. Горы, арараты синеньких, айвы, перцев, яблок, гранатов, виноград тут янтарный, необычайно сладкий. Но царит на рынке редис, редька, горы — пудовые, мощные, красные, полуаршинной длины, и притом толстые. Какое-то порождение огородного культа фаллоса.

А вечером я включаю армянское радио, не дикторский, слышный в Москве текст, а музыку. Утром, в полутьме, подхожу к окну, смотрю, виден ли Арарат. Еще темно, а воробьи кричат его страшной силой, голосят как нигде — армянские воробьи. И в небе узенькая турецкая луна.

Из наблюдений Козьмы Пруtkова могу поделиться следующим — заметил, что многие жители, даже и самые нарядно одетые, вдруг, на ходу, яростно царапают зад, полагаю, это от обилия волос.

Ну, вот, дорогой мой, выполнил твою просьбу, написал побольше о своей ереванской жизни, и хоть отъехал далеко, а проболтал с тобой весь вечер, почти по-московски...

Жаль мне, что Ахматова тяжело больна...

22.XI.1961

...Я уже четыре дня живу в горном поселке Цахкадзор, над Ереваном, около часу езды, здесь дом творчества. Поселок красивый, дома, дворики — все лепится по склону горы. Но погода чудовищно плохая — день и ночь льет холодный дождь, смешанный со снежной крупой. Тучи сидят на горах, закрыли все вокруг. Говорят, что такой дождь может лить месяц. А в Ереване дождя почти нет и гораздо теплее. Я работаю очень много, с утра до позднего вечера, сильно устаю. Вечером мыслей нет, одна усталость.

В доме живут Кочар с женой, они почти каждый день уезжают в Ереван, гуляют на свадьбах, сплошные свадьбы; затем — толстая Асмик, у нее лишних 40 килограммов, переводчик Гроссман — у него лишних семь кило, весит 85 кило. Ты спрашиваешь, чем питается переводчик Гроссман? Шашлыками, форелью, которую привозят с Севана в ведре, душистыми травами, овечьим сыром, мацуном, редиской, армянским супом спас, лавашем, сметаной. В общем, рацион у переводчика Гроссмана, как у орангутанга в столичном зоопарке — разнообразный, из многих компонентов. И представь, при этом переводчик не прибавляет в весе, очевидно, характер у него неважный. По дурацости Гроссман не взял черного костюма, хотя ему советовали взять его. А оказывается, в Ереване это любимый цвет, все солидные люди ходят в черных костюмах.

Два первых дня в Цахкадзоре была хорошая погода, и я много гулял, очень мне понравилось здесь. Все построено из камня, пустынный храм XIII века, удивительной простоты и ясности постройка, — и кровь, и куриные перья на камнях: верующие приносят жертвы. Коровы, телята, овечки ходят по тротуарам, ослики по мостовой. Людей почти не видно. Встречаясь с тобой, старики и молодые здороваются, улыбаются. Дети милые, живые, задорные. Ночью при луне во дворах на веревках сохнет белье — говорят, воров нет. Кроме армян во дворе живут молokane — бо-

родатые. У каждого медный самовар, норма — 25—40 стаканов в день. На свадьбах ставят самовары — пьют чай. Цахкадзорские молокане не прыгуны, прыгуны главным образом в Ереване. А теперь двое суток льет дождь. Кочары уехали на очередную свадьбу, толстая Асмик отбыла с ними, и я один в большом двухэтажном доме на горе. Где-то внизу ночной сторож старик Ованес, его сын осужден за убийство, зарезал в драке человека. Ованес носатый, небритый, по-русски не знает, но, когда я прохожу мимо, он поднимает палец и смеется: «Один ты остался, на свадьбу не взял». Среди армян часто встречаются сероглазые, голубоглазые. Русские все прекрасно говорят по-армянски. Армяне многие совсем не знают по-русски, а если говорят, то большей частью неправильно.

Пишу тебе, а дождь гудит, а час назад прогремел несколько раз гром. Спасибо, что выписал длинную цитату из «Иностр[анной] литературы», меня она удивила и внесла оживление в мою жизнь, знаешь, я за эти недели совсем забыл о своих прежних занятиях, может быть, оттого, что с утра до вечера работаю и сильно устаю, да и вообще — ходить в ремесле по жизни, как в хомуте. Зато форелью кормят...

6.XI.1961

Сегодня съездил в Ереван, получил письма, представь, в Ереване тепло, по-прежнему ходят в пиджаках многие, на платанах золотится листва. А у нас в Цахкадзоре скрипит под ногами снег, дети катаются на санях, на лыжах.

Семушка, милый, как тут красиво, по белому снегу ходят бессчетные овцы, туман молочный, синее небо, сахарные горы, и Араратище из облаков выходит, сияет своей белой головой.

Порадовался и я, что будет передача телевизионная по твоей книге переводов, напиши мне, как она прошла, не забудь. Неужели ты поедешь к 18 декабря в Казань, — ты ведь знаешь, как я не выношу твоих отъездов, даже когда сам нахожусь в Ереване. Но теперь, видимо, ты поедешь на 2—3 дня, это еще терпимо.

Получил письмо от своей редакторши московской — Ивановой. Книгу¹ пустят без задержки, письмо милое, но все хочет снять те же четыре рассказика, на которые покушался и Федор Левин, и Вера Панова в своих рецензиях. Да что уж там, — могу сказать, как мужик из «Кому на Руси жить хорошо»: «... Да нас бивал Калашников»². Теперь у меня нет уже здесь сплошного набора новых впечатлений, перестал ездить, сижу с утра до ночи за столом (не обеденным), устаю. И в то же время все накапливаются совсем иные впечатления — это скорее мысли, а не впечатления, — нечто о природе вещей, о природе людей, — знаешь, как Чехов написал в своей записной книжке, статья под заглавием «Тургенев и тигры»...

¹ Небольшой сборник «Старый учитель», повести и рассказы, с трудом вышел в «Советском писателе» в 1962 году.

² Неточная цитата из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Савелий говорит: «...нас дирал Шалашников».

11.XI.1961

...Ты спрашиваешь о моих делах. Работа моя сильно двинулась вперед, думаю закончить в конце декабря. Теперь ее сроки определяются не только мной, а деятельностью машинисток. С ужасным, безграмотным подстрочником я покончил, довел дело до последней — 1420-й страницы. Сейчас буду читать и править рукопись после машинисток. Первые 100 страниц уже прочел, — после подстрочника это примерно то же, что работа литсотрудника журнала «Красноармеец» по сравнению с пребыванием у Горохова на Рынке в октябре 1942 года. Буквально «отдыхаю душой». Только сейчас понял всю мудрость истории с козой, взятой в дом. Блаженствую — коза уже не в комнате, а в сених. Каково-то будет, когда она уйдет из сеней и я поеду недели на 2, на 3 к морю. А впрочем, может быть, я скажу, что в помещении скучно без козы. Нет, нет, этого не будет. Мне ясно — хочу к своему разбитому корыту.

Я уже привык к тому, что автор безразлично и как-то сонно относится к тому, что пожилой господин работает над его книгой с таким усердием, что по вечерам у него лицо и лоб покрываются фиолетовыми пятнами. Две недели назад меня это поразило, а сейчас я искренне был бы удивлен, услышав слово — мерси. Но, говоря по-рабочему, — харчи хорошие, общежитие чистое, теплое, платят справно, бельишко постельное меняют раз в 7 дней. Грех жаловаться. Я и не жалуясь...

Я уж тут старожил: здороваюсь с десятком людей. Дышится тут легко, и хорошо очень утром, идешь по горной дороге, — по склону гор овечки, леса, монастырь, часовни, небо синее. Встретишь старика, поздороваяешься, — улыбнется, и я ему говорю: «барев цез» — добро вам. Знаешь, армяне христиане с IV века, но мне кажется, что они вся язычники — добрые, трудолюбивые, вспыльчивые язычники. Христианского я не чувствую...

12.XII.1961

...На днях ездили мы в Дилижан. Знаешь, когда человеку исполняется 55 лет, ему нужно жить в Дилижане, после 55 это тоже хорошо, самый раз. Боже, какая это прелесть — вдали от железной дороги в горной котловине среди сосен лепятся по склону горы домики, обнесенные открытыми террасами. Какой мир, какая тишина. Да и воздух, говорят, целебный для сердечников и астматиков. А ехать в Дилижан нужно мимо озера Севан, по горам через Семеновский перевал, и по дороге снежные вершины, сосны, армяне, молокане, овечки, ишачки, горные речушки.

Это был мой коротенький отдых. Продолжаю работать очень напряженно. Если б. ж.¹, то закончу работу в декабре. Начали поступать чистые страницы от машинисток, мой клиент читает их с кислым лицом, а мне кажется — все в порядке, — работа сделана большая, и сделана добросовестно. Меня раздражает и огорчает сдержанность клиента, право же, мог бы сказать рабочему — спасибо. Ну да что, — это ведь эпизод в моей

¹ «Если буду жив» — любимое присловье Льва Толстого.

жизни, прожитой жизни. Как я уже тебе сказал — «меня бивал Калашников». Какое уж там спасибо.

Рад я, что смогу отдохнуть, — знаешь, я очень устал. Столько сижу за столом, что не только внутри головы усталость, а на лице пятна выступают, и спина, и плечи болят. И так мне кажется хорошо отдохнуть после этих нештучных трудов.

Боюсь, что от прочтения статейки, которую обо мне написал Жоржик Мунблит¹, будет ощущение, как от тараканчика съеденного. Может быть, есть такая еврейская фамилия — Тараканчик? От Рувима² Тараканчика нет вестей, звонил ли он тебе или все еще на прогулке? Вот и от него у меня чувство, как от съеденного таракана, а ведь с Фраерманчиком-Тараканчиком дружили мы четверть века. Ну, ничего, «меня бивал Калашников».

25.XII.1961

Я снова переехал в Ереван, в гостиницу, простился с чудным Цахкадзором, что означает «Долина цветов». Но так складывается, что на последнем этапе работы жить в горном поселке нельзя — приходится иметь дело с издательством, редактором. Надеюсь, что к концу месяца справлюсь со всеми делами, меня, правда, тревожит, не задержит ли меня получение денег, без коих, как ты легко можешь понять, до Сухуми не доедешь... Но надеюсь, что если и будет задержка, то на 2—3 дня.

У меня тут вновь появились значительные впечатления — в вечер накануне отъезда из Цахкадзора. Я был в гостях у пресвитера молоканской общины деревенской — бородатого старика, и знаешь, какое-то хорошее, светлое, ясное чувство от его веры. Куда образованному, просвещенному, блестящему католикоу всех армян Восгену Первому до этого косноязычному, почти неграмотному мужику Михаила Алексеевича. Верит! Знаешь — чувствуется сразу: верит по-настоящему, слив свою судьбу, судьбу жены, детей, внуков со своей верой. Верит в добро, в доброту, в то, что нельзя обижать людей и зря, для забавы, убивать животных. Пили мы чай и говорили, и я увез хорошее чувство от человека этого и от его речей.

А потом я поехал уже из Еревана, вчера, в деревню Сасун, на склоне Арагаца: сестра Кочара, старуха, женила сына-шофера. Эта поездка, конечно, самое сильное мое армянское впечатление. И знаешь, дело даже не в замечательном, поэтичном, грубом, сложном и многоступенчатом свадебном обряде и не в красивых старинных песнях, которыми славится Сасун, деревня, связанная с Давидом Сасунским. Дело, Сема, в чудных людях, деревенских армянских стариках, в армянских мужиках — чудных людях. На свадьбе было 200 человек, и я наслушался человеческих, добрых речей — впервые в жизни. Десятки людей в своих речах, обращаясь ко мне, перед толпой мужиков, баб, говорили горячо, страстно, со слезами.

¹ Речь идет о посвященной Гроссману статье критика Г. Н. Мунблита для «Литературной энциклопедии».

² Писатель Р. И. Фраерман.

А говорили пастухи, шоферы, землекопы, каменщики сельские. В этот день я особенно сильно жалел, что тебя не было в этой деревне, — я все думал, что ты бы стоял тут и плакал, и написал бы стихи, читая которые люди бы тоже плакали.

И все это среди суровых груд камней, на фоне синего неба и сияющей вершины Арарата, того самого, на который смотрели люди, писавшие Библию. Ох, Сема, сильно это берет за душу... А увидимся, я тебе расскажу все это подробно, а может быть, ты и сам увидишь все своими глазами, стоит, надо...

Что Мунблит ограничился датами и названиями, то меня можно поздравить. А касаемо Вали и Рувочки¹, то надо сказать, я нахожусь на той низкой (или высокой) ступени смирения, что эти звонки к тебе меня порадовали, вот и трубку наконец Рувим взял, сам поговорил с тобой. Думаю, что на ступени смирения я все же не удержусь...

30.XII.1961

...Сема, вот я и окончил работу, — «дорукаюсь» с автором, получу деньги и поеду в Сухуми, куда ты мне пиши по адресу «До востребования». Очевидно, выеду третьего. Я так устал, что, кроме нервного расстройства и бессмысленного желания плакать, ничего не чувствую, совсем что-то разболтался. С клиентом идут острые разговоры. Он человек очень неглупый, понимает, что ему сделано хорошо, но в то же время невольно меня ненавидит, как зверь, попавший на остров в лапы доктора Моро. А доктор Моро, действительно, его сильно резал и мял и несколько приподнял его на лестнице литературной эволюции. Но знаешь, очень больно: «Где моя шерсть, зачем отрезан мой хвост? Я не хочу быть голым, без шерсти». А в то же время и приятно. Ты ведь тоже старый, стажированный доктор Моро, признайся, что тебе стоит². Понимаешь эти ситуации лучше меня. Вчера я кончил эту костоломную работу, а сегодня стал писать, записывать армянские впечатления. Как Жорж Занд — в 4 утра кончила роман и, не ложась спать, начала второй. Правда, есть разница, — ее печатали, а меня уж совсем трудно понять. Куда спешить?

Хочется тебя видеть, время идет, и все больше накаливаются разговоры, и перо, как принято выражаться, бессильно. Возможно, что до отъезда поедем с Кочаром в Араратскую долину к его родственникам. Там совсем не так, как на Арагаце, очень богато живут, долина эта райская.

20.XII.1961, вечером

...Получил деньги в издательстве, конечно, потиражных не заплатили, их платят по выходе книги, как и в Москве. Очевидно, автор решил, что я буду резвее работать, полагая получить деньги за тиражи по сдаче рукописи. Все же интересно — за 2 месяца жизни здесь ни один писатель не

¹ Чета Фраерманов.

² Последние несколько слов нуждаются в разъяснении. В 37-м году на открытом партийном собрании прорабатывали критика Елену Усевич. В перерыве к ней подошел поэт Михаил Голодный и сказал: «Усевич, признайся, ты же враг народа, что тебе стоит».

пришел ко мне, не позвонил, не позвал, а при случайных и неминуемых встречах на улице даже не спросил — здоров ли я, впервые ли в Армении, — такого собачьего равнодушия я никогда не видел, да больше и не может быть. Да это уже не равнодушие, а неприличие, потому что спросить пожилого приезжего человека о его здоровье и нравится ли ему на новом месте — это вопрос, диктуемый элементарным приличием. А автор мой сегодня при последнем нашем разговоре предлагал, и притом крайне настойчиво, чтобы в рукописи слово «люди» было заменено словом «человеки», он поражается, как же я не понимаю, что «человеки» звучит более мягко, сердечно, тепло.

Ну, ладно, зато я видел Армению...

11. I. 1962

Дорогой Сема, вот мы и дожили до 1962 года и пишу тебе в этом Новом году из Сухуми, — море, вечная зелень, то теплый дождь, то теплое весеннее солнце... Перед отъездом из Армении, вернее, в день отъезда, получил последний заряд впечатлений, — с утра поехали на знаменитый коньячный завод «Арагат», где усердно дегустировали коньяк, а затем — в благословенную Арагатскую долину, в деревню, а я уж точно выяснил для себя, что больше армянских храмов и гор мне нравятся армянские деревенские люди, очень с ними хорошо, сидя в сложенном из больших камней доме, пить виноградную водку и разговаривать, смотреть на милые стариковские лица...

Очень мне хочется, чтобы с «Новым миром» у тебя завязались отношения, — ну, год впереди, но тянуть нельзя, ведь годы позади. А у меня Новый год начался, как вся моя жизнь: и хорошо, счастливо, и горько, тревожно, путано, с радостью на сердце, с желанием труда — таким же неразумным, как инстинкт жизни, таким же бессмысленным и непреодолимым. Ну ладно, обо всем хорошо и светлом, тяжелом и трудном расскажу тебе при встрече, а встреча не за армянскими горами...

Получил я очень тяжелое письмо с Беговой от О. М.¹ Я написал ей, что знал о том, что Катя² едет в Сочи, но что я поехал в Сухуми и хочу перед отъездом в Москву побывать в Сочи и повидать всех. Ох, горькая это пуганица.

Вспоминаю наши с тобой походы за хачапури, прогулки. Думаю в районе 20-го двинуться в Москву. Тебе сердечно кланяются море, пальмы, но не только они...³

Гроссман вернулся в Москву в начале нового, 1962 года. То, что он похудел и сильно загорел, не делало его моложе. Он казался больным. Когда он даже шутил, смеялся, — боль стояла в его глазах и было видно, что боль мучительная, не физическая, а душевная. Он переехал в однокомнатную кооперативную квартиру недалеко от моего дома, но ему трудно, тос-

¹ Ольга Михайловна.

² Е. В. Заболоцкая.

³ Намек на мою поэму «Несто и Сария», действие которой происходит в Сухуми.

жливо было жить одному, и, когда я его утешал, — мол, заманчива холостая жизнь, рисовал ее прелести, — он слабо и беспомощно улыбался. Живший за стеной сосед Гроссмана, ему не знакомый, постучался к нему, сказал, что пришли электрики, спрашивали, действительно ли именно Гроссман его сосед, — не оборудовали ли они подслушивающую аппаратуру. Гроссман отнесся к сообщению без особого интереса.

Сила духа его была велика: он работал, он написал несколько рассказов, создал поэму — иначе не назову его армянские записи — «Добро вам». Повторяю, если в России найдется читатель моих воспоминаний и если к тому же он окажется литератором, то я думаю, что он с любопытством прочтет армянские письма Гроссмана и увидит, как они преобразовались в сознании художника. Последнее произведение Гроссмана — неожиданное для характера его письма. Никогда он не писал с такой откровенностью о себе, обнажая не только свою душу, но и физиологию, плоть. Никогда не был так близок себе и никогда с таким наслаждением не приближался к лицу человека: «Казалось, не свечи, а глаза людей светились мягким, милым огнем».

Я позволю себе задержать читателя на одной мысли. После смерти Сталина произошло оживление в нашей литературе. Вместе с произведениями реалистическими, без которых литература задыхалась, появились стихи, о которых говорили, что в них есть самовыражение, и проза, которую называли исповедальной. Не странно ли — какой художник не самовыражается, какое его творение не является исповедью? Но дело в том, что после придворной сталинской литературы, унаследовавшей и развившей каноны придворной поэзии Востока, читатель имел все основания заметить нечто новое, и действительно, некоторые вещи послесталинского периода в области самовыражения и исповедальности носят на себе отпечаток таланта, — но далеко не все. Стали самовыражаться, а выразить было нечего, стали исповедоваться, а получилось, что и грешили-то примитивно и все — одинаково. И тогда-то, чтобы как-то отличаться один от другого, прибегли к метафоричности, к орнаментальности. Точно так же поступали и придворные персидские поэты средневековья. Одни и те же причины привели к одинаковым следствиям. Исповедь, самовыражение интересны и глубоки только тогда, когда глубок и интересен художник.

В «Добро вам» есть все то прекрасное, печальное, светлое, мощное, что было и в прежних книгах Гроссмана, но есть и новое, оно, это новое, бросается в глаза, и все же не так просто очертить его пером критика. Да я и не пытаюсь высказывать свои размышления об армянской поэме Гроссмана, мне кажется, гораздо важнее рассказать историю ее публикации, тоже печальную, но не светлую.

Закончив работу, Гроссман отдал ее «Новому миру». Твардовскому она понравилась, на полях рукописи есть только одна его пометка. Там, где Гроссман пишет: «Пьющие и выпивающие братья средних и пожилых лет, вы, наверное, знаете, каково это проснуться после тяжелой выпивки среди ночи», — Твардовский сбоку заметил карандашом: «Еще бы!»

Других замечаний не было, очерк-поэму набрали, и цензура поставила на верстке свой жизнедательный штамп, но предложила-приказала — вы-

бросить один абзац... Пусть читатель вспомнит то место из письма от 25 декабря, где Гроссман говорит: «Эта поездка (в Сасун), конечно, самое сильное мое впечатление... Я наслушался человеческих, добрых речей, — впервые в жизни». Вот в какие строки, испугавшие цензуру, вылилось это самое сильное впечатление.

«Я низко кланяюсь армянским крестьянам, что в горной деревушке во время свадебного веселья всенародно заговорили о муках еврейского народа в период фашистского гитлеровского разгула, о лагерях смерти, где немцы фашисты убивали еврейских женщин и детей, низко кланяюсь всем, кто торжественно, печально, в молчании слушал эти речи. Их лица, их глаза о многом сказали мне, кланяюсь за горестное слово о погибших в глиняных рвах, газовых и земляных ямах, за тех живых, в чьи глаза бросали человеконенавистники слова презрения и ненависти: «Жалко, что Гитлер всех вас не прикончил». До конца жизни я буду помнить речи крестьян, услышанные мною в сельском клубе».

Гроссмана оскорбило, обожгло решение цензуры. По его настоянию Твардовский пытался уговорить своего прижурнального главлитчика, но безуспешно, в этих строках тот бдительно усмотрел опасность для Государства, упрямо настаивал на своем. Гроссман отказался печатать «Добро вам» в журнале.

Я его понимал. Давняя подпись под письмом Сталину мучила его, он не хотел еще раз поступаться своей честью. Да и противно было его душе после ареста романа идти на уступки, принести в жертву то, что помнил до конца жизни. Я надеюсь, что не принадлежу к тем писателям-рабам, которым непримиримость Гроссмана кажется глупостью, проявлением вздорного характера, но все же я тогда считал, и теперь считаю, что Гроссман совершил ошибку. Конечно, дороги, очень дороги были Гроссману 10 или 12 строк новомирского набора, окаймленные красным запретительным карандашом, но в «Добро вам» около ста страниц, и какие бесценные мысли нашел бы в них читатель, какое глубокое чувство охватило бы его...

Об армянских записках узнали в литературной среде. Верстку читали. Вот что написала Гроссману писательница, человек высокого сердца Ф. А. Вигдорова:

«Я прочитала «Добро вам». Это так прекрасно, как только может быть; горько, нежно, пронзительно. Вы писатель замечательный, и эти сто страниц принадлежат к лучшему, что Вами написано. Всех видишь. Вместе с Вами думаешь. Плачешь. Смеешься. И такая радость их читать, эти сто страниц, хоть это чтение нелегкое».

После смерти Гроссмана с версткой «Добро вам» познакомилась поэтесса Сильва Капутикян. О многом поведали армянке-патриотке эти записки, и она увезла произведение, посвященное ее народу, на родину, чтобы попробовать там его напечатать, поскольку, за исключением нескольких строк, это произведение получило разрешительный штамп московской цензуры, весьма, естественно, почитаемой в Армении. Проходит около года, о записках ни слуху ни духу. Выполняя завет Гроссмана, я поехал в Армению. Выяснилось, что верстка находится в журнале «Литера-

турная Армения», выходящем на русском языке, но из-за строк, выброшенных цензурой, редакция опасается печатать «Добро вам», хотя и очень этого хочет. С помощью моего знакомого, профессора-литературоведа Левона Мкртчяна, удалось убедить редакцию в безопасности и необходимости напечатать работу Гроссмана — о записках уже заговорили в Ереване, — в 1965 году «Литературная Армения» опубликовала «Добро вам».

Мой приезд в Ереван совпал с пятидесятилетием со дня геноцида, когда турки вырезали миллион армян. Газеты никак не отметили это страшное событие, русская газета вышла с передовицей о своевременном поднятии зяби, а армянская — о дружбе народов, в городе начались волнения, с утра не расходилась огромная толпа на площади у театра имени Спендиарова, молодежь требовала присоединить к Армении Карабах, населенный армянами, отторгнуть эту территорию от Азербайджана, и я вижу нечто символическое в том, что переговоры с редакцией о записках Гроссмана велись под отдаленный гул разрастающейся, несмолкающей, разгневанной толпы.

Когда «Литературная Армения» появилась в Москве, давний друг Гроссмана, сотрудница «Нового мира» А. С. Берзер, посоветовала мне пойти к Твардовскому с предложением — перепечатать «Добро вам» в разделе «По страницам журналов»: был такой раздел в «Новом мире», в нем помещались небольшие произведения, взятые из провинциальных журналов. Твардовский, как и я, был членом комиссии по литературному наследству Гроссмана, и моей обязанностью, среди прочих, было информировать Твардовского о наших заседаниях, которые он не посещал. Как раз комиссия поручила мне просить Твардовского о том, чтобы он, используя свой большой авторитет, помог добиться разрешения передать рукописи «Жизни и судьбы» с Лубянки в спецхран ЦГАЛИ, несравненно более доступный для членов комиссии. Твардовский обещал помочь, только сказал, что не надо его торопить, он должен для успеха дела выбрать подходящий момент встречи с кем-нибудь из руководителей государства.

Тут я перешел ко второй просьбе. Твардовский наотрез отказался перепечатать «Добро вам». Он сказал, что высоко ценит моральные качества Василия Семеновича, но что писатель он средний. Я напомнил Твардовскому о его прежних, известных мне отзывах о Гроссмани, весьма хвалебных, даже восторженных. Твардовский крепко выругался, я ответил ему в том же духе, в общем, только Юз Алешковский отважился бы воспроизвести в печати нашу литературную беседу.

История «Добро вам» на этом не кончается. Нашей комиссии удалось добиться в «Советском писателе» издания небольшой книжки Гроссмана, в которую вошло несколько его рассказов разных лет (в том числе и поздних, написанных после ареста романа) и «Добро вам», давнее название всей книжке, вышедшей в 1967 году. Редактор, покойная В. Острогорская, хорошая женщина, сказала мне, что главная редакция свирепствует, выбрасывая из «Добро вам» уже не строки, а страницы, даже главки. Замечу — свирепствует редакция, в которую входили писатели, а не Главлит.

Я доложил об этом на заседании нашей комиссии, и члены ее постановили не спорить с издательством. Я сначала намеревался добиться от комиссии разрешения — отказаться от публикации «Добро вам» в искаженном виде, но после долгих раздумий решил этого не делать, во-первых, по соображениям, уже изложенным выше, во-вторых, вряд ли я пересилил бы комиссию. И теперь я чувствую и радость от того, что большая часть «Добро вам» все-таки стала достоянием русских читателей, и свою вину перед умершим другом: ведь нарушена его воля.

Главка, помеченная в книжке цифрой «2», есть, в сущности, третья, а вторая выброшена целиком. Вот кусок из нее:

«Над Ереваном, на горе, стоит памятник Сталину. Откуда ни помотришь, виден гигантский бронзовый маршал.

Сталин одет в длинную бронзовую шинель, на голове его военная фуражка, бронзовая рука его заложена за борт шинели. Он шагает, шаг его медлителен, тяжел, плавлен — он не спешит. В нем странное, томящее соединение — он выражение силы, которой может обладать лишь бог, так огромна она; и он выражение земной грубой власти — солдатской, чиновной. Кажется, облака касаются головы Сталина. Высота фигуры Сталина семнадцать метров. Фигура вместе с постаментом — пятьдесят два метра. Когда шла сборка памятника и части огромного бронзового тела лежали на земле, рабочие проходили, не сгибая головы, внутри полых ног Сталина.

Этот памятник установили в 1951 году.

Я приехал в Ереван в дни XXII съезда партии, в дни, когда проспект Сталина, красивейшая улица города, обсаженная чинарами, широкая и прямая, ночью освещенная фонарями, вчekanенными в асфальт мостовой, — была переименована в проспект Ленина.

Мои ереванские собеседники говорили изящно: «Пусть металл, пошедший на создание этого памятника, обретет свою первоначальную благородную сущность...»

Мне рассказывали, что в одной деревне в Араратской долине на общем собрании колхозников было предложено снять памятник Сталину. Крестьяне заявили: «С нас государство собрало сто тысяч рублей, чтобы поставить этот памятник. Пожалуйста, разрушайте, но верните нам наши сто тысяч».

Кажется, один только старый Андреас, сошедший с ума после массовых убийств армян, совершенных турками, гневается на то, что разрушили памятник Сталину: «Он потрясал посохом, он бросался на шофера, на детей, на студентов-лыжников, приехавших из Еревана. Для него Сталин был победителем немцев. А немцы были союзниками турок. Значит, памятник Сталину разрушили агенты туюю».

Из главы пятой (в книге — четвертой) выброшены четыре страницы. Там, между прочим, есть рассказ о старике Саркисяне. Был он в молодости большим партийным деятелем, встречался с Лениным в эмиграции. Затем объявили его турецким шпионом, били смертно, послали в сибирский лагерь, где он прожил девятнадцать лет. Мы читаем:

«Он рассказал мне, как в тесной маленькой камере ереванской тюрьмы сидели восемьдесят человек, все это были ученые люди, профессора, старые революционеры, скульпторы, архитекторы, артисты, знаменитые врачи, и как мучительно долго, каждый раз сбиваясь со счета, пересчитывали их стражники. А однажды стража вошла вместе со старым угрюмым человеком, он оглядел человеческий сплошняк на нарах, на полу быстрым взглядом и вышел. Так стало повторяться каждый день. Потом выяснилось, что этот старик — чабан. Администрация тюрьмы использовала при проверке заключенных его феноменальную способность мгновенно подсчитывать сотенные и тысячные стада овец.

Он рассказывал, как, приехав из лагеря, некоторое время продавал газированную воду на улице Абовяна и как пришедший из района старик колхозник, попивая шипучую водичку, обстоятельно беседовал с ним. Саркисян рассказывал старику, что участвовал в подпольной работе, потом в 1917 году свергал царя, потом строил Советскую власть, потом сидел в лагере. «А вот теперь продаю газированную воду».

Старик подумал и сказал:

— И зачем ты сбрасывал царя, разве он мешал тебе продавать газированную воду?»

Далее следовала трогательная история о том, как недавно две большие молоканские русские семьи перешли вброд ночью через Аракс из Турции в Армению, как их сердечно встретил начальник нашей заставы, как из пограничного поселка прибежали жены офицеров, неся одежду для женщин и детей. Не понимаю, почему этот эпизод вырезали редакторы, ведь не от нас бегут, а к нам, даже лестно.

Предисловие к книге написал Н. Атаров, написал неплохо, кое-что увидел. Читаем о Гроссмане: «В жизни он был нелюдимый, угрюмый и грозный, как правосудие... И только сейчас, перечитывая его посмертный сборник рассказов, понимаешь, как этот нелюдимый, как этот порою обижавший близких человек ненавидел предательство дружбы».

Правильно, Гроссман был неудобный человек для легкой дружбы, ненавидевший предательство дружбы. Но что это за дружба, если она легкая и способна на предательство? Знакомство, завязавшееся в редакции, в доме творчества, во время пирушки, всегда ли превращается в дружбу? Гроссман требовал от дружбы честности, стойкости, самоотверженности. Разумное требование в разумном обществе. Ему нужна была дружба «в упор, без фарисейства».

Беда Гроссмана заключалась в том, что он был доверчив, и в этой доверчивости жила одна слабость: он привечал тех, кто восхищался им. Немало легких друзей приобрел он в военные годы, когда он был в чести, когда разных людей временно объединили общие горести и трудности, и они, эти люди, тоже на время, стали лучше, честнее. Но вот военные трудности сменились другими, и люди стали другими, то есть прежними. Тот же Атаров льнул к нему, приходил к нему, как ученик к учителю, и Гроссман встречал его благосклонно, но, вступив в партию, Атаров стал функционером, его назначили редактором журнала «Москва», он постепенно

отстранился от преследуемого Гроссмана, и, конечно, когда они случайно встречались, Гроссман смотрел на него «угрюмо и грозно».

Фронтовые дороги свели Гроссмана с Борисом Галиным, этот правдистский очеркист гордился тем, что они с Гроссманом на «ты», и Гроссману, я видел, льстило такое поклонение, но и Галин, как теперь выражаются, «слинял», когда Гроссман попал в беду, и если бы Гроссман узнал, как уже после его смерти подло повел себя Галин, когда за рубежом вышло в свет «Все течет», то, бесспорно, говорил бы о Галине «угрюмо и грозно».

Был у Гроссмана друг детства, ставший профессором-математиком. Во время борьбы с космополитизмом он сказал: «Во имя идеи коммунизма допустимо пожертвовать целым народом». У профессора были поздние дети, как все отцы такого рода, он обожал их, а между тем говорил: «Во имя коммунизма я готов пожертвовать своими детьми». Что это было — лицемерие раба или глупость раба? И наверно, он удивлялся тому, что Гроссман смотрит на него «угрюмо и грозно».

Был у Гроссмана приятель-поклонник Осип Черный. Он был Гроссману по душе не только как поклонник, но и как знаток музыки, которую Гроссман не столько знал, сколько любил. Однажды Черный сказал Гроссману: «Вы Веньяминчику», т. е. любимчик, тем самым объясняя невежество свое собственное положение в литературе. Гроссман ему ничего не ответил, но мне пересказал, значит, запомнил, обиделся. И вот Черный выпускает роман о музыкантах, в котором вслед за Сталиным нападает на формалистов, создающих сумбур вместо музыки, в героях романа легко угадываются прототипы — Шостакович, Мясковский, Прокофьев. Эти композиторы не были близки Гроссману, он предпочитал им Моцарта или Бетховена, но Черный, лягающий их, вызвал его гнев, он и на него стал смотреть «угрюмо и грозно».

Не помню, кто рассказывал мне, что в Коктебеле в одно время с Гроссманом отдыхал АрдаMATский, автор нашумевшего фашистского фельетона «Пиня из Жмеринки», напечатанного в «Крокодиле». Никто из порядочных людей не здоровался с АрдаMATским, кроме Гроссмана, и на недоумение этих порядочных людей он отвечал: «Не вижу, почему АрдаMATский хуже других, он такой же, как все, что же я, по-вашему, со всеми должен перестать здороваться?» — и эти слова крепко задели его собеседников.

Однажды жертвой непримиримости Гроссмана оказался я. Это было в 1948 году. На одном заседании, посвященном проблемам перевода и созданию высокой инстанцией, поэт-переводчик Л. Пеньковский выступил против Пастернака. Присутствовавший на заседании Асеев, карточный партнер Гроссмана, сказал ему, что против Пастернака выступил я: очевидно, он потому спутал меня с Пеньковским, что оба мы переводили киргизский эпос. И вот до меня дошло, что Гроссман разбушевался, вовсю меня ругает. Я перестал с ним встречаться. Прошло несколько месяцев, — и мы с Гроссманом в одном зале, нам вручают медали 800-летия Москвы. Гроссман ко мне подошел, улыбаясь. Оказалось, он уже узнал от Николая Чуковского о своей ошибке. Мы помирились, поцеловались. Я ему ска-

зал: «Можно же было спросить у меня, как в действительности обстояло дело», а Гроссман повинно ответил: «Я поверил. Такие времена, что плохому всегда веришь».

Гроссману приятно было отношение к нему Эренбурга — внимательное, ласковое, уважительное. Гроссман ценил его талант, особенно ярко, по его мнению, выразившийся в «Жулио Хуренито», ценил его военные статьи, его образованность, превосходное знание живописи, ценил, как я заметил, то, что его хвалит писатель старше его годами, с мировой славой. Гроссман пожал плечами, когда я сказал, что Эренбург настоящий, хотя и небольшой поэт, недурной переводчик, средний прозаик и выпрессенно-беспринципный журналист, — мое мнение показалось ему парадоксальным, бездоказательным, — за исключением последнего пункта. Однажды, где-то в начале пятидесятых, мы с Гроссманом были в гостях у Каверина, заночевали у него на даче в Переделкине, об этом узнал Эренбург, живший тогда на соседней даче у Лидина, и пригласил нас к себе. Гроссман шел к нему раздраженный, — Каверин скупно выставил водку, и вот, когда мы пришли к Эренбургу, Гроссман на него обрушился, как на борца за мир, выложил все, что он думал о его политической деятельности. Эренбург держался мужественно, оскорбительные слова Гроссмана выслушивал спокойно. Я был согласен с Гроссманом, но, признаюсь, не одобрял его поведения: со многими Гроссман рассорился, теперь рассорится с Эренбургом, который так любил его как писателя, да и как человека. Общество наше особенное, нового типа, и трудно, порой невозможно в обществе нового типа жить с людьми, как в прежнем, пусть несовершенном, но нормальном обществе старого типа.

Нет, Гроссман не был угрюмым, нелюдимым. Таким его сделали. Он любил веселье, шутки, дружеские беседы и застолья, карточную игру (иногда покер или преферанс длились всю ночь напролет, целыми сутками). Он был обращен к людям всей душой своей, но его доверчивость, грубо и много раз обманутая, превратилась в недоверчивость. А те, кем он был обманут и предан, чтобы как-то оправдать себя в собственных глазах, объявляли его угрюмым, грозным, нелюдимым, трудным в общении.

12 декабря 1984 года ему исполнилось бы 79 лет. Понятно, что большинство его сверстников ушло из жизни. Осталось в Москве лишь несколько литераторов, которые знали его. В связи с выходом в свет книги «Жизнь и судьба» интерес к нему возродился. Те, кому посчастливилось книгу прочесть, взволнованы ею и, встречая меня, говорят и о книге, и об ее авторе, — и опять: «Он был человек нелегкий, нелюдимый, обозленный». Я напоминаю им, как они избегали его в тяжкую годину, привожу постыдные для них случаи, и так как высказываюсь без злобы, улыбаясь, потому что своих собеседников не уважаю, то они на меня не обижаются. Ошибка Гроссмана, по-моему, состояла в том, что он литераторов нового типа мерил старой меркой русской интеллигенции, принимая их всерьез.

В конце 1962 года Гроссман сказал мне, что у него в моче появилась кровь. Лечащий его литфондовый врач Райский посоветовал ему обратиться к урологу, но посоветовал не настойчиво. Гроссман лечиться не любил, к урологу не пошел.

Мы оба думали, не результат ли это той невыразимо острой пищи, которой он ублажал себя в Армении. Неприятное явление прекратилось, и Гроссман успокоился. Врачи-онкологи мне потом говорили, что, если бы он не запустил болезнь, его можно было бы спасти, по крайней мере, продлить ему жизнь на 5—6 лет.

Он как бы забыл о случившемся, много, с увлечением работал, но на здоровье иногда жаловался, что раньше было ему несвойственно. Однако, несмотря на недомогание, читал газеты, ловил «вражеские» голоса, отзывчиво и любовно следил за литературными делами своих друзей. Вот что он в это время написал в Малеевку:

«Дорогой Сема, получил твоё письмо. Рад, что чувствуешь себя лучше. Рад, что твоё стихотворение наконец опубликовано в «Литер[атурной] газете». Неожиданно ли это для тебя? Ведь перед отъездом ты говорил мне, что редакция решила не публиковать этих стихов. Так или иначе — очень рад этому, девятому, по-моему, из опубликованных твоих стихотворений. Рад, что ты гуляешь сам с собой и сообщаешь, что «такой спутник мне никогда не может наскучить». Как бывает тяжёл этот спутник, как мучительно бывает общение с ним. Помнишь «...читая жизнь мою, я трепещу и проклиная, и горько жалуясь, и горько слезы лью». Ох, уж этот нескудный, он человек обоюдный, как с ним поведёшь себя. У меня совершенно нет нового, — «тишина немая и не слышно лая псов сторожевых». Кстати, Катя¹ рассказала мне, что Диккенс (она сейчас переводит его письма) разошелся с женой, когда у них было 10 детей. Пишу это без страха вызвать в ком-либо опасные мысли по этому случаю, так как знаю, что заразительны лишь дурные примеры...»

Письмо от 4 февраля 1963 года:

«...Меня порадовала заметка-статья Дорофеева² о тебе. Прочел ее несколько раз. Лучше не напишешь. Все вспоминаю, как ты часто повторял: «Хоть бы 5 строчек за 30 лет». Ну вот, наконец, и пришли эти строчки. Мне кажется, что они много помогут и в издательских делах, хотя, конечно, особого оптимизма проявлять не следует. Но есть в них и нечто большее, чем практическое их приложение, они хороши и важны сами по себе, важны в первую очередь для тебя, а не только для тех, кто прочтет их. И потому-то я радовался, читая и перечитывая их. Между прочим, я подумал, что в газете можно опубликовать отрывок из поэмы, если всю целиком они не решат дать...»

Гехту³ лучше, температура упала, врачи настроены оптимистически. Гехт стал проявлять интерес к внешнему миру, просил газеты. Но опасность еще не прошла полностью.

У меня ничего нового нет, молчавшие продолжают молчать...»

¹ Дочь Гроссмана.

² Я впервые в жизни читал на совместном заседании секций поэтов и переводчиков собственные стихи. Об этом «Литературная газета» опубликовала сочувственную заметку.

³ С. Г. Гехт — наш приятель, о котором я писал выше. Ему сделали операцию аденомы, но сказались восемь лет лагерей, он сильно ослабел, вскоре после операции умер в больнице.

Письмо от 13 февраля 1963 года:

«...Меня радует, что есть продвижение «Нестора»¹ в «Литер[атурной] России». Но, конечно, еще много, много препятствий впереди. Как со сборником — ты не написал мне, как Слуцкий² отнесся к нему и какой ему предсказывает гороскоп? Почему ты не пишешь, кто в Малеевке, мне всегда интересно читать твои перечисления с комментариями.

О своих делах не пишу, так как ничего значительного ни со знаком плюс, ни со знаком минус не произошло. Даже Анна Самойловна как-то неопределенно разок позвонила и сказала, что пока рассказа не возьмет, повременит. Меня это немного удивило, ведь прочесть его она во всяком случае могла, независимо от редакционной ситуации.

Берзко³ не подает признаков жизни.

«Сам себя» чувствую не очень хорошо, вновь подскочило давление. Был у меня вчера Райский — дон Померанцо все пишет и пишет».

Письмо от 21 февраля 1963 года:

«...Катя⁴ приехала вчера из Ленинграда. Там дело совсем плохо, у мужа ее сестры оказался рак, от операции врачи отказались, считают, что ничего не даст, его выписали из больницы. Представь, он сам хирург-онколог, но не понимает, что болен раком. Новости все такие печальные. Когда люди стареют, им кажется, что весь мир полон гипертонии, склероза, злокачественных опухолей, стенокардии. А было нам по двадцать лет, и казалось, что ничего, кроме триппера, нет на белом свете.

Анна Самойловна взяла рассказ у меня — шансов нет, мне кажется. Этот жанр определяется — для «редакционного чтения».

Пиши, когда приедешь. Тебе что, катаешься, как датский сыр в вологодском масле, кругом астрономы да Соколовы-Микитовы...»

В апреле дурные симптомы повторились. Врачи решили уложить Гроссмана в больницу. Накануне майских праздников его устроили в Боткинскую, в палату на двоих. Его соседом был политический обозреватель «Правды» Маринин, чуждый Гроссману, но отвлекавший его от тяжелых мыслей интересной информацией. Оперировать Гроссмана должен был опытный хирург-уролог Гудынский. Врач нам сказал, что болезнь запущена — рак почки, что он удалит почку, но не уверен, что нет метастазов. Перед операцией Гроссман чувствовал себя неплохо. Мы каждый день сидели на лавочке в больничном садике, Василий Семенович был какой-то тихий, примиренный. Раздражали его только больные, их грубость, пус-

¹ Речь идет о моей поэме «Нестор и Сария». «Литературная Россия» собиралась было ее напечатать, но после выступления Хрущева на выставке в Манеже ее отклонила. Поэма впервые напечатана в журнале «Время и мы».

² Поэт Б. А. Слуцкий решил отнести сборник моих стихотворений в издательство «Советский писатель». Этот первый мой сборник, «Очевидец», вышел в 1967 году.

³ Г. С. Берзко, литератор, впоследствии председатель комиссии по литературному наследию Гроссмана.

⁴ Е. В. Заболоцкая.

тые разговоры, чавканье за столом, — в общем, он уже не смотрел на таких людей, как раньше, «превозмогая обожанье».

Мы ему сказали, что у него нефрит, вещь неприятная, но не опасная, почка не действует, придется ее удалить. Он слушал настороженно, но верил, по крайней мере, мне показалось, что он нам верил. Посещали его Ольга Михайловна, Е. В. Заболоцкая, писатель А. Г. Письменный, дочь Катя. Один раз пришла приехавшая из Харькова в Москву первая его жена, Галина Петровна, он был этим недоволен.

Операция прошла благополучно. Гудынский сказал: «Может быть, обойдется». Через несколько дней я должен был срочно вылететь на две недели в Душанбе, я договорился с Е. В. Заболоцкой, что она мне будет подробно писать. Вот ее письмо от 11 мая 1963 года:

«...Васе разрешили встать на ноги, сделать несколько шагов и сесть в кресло. И сегодня его выкупали в ванне. Рассказывает, что в ванне он испытал блаженство, хотя очень боялся купаться. Вечером, при мне, он продемонстрировал свои достижения: прошел по палате к окну и, сидя в кресле, поужинал. Передвигается он медленно, с трудом, но старается без поддержки. Стало видно, как он похудел и какой у него плохой цвет кожи.

Девятого у него были три дамы — Анна Самойловна, Мариам Наумовна¹ и Асмик, — говорят, сильно шумели, обсуждали редакционные новости и сильно утомили его. Десятого долго не делали перевязку, и перевязка была в плохом состоянии. Вася говорит, что по лицам врачей он видит, что им не нравится его рана. По-прежнему из нее много выделений. Говорят, что теперь, когда он сможет сидеть и немного ходить, кровообращение станет лучше и все будет заметно улучшаться.

Объективно как будто все лучше, но он стал печальней, подавленной. Сегодня, когда впервые после операции подошел к окну, сказал: «Подошел вдохнуть воздух и посмотреть в окна онкологического института²».

Вася просил передать Вам сердечный привет. Мы собирались вместе писать Вам, но сегодня он так устал от путешествий, что не смог даже продиктовать несколько фраз...»

Из письма Е. В. Заболоцкой от 16 мая 1963 года:

«Дорогой Сема, пишет Вам бабушка. Внучка родилась вчера в 10 ч. 50...»

У Васи все хорошо, и, кажется, дело идет на поправку. Он выходит на улицу. Спускают и поднимают его на лифте, а ходит один без поддержки. Я застала его сидящим на скамейке на улице. Настроение у него получше, хотя и говорит, что ничто его не радует — ни весна, ни зелень, которую он так хотел увидеть...»

После выписки из больницы Гроссман заметно окреп. К нему вернулся хороший цвет лица. Можно было бы радоваться, если бы не знать о грозящей ему опасности. Мы каждый день гуляли вдвоем недалеко от дома, иногда по влечению, свойственному обоим, садились в трамвай и проде-

¹ М. Н. Черневич, переводчица с французского.

² Онкологический институт им. П. А. Герцена, рядом с Боткинской больницей.

ывали весь маршрут его длинный от начала до конца, наблюдая меняющихся пассажиров. Если против него сидели дети на руках у матерей, Гроссман строил им рожицы и дети смеялись. А иногда мы в такси отправлялись к речному вокзалу, сидели в парке, любовались рекой, пароходами. Со слезами в голосе он мне рассказывал, что молодой писатель Овидий Горчаков пришел к Гудынскому, предлагал для Гроссмана свою почку.

Кажется, в августе он прочел мне окончательный вариант повести «Все течет», — все эти месяцы, выйдя из больницы, над ней работал. Я уверен, что «Все течет» — новое слово в русской прозе. Ее незавершенность кажущаяся. Соединение художественных страниц с публицистической — результат обдуманного решения, а не поспешности, как полагают некоторые. Гроссман в этой повести рассказал о том, о чем до него никто не писал. Я никогда не видел ее напечатанную. Прототипы ее главных героев мне хорошо известны.

Ранней осенью с помощью Литфонда устроили Гроссмана в военном подмосковном санатории Архангельское. Он мне писал оттуда 11 сентября 1963 года:

«Здравствуй, дорогой Сема!

Вот я пишу тебе из санатория Архангельское, сидя в отдельной, не проходной комнате. Санаторий хороший, богатый, природы очень много, и вся она красивая — парк старинный, с огромными деревьями, под обрывом Москва-река. К красоте природы этносятся кино и бильярд, а особенно столовая.

Знакомых не видно, дух воинский, от коего я отвык с осени 1945 года. В первый же день очень много гулял, хороши на фоне зелени мраморные статуи — античные. Прелестна фигура 22-летней Юсуповой умершей — работы Антокольского. Куда Павлу¹ до дядзи... Уехал из Москвы в плохом, тяжелом настроении...»

Из письма от 16 сентября 1963 года:

«...Я тебе дважды звонил (отсюда можно, сюда нельзя), в пятницу, но телефон молчал...

Погода, к сожалению, день ото дня портится, немного донимает меня астма — вероятно, от сырости, большого количества зелени. Но не страшно, да и врачей тут много — медицина сильная... Хожу тут каждый вечер в кино, знакомых нет. Тут отдыхает Яблочкина². Не развлечься ли, не поухаживать за актрисой? Звонил Анне Самойловне, в «Неделе» меня похоронили, видимо...»

Из последнего письма ко мне — от 6 октября 1963 года:

«...Чувствую себя лучше, окреп, астма почти не тревожит в последние дни, похудел на 2 кило. Через 2—3 дня отправлюсь к Гудынскому. Отвык от больницы, и она стала пугать меня...»

¹ Поэт П. Г. Антокольский, племянник скульптора.

² А. А. Яблочкиной было в то время 97 лет.

Но в больницу он лег не сразу после санатория, а в начале зимы. Он стал очень плох, видно было, что не жилец. Причины раковых заболеваний мало исследованы, но нельзя игнорировать одну: тяжелое нервное потрясение. Не сомневаюсь, что он заболел оттого, что арестовали «Жизнь и судьбу». Он мог бы жить долго. Его отец умер, когда ему было за восемьдесят. В расцвете творческих сил Гроссман был выброшен, извергнут из литературного процесса. Накануне войны такая же судьба постигла другого корифея русской литературы — Михаила Булгакова. Истории болезни у них разные, а болезнь одна и та же. Вспомним, что и у Булгакова арестовали «Собачье сердце».

И вот Гроссман опять в Боткинской больнице. На этот раз он один в палате, а палата узкая, длинная, как гроб. Оперировать не стали: у больного нашли рак легкого. Дальнейшее его пребывание в больнице врачи сочли бессмысленным. Один из них сказал: «Пусть умрет в домашней обстановке».

Наступили тоскливые месяцы. Гроссман пробовал работать, читать. Он стал угрюм, раздражителен, уже не верил нашему обману, что поправится. Узнали мы, что в Баку имеется лекарство — какое-то производное от нефти, которое исцеляет от рака легкого. Через руководителя азербайджанских писателей Имрана Касумова удалось достать это лекарство. Гроссман стал его принимать под наблюдением врача, — улучшения оно не дало. Заговорили о другом лекарстве, французском, тоже якобы чудодейственном. Оказалось, что немного есть у Лили Брик. Она была знакома с Гроссманом, поделилась с ним заграничным снадобьем, но и оно не помогло. Профессор-консультант литфондовской поликлиники предложил попытаться лечить Гроссмана с помощью химиотерапии, для чего применялось экспериментальное лекарство, изобретенное профессором Эмануэлем.

Корпус химиотерапии представлял собою одноэтажное деревянное здание, расположенное на задворках первой Градской больницы. Гроссмана поместили в отдельной палате, за стеной лежал поэт Светлов, тоже умиравший от рака. Светлова навещали ежедневно десятки людей, было лето, многие из них дожидались очереди во дворе. К Гроссману приходило несколько человек — одни и те же. Он лежал на высокой кровати, слушал посетителей, старавшихся развлечь его всякими новостями, а в глазах его светился один вопрос: «Буду жить?» А он хотел жить, он опять стал верить нашему обману, что врачи обещают хороший исход.

Однажды, когда мы с ним остались наедине, он показал мне маленькую таблетку и спросил с безнадежной улыбкой: «Ну скажи, разве такая крохотуля может спасти человека?» Тогда я вынул из кармана стекляшку с нитроглицерином, высыпал на ладонь таблеточку и сказал: «Посмотри, эта еще меньше, а меня она спасает», — и я почувствовал, что мне удалось хотя бы на минуту успокоить Гроссмана, убедить его в пользе лечения, потому что он хотел, чтобы его убедили, хотел жить.

Беда не приходит одна. В это же время заболела раком моя мать. Ее положили в Яузскую больницу по Ярославской железной дороге. Приходилось делать большие концы от одной больницы до другой. Гроссман

спрашивал о моей матери, но как-то безучастно, внешний мир отделялся от него. Седьмого августа мы похоронили мою маму на Востряковском кладбище. Е. В. Заболоцкую поразила суровость еврейского обряда омовения покойницы (мужчины при этом не присутствуют). Екатерина Васильевна рассказала об этом Гроссману. Он слушал внимательно, но думал о своем.

Он скончался в ночь на 15 сентября 1964 года.

Начались похоронные хлопоты. Писателей у нас хоронят по шести (я сосчитал) разрядам. Первый, самый высший: с усопшим прощаются целыми делегациями в Колонном зале Дома Союзов. Так хоронили Фадеева. Разряд последний, шестой: гроб стоит в доме покойника (так хоронили в Переделькине Пастернака) или — еще хуже — в больнице (так возле морга больницы им. Склифосовского говорились речи над гробом А. Ахматовой). Гражданскую панихиду по Гроссману, как и по Платонову, провели — таково было решение — по пятому, предпоследнему разряду: в одной из больших комнат Союза писателей. Но и этого надо было добиваться: Союз писателей определяет не только обстоятельства жизни, но и обстоятельства смерти своих членов. Дать или не дать объявление о смерти в «Вечерней Москве»? Дать или не дать некролог в «Литературной газете»? И каких размеров? И какой тональности? С портретом или без портрета? Со статьей видного писателя под некрологом или без такой статьи? Кому выступить на гражданской панихиде? На каком кладбище — по степени могильной престижности — хоронить? Например, на Немецком кладбище теперь хоронят только тех писателей, которые 50 лет пробыли в рядах КПСС. Все надо тщательно обсудить, а в особых случаях посоветоваться с вышестоящими инстанциями.

Конечно, это суeta суeta, бесчувственному телу все равно где истлеть, но человек так устроен, что ему — живому — нужна такая суeta суeta, чтобы утихла боль утраты.

Хлопоты легли на меня. Союз писателей представляет собой министерство, и доступ к тем, кто все решает, не так-то прост. Я по старой памяти обратился за помощью к Николаю Чуковскому, который к тому времени высоко взобрался по бюрократической лестнице. Он сразу согласился мне помочь и повел меня к Тевекеляну. Не помню, кем был Тевекелян, то ли одним из секретарей московской писательской организации, то ли ее главным партийным. Будучи человеком восточным, он, в отличие от русского, на его месте умел казаться приветливым, сердечным, но я неплохо знал Восток.

С первых слов моего прежнего товарища в кабинете Тевекеляна я понял, что мне от Николая будет мало толку. Он сказал: «Видите ли, в последнее время я с Василием Семеновичем не встречался, мы разошлись», — и Тевекелян ответил с одобрением в голосе: «Да, да, я вас понимаю».

Я представил список писателей, выразивших согласие произнести речь на панихиде: Эренбург, Паустовский, Каверин. «А вы?» — спросил Тевекелян, обращаясь к Николаю Чуковскому. Тот отказался. Тевекелян не

настаивал. Записав три фамилии, он мне сказал: «Мы подумаем, а по остальным вопросам обратитесь к Воронкову, я ему позвоню, чтобы он сейчас же вас принял».

Воронков был оргсекретарем Правления так называемого Большого Союза. Я отправился к нему один. Николай сказал мне, что он больше мне не нужен. И был прав. Воронков — важный, вернее важничающий, чиновник — принял меня сухо, но я знал, что приветливость Тевекеляна равняется сухости Воронкова. Я положил на стол некролог, составленный мной и Эренбургом. «Оставьте, мы отредактируем и пошлем в «Литературную газету», — сказал Воронков. Я спросил: «Неужели Эренбурга надо в этом случае редактировать?» — «Его-то и надо», — отрезал Воронков и улыбнулся беззлобно. И я еще раз понял, что все эти функционеры, в сущности, крепостные актеры, играют каждый свою роль, чтобы умиловить господина, а не то — под ярем барщины, на скотный двор, понял и то, что под этими гольдониевскими масками надо искать человеческие черты.

На другой день рано утром мне позвонил Тевекелян, сказал, что гражданская панихида состоится в конференц-зале Союза писателей, что выступать будут Евгений Воробьев, Эренбург и Александр Бек, что в крематории могу выступить я, но я должен свою речь написать и предварительного показать ему, Тевекеляну, что отредактированный некролог уже отправлен в «Литературную газету» и в «Советскую культуру», что я должен принести как можно скорее портрет Гроссмана и текст своего выступления, что вопрос о кладбище будет решен позднее, это не к спеху, поскольку речь идет об урне. Я спросил, все ли должны принести ему тексты своих выступлений. Тевекелян не ответил, сказал: «Жду вас к двенадцати».

Я набросал текст своей речи, заехал к Ольге Михайловне за фотоснимком, отправился к Тевекеляну. Хотя я явился в назначенный час, Тевекеляна не было, его секретарша сказала, что она в курсе дела, фото Гроссмана надо оставить ей, о тексте моего выступления — ни слова.

На гражданскую панихиду пришло, на глаз, около ста человек, все больше литераторы и их жены, читателей было мало. Евгений Воробьев (книг его я не знаю) говорил сердечно, взволнованно. Чувствовалось, что он любит и почитает Гроссмана. Умную, серьезную речь произнес Эренбург. Он поставил Гроссмана в один ряд с крупнейшими писателями России. Он честно признал, что Гроссман в последние годы относился к нему крайне критически, перестал с ним встречаться. «В некрологе, — сказал Эренбург, — напечатано, что лучшие произведения Гроссмана останутся достоянием советского читателя. Но кто возьмет на себя право определять, какие произведения — лучшие?» Все поняли, что имел в виду Эренбург.

Речь талантливого Александра Бека произвела на меня и на друзей Гроссмана неприятное впечатление. Он крутил. Более того, как бы подмигивал слушателям: мол, смотрите, кручу. Он хотел сказать то, что думал о Гроссмани, а думал он о нем высоко и в то же время боялся, трепетал. Он как бы задним числом обелял покойника в глазах незримого ру-

ководства, забыв, что мертвому это уже не нужно. Литературное начальство представлял один Тевекелян, он же поехал с нами в крематорий, простые люди — в двух автобусах, — он в персональной машине.

В крематории я читал речь, как мне было велено, по записи. Среди прочего я сказал следующее: «Мы, читатели Гроссмана, уверены, что в ближайшее время будут изданы все его сочинения, как уже опубликованные, так и пока еще не опубликованные». Когда я произнес эти слова, Тевекелян при всеобщем молчании покинул зал крематория.

Родственники Гроссмана, Е. В. Заболоцкая и я хотели захоронить урну с пеплом на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой отца Гроссмана, близко от Беговой, где Гроссман жил долгие годы, близко от центра Москвы. Но Ольга Михайловна настаивала — и упорно — на Новодевичьем, самом престижном кладбище страны. Там похоронили Михаила Светлова, умершего почти в одно время с Гроссманом, и она хотела той же участи для останков своего мужа. Союз писателей отказался ходатайствовать о Новодевичьем: не положено.

В Москве на посту заместителя председателя Верховного Совета РСФСР находился кабардинский поэт Алим Кешоков, стихи которого я переводил. Впоследствии, в качестве главы Литфонда, он исключил меня и мою жену, поэтессу И. Л. Лиснянскую, из этой крайне полезной организации.

Но тогда мы с Кешоковым были в добрых отношениях, и с его высокопоставленной помощью удалось добиться разрешения захоронить урну с прахом Гроссмана на Троекуровском кладбище, за Кунцевом. И название звучное, и кладбище многозеленое, оно было задумано как филиал Новодевичьего. Там и стоит теперь гранитный бюст Гроссмана работы скульптора Письменного (сына писателя).

Рядом с Гроссманом покоятся Светлов (другой, не Михаил — цыганский писатель) и мать бывшего министра МВД Тикунова.

Доступ к Троекуровскому труден, автобус к нему идет от станции метро «Кунцево» нечасто и нерегулярно, в последние годы кладбище решили законсервировать, филиалом Новодевичьего стало находящееся поблизости Ново-Кунцевское кладбище, а Троекуровское запущено, там никого не хоронят. Безмолвный городок мертвых, редко посещаемый живыми. Читатели не знают, где лежит Гроссман...

По решению руководства московского отделения Союза писателей в комиссию по литературному наследству Гроссмана вошли Георгий Березко (председатель), Твардовский, Борис Галин, Александр Письменный и я. Предложили было председательское место Твардовскому, мы этого горячо желали, много значила бы его подпись под различными ходатайствами, но Твардовский, согласившись стать членом комиссии, от председательствования отказался, сославшись на свою занятость в качестве редактора «Нового мира». Кандидатуры Эренбурга и Паустовского, выдвинутые нами, были отклонены писательским руководством.

Березко имел те основания возглавить комиссию, что был хорошо знаком с Гроссманом, ценил и любил его талант, Гроссман посещал с ним

рестораны, ему импонировали светскость и непринужденность Березко в этих славных учреждениях. Однажды в машине приятельницы Березко мы поехали в Ясную Поляну, и Березко сказал у могилы Толстого: «У меня сейчас такое чувство, будто я целую край гвардейского знамени». К его литературной деятельности Гроссман относился насмешливо, но добродушно.

Поначалу комиссия работала довольно слаженно, даже энергично, особенно если вспомнить, что мы занимались литературным наследством автора арестованного романа. Что нам удалось? Опубликовать в журналах несколько рассказов Гроссмана, его дневниковые записи военных лет, «Добро вам» — увы, в искаженном виде. Не удалось главное: издать пяти-томное собрание сочинений, изъять из Лубянки и передать в ЦГАЛИ «Жизнь и судьбу».

Мы решили просить сталинградское (волгоградское) начальство о присвоении имени Гроссмана, как храброго участника великой битвы, одной из улиц или библиотек города, решили для этой цели отправить меня в Волгоград. Союз писателей не одобрил, видимо, решения комиссии, отказался оплатить командировку, я поехал за свой счет, добился приема у секретаря обкома по пропаганде Небензи, он знал произведение Гроссмана, обещал подумать о присвоении имени писателя одной из новооткрывающихся библиотек, но, видимо, хорошенько подумав, с кем надо посоветовавшись, отцы города отказались от этого намерения.

Большой урон нашей комиссии нанесли две смерти: Твардовского и Письменного, людей разной степени литературной авторитетности, но одинаково порядочных. То, что их не стало, я особенно остро почувствовал в один памятный день, когда мы собрались на очередное заседание в маленькой комнатке Дома литераторов. Я не могу сказать о себе, что отличаюсь интуицией, электрической силой предчувствия, во всех обстоятельствах жизни предпочитаю опираться на факты, но в тот день, пока мы рассаживались, в воздухе чудились отрицательные ионы, которые прыгали от Березко и Галина. Наконец Березко высказался, нервно и неуверенно, больше чем обычно заикаясь: «В моей голове не укладывается, — сказал он, — что писатель-патриот, каким я всегда считал Гроссмана, написал грязную, враждебную нам повесть «Все течет», теперь изданную за рубежом и прославляемую всяким охвостьем. Я предлагаю поместить от имени всей нашей комиссии письмо в «Литературной газете», в котором мы должны с гражданственным гневом осудить и самого Гроссмана, и буржуазных писак, его хвалителей, заявить, что считаем нашу комиссию распушенной». Галин присоединился к предложению Березко, тоже выразил недоумение — как это Гроссман, создавший нужные нашему народу произведения, написал клеветническую повесть, и добавил с надеждой, обратившись ко мне: «Может быть, не Гроссман ее написал? Вы читали?» Я ответил вопросом: «А вы читали? А вы, Георгией Сергеевич, читали?» Березко и Галин молчали, видно было, что они здорово напуганы.

Я спросил у Березко, получил ли он указания о письме в «Литературную газету» и о самороспуске нашей комиссии от секретариата москов-

ского отделения Союза писателей, в частности от секретаря по оргвопросам В. Н. Ильина. Выяснилось, что такого указания не было, Березко и Галин стремились опередить события, они были, как любил выражаться Платонов, — забегальщиками. «Ярость к врагам, — признался Березко, — не нуждается в указке».

Я сказал, что, как учит нас Лебедев-Кумач, пусть ярость благородная вскипает, как волна, однако я не понимаю тех, кто рассуждает о произведении, даже не прочитав его, что решение о роспуске нашей комиссии должно исходить от секретариата, а поскольку этого нет, мы обязаны спокойно продолжать работу, порученную нам секретариатом, — заниматься изданием и популяризацией литературного наследия Гроссмана.

Неожиданно меня поддержала сотрудница ЦГАЛИ Миральда Козлова. Я давно заметил, что она, как многие деятели такого рода, высказывается всегда толково, чуждается демагогии. Она сказала, что опубликование в «Литературной газете» предлагаемого Березко письма будет только на руку врагам, что мы должны сохранить Гроссмана как советского писателя, не отдавать его нашим недоброжелателям. Там, за рубежом, считают, что «Все течет» есть вторая часть романа, и путь продолжают так считать, хорошо, что ничего они не знают, пусть треплются.

Мы разошлись, не приняв никакого решения, но с того дня наши заседания прекратились. Березко понимал, что поступил гадко. Встретив однажды меня, он спросил: «Вы не подадите мне руки?» Я подал ему руку. Ничтожный, слабый, он мог бы в другом обществе быть приличным человеком. Комиссия наша распалась сама по себе, без указания сверху: Березко и Галин умерли, я вышел из Союза писателей.

Произведения Гроссмана перестали издаваться. Его имя все реже, хотя упоминалось в печати. Угасал читательский интерес к его книгам: ведь читатели читают то, что им дают. И вдруг приходит весть, что после многих лет заточения роман вырвался на свободу, что отдельные его главы напечатаны то в том, то в другом журнале. А полностью? Идут годы, о полном издании романа ничего не слышать. Молчат и радиоголоса. Знающие люди объясняют: роман большой, а капитализм есть капитализм, трудно найти издателя, пожелавшего рискнуть — вложить деньги в предприятие, не сулящее скорой прибыли. К тому же не каждому издательскому рецензенту роман может понравиться. Не завораживает никого и имя Гроссмана, даже на родине постепенно утратившее свою громкость.

Что думал по этому поводу я? Горькими были мои думы. Судьба романа Гроссмана как была связана с его жизнью, так и осталась связана с его смертью. Если такое великое произведение, как «Жизнь и судьба», десятилетиями томившееся в темнице, не может выйти к читателю на Западе, то Запад достоин слез и смеха, уважать его нельзя.

Я ошибался. Я забыл булгаковское правило — удивляться не тому, что трамваи не ходят, а тому, что трамваи ходят. И медленно, не сразу, мне на удивление, трамвай пошел. Умные, даровитые люди, всем сердцем любящие родную литературу, посреди трудностей своего эмигрантского бытия не пожалели усилий, чтобы найти бескорыстного издателя для Гроссмана и, найдя его, со всей мыслимой в таких необычных условиях

тщательностью подготовить книгу к печати, книгу, израненную на долгом и тяжелом пути от неволи к воле.

И вот роман напечатан. Пусть радиоголоса о нем не говорят или говорят скороговоркой и, кажется, нет понимания того, что произошло важное событие в духовной жизни России — изгнанной и неизгнанной, — время направлено в сторону правды, все станет, верил я, на свои места. Как чудно сказал один второстепенный русский поэт, Бог не устал, Бог чувствует вперед. Пусть с продолжительными, внезапными задержками, а трамвай ходит. Наконец он дошел до нас.

Разумеется, немногие на родине попали на его подножку, немногим удалось прочесть «Жизнь и судьбу», но из тех, кому это удалось, никто, насколько я знаю, не остался равнодушным к книге, ее художественную силу, величавость ее красоты, ее русскую боль, ее русскую правду приняли в свою душу все.

Запад есть Запад, он не торопился с переводом книги на языки своих наций. Да и то сказать, книга большая, в ней свыше сорока печатных листов, и повествует она о событиях сорокалетней давности, поневоле задумается издатель.

И все же книгу перевели, и прежде всего — на язык вечного романа, на французский. Говорят, во Франции она стала бестселлером. Какое счастье, какое возвышающее нас счастье! Когда я узнал об этом, сердце мое, больное мое сердце забилось по-молодому и слезы на глазах загорелись не старческие, а молодые, счастливые. Неужели мой друг оттуда, из элизиума, не видит, не радуется вольной поступи своего детища?

Вспоминается полное поэтической мысли, удивительное место из его романа:

«Сталинград перестал жить своей обычной жизнью — в нем умерли школы, заводские дехи, ателье дамского платья, самодеятельные ансамбли, городская милиция, ясли, кинотеатры... В огне, охватившем городские кварталы, вырос новый город — Сталинград войны... Каждая эпоха имеет свой мировой город — он ее душа, ее воля. Вторая мировая война была эпохой человечества, и на некоторое время ее мировым городом стал Сталинград... Мировой город отличается от других городов тем, что у него есть душа. И в Сталинграде войны была заключена душа. Его душой была свобода».

Таков, скажем и мы, Сталинград Василия Гроссмана, такова сияющая многоцветным огнем победа Гроссмана над духовно поверженным злом, победа свободы.

Соплеменники Стендаля и Бальзака, Флобера и Пруста хорошо понимают, что такое роман. И стоит прислушаться к французским критикам, когда они свои статьи, посвященные «Жизни и судьбе», озаглавливают так: «Война и мир» нашего времени», или «Великий русский роман», или «Титан в сердцеvine тьмы». Поразительные слова нашел Петру Думитриу, видимо, верующий католик. Он так глубоко проник в самую суть Гроссмана, что излишне спорить со второстепенными частностями. Читатель должен узнать эти поразительные слова, пусть в необработанном переводе:

«Гроссман писатель и ученый по натуре. Есть великий, потрясающий миг в духовной жизни человека науки: восторг перед грандиозным внутренним миром материи и одновременно перед загадочным соответствием между духом человеческим и таинственной реальностью Вселенной.

Тут Гроссман останавливается. Его герои тоже. Они — на пороге молитвы. Всего лишь один шаг остался на пути потрясающего восторга перед двойной тайной — тайной познания бездонной рациональности мира и тайной Бога, который есть Слов-Смысл, Логос, Бог-сын Иисус Христос. Всего лишь один шаг остался, но Гроссман этого не ведает.

Крайне важна рукопись Иконникова. Это — заповедь, философия Гроссмана. Скажем кратко: человеческая доброта, подземная, инстинктивная, слепая, непреодолимая. Христиане знают, что это адаре, на иврите — ахава, Любовь Бога, Любовь Христа, который сам есть не что иное, как Любовь, эта Любовь присуща человеку с первого дня творения.

Гроссман-Иконников не называет эту Любовь по имени. Хотя он еврей и русский, он слишком долго был марксистом-ленинцем, слишком долго был слепым... Невежество, предрассудки, глухота мысли. Он так и не узнал ни Христа, ни даже Будды, и еще меньше — их воплощение в миллиардах людей, следующих за ними. Однако я надеюсь, что Христос сжалится надо мной и простит мне, если я осмелюсь сказать: Гроссман был недалеко от Царства Божия».

Эти слова принадлежат человеку, который лично не знал Гроссмана, никогда его не видел, но постиг его сущность гораздо глубже, чем многие, видевшие и знавшие Гроссмана. В русской — да и в мировой — литературе не так-то просто найти писателя, чей нравственный идеал был бы сопряжен его человеческим чертам, был бы с ним слит. Мы это не можем сказать даже о Пушкине, даже о Толстом, основателе одного из направлений христианства. В России полное слияние человеческих черт с нравственным идеалом художественных творений я нахожу только у Короленко, Чехова, Гроссмана. Но первые два жили во времена, которые кажутся нам баснословно чудными, а не теперь, когда простая житейская порядочность, вследствие своей редкости, воспринимается как нечто удивительное, сверхпрекрасное.

Может быть, поэтому и считали Гроссмана неуживчивым, угрюмым, резким, что не был он похож на своих приятелей-писателей, год за годом терявших человеческое начало (такие, как Платонов, — исключение, потому-то так трудно сложилась его судьба). Никто не требовал от писателей, чтобы они, как некогда Пушкин, написали послание заключенным во глубине сибирских руд, но как могли эти художники слова печатно заявлять о том, что надо строго покарать их собратьев, исключить, осудить, заточить, изгнать? Никто не требует от академиков, чтобы они, как некогда Чехов, протестовали против того, что преследуют их собрата, но почему они трусливо отказываются от общения с ним? Потому что они, эти художники слова, эти академики — темные, в них нет света жизни.

Через три года после смерти Гроссмана я написал стихотворение «Живой»:

Кто мы? Кочевники. Стойбище —
Эти надгробья вокруг.
На Троекуровском кладбище
Спит мой единственный друг,
Над ним, на зеленом просторе,
Как за городом — корпуса,
Возводятся радость и горе,
Которые, с нелюдью в споре,
Творил он и тысяч историй,
И снять не успел он леса.
Словно греховность от святости
Смертью своей отделив,
Спит он в земле русской кротости,
Сам, как земля, терпелив.
И слово, творенья основа,
Опять поднялось над листвою,
Грядущее жаждет былого,
Чтоб снова им стать, ибо снова
Живое живет для живого,
Для смерти живет неживой.

Вслед за верующим румыном я прошу у Господа простить меня, если
скажу, что Гроссман был святым.

1984

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Книгу, которую читатель сейчас прочел, я написал пять лет назад, но мне кажется, что прошло не пять лет — прошла целая эпоха. Моя жизнь сложилась так, что ее, эту жизнь, новая эпоха гласности и демократии наполнила особенным светом. Я должен об этом рассказать, чтобы прояснилась загадка опубликования романа В. С. Гроссмана.

Я поместил несколько стихотворений, вполне безобидных, в машинописном альманахе «Метрополь». Авторы альманаха подверглись жестоким нападкам Союза писателей. Двух самых молодых, наименее защищенных, исключили из Союза. В знак протеста против расправы с молодыми я и моя жена, поэт Инна Лиснянская, вышли из Союза писателей.

На нас обрушилась лавина преследований. Исключили из Литературного фонда, выбросили из поликлиники (что в отношении меня было противозаконным актом, так как ветеранов войны из поликлиник не выбрасывают), перестали печатать не только наши оригинальные произведения, но и переводы, получившие в свое время высокую оценку на страницах печати. Были и другие прелести: угрозы по телефону, требования покинуть родину, посещения квартиры в наше отсутствие с нарочито оставленными следами, вызовы на комиссии, на которых с нами разговаривали компетентные лица.

В этих условиях я не мог сообщить о книге Гроссмана то, что собираюсь сделать сейчас.

Как я уже писал, Гроссман предложил «Жизнь и судьбу» журналу «Знамя» летом 1960 года. Наступила осень, а от редакции ни ответа, ни привета. Однажды, а дело уже приближалось к зиме, Е. В. Заболоцкая и я сказали Гроссману, что хорошо бы один машинописный экземпляр сохранить в безопасном месте, Гроссман внимательно, долго и хмуρο посмотрел на нас и спросил:

— Вы оба опасаетесь чего-то дурного?

Не помню, что ответила Екатерина Васильевна, а я сказал примерно следующее:

— Во время войны, когда Англию бомбили немцы, Черчилль говорил в парламенте: «Худшее впереди».

— Что же ты предлагаешь?

— Дай один экземпляр мне.

Так за полгода до ареста романа в моем распоряжении оказались три — по числу частей «Жизни и судьбы» — светло-коричневые папки. Обдумав дело со всех сторон, я решил упрятать папки в одном верном мне доме, далеком от литературы.

В больничной палате, незадолго до смерти, Гроссман сказал мне и Екатерине Васильевне:

— Не хочу, чтоб мой гроб выставляли в Союзе писателей. Хочу, чтоб меня похоронили на Востряковском еврейском кладбище. Очень хочу, чтобы роман был издан — хотя бы за рубежом.

Первые два завещания не были выполнены, потому что Ольга Михайловна хотела для мужа и панихиды в Союзе писателей, и более элитарного кладбища. Третье завещание моего друга я выполнил, хотя и не сразу.

Читатель, может быть, обратил внимание на такие строки моей книги: «Было бы лучше, если бы люди, каким-то образом сохранившие роман, нашли в себе смелость позаботиться о рукописи раньше».

Это был упрек самому себе.

И все же в конце 1974 года я принял серьезное решение. Я обратился к Владимиру Николаевичу Войновичу с просьбой помочь мне опубликовать роман Гроссмана. Я выбрал для этой цели Войновича потому, что был с ним в дружеских, да еще и в соседских отношениях и знал, что у него есть опыт печатания за рубежом.

Войнович охотно согласился. За тремя папками отправилась Инна Лиснянская (я благодарзумно считал, что мне туда ехать не надо) и привезла их Войновичу.

Войнович решил сфотографировать машинопись. Первая попытка оказалась неудачной. Но Войнович, как всегда, был настойчив, попытку повторил. Позднее я узнал, что он прибег к помощи Е. Г. Боннэр и А. Д. Сахарова.

Роман вырвался из оков.

Впоследствии, когда роман был издан на русском языке, выяснилось, что по техническим причинам оказались пропуски — иногда отдельных слов, фраз, иногда целых страниц. Пропуски эти — результат несовершенных фотоснимков и ни в коем случае не касались идейного содержания романа.

Пять лет зарубежные издатели русской литературы отказывались публиковать «Жизнь и судьбу», — как мне стало известно, потому, что, по их мнению, роман о второй мировой войне теперешним читателям будет неинтересен, а о лагерях уже написал Солженицын. Наконец владелец швейцарского некоммерческого издательства «L'Age d'Homme» («Возраст человека») опубликовал роман на русском языке небольшим тиражом.

Не сразу роман привлек к себе внимание переводчиков и книгоиздателей на европейских языках. Пионерами, как я уже писал, оказались фран-

цузы. Потом, после небывалого успеха книги во Франции, появились переводы на английском, немецком языках и, кажется, на испанском.

Редактор журнала «Октябрь» А. А. Ананьев, ознакомившись с романом, увидел, что книга эта великая. С необычайной смелостью, я бы сказал, с литературной дерзостью он решил напечатать «Жизнь и судьбу» в своем журнале. Благодаря А. А. Ананьеву книга Гроссмана стала национальным достоянием советских читателей.

Будучи членом новосозданной комиссии по литературному наследству Василия Гроссмана, я сдал А. А. Ананьеву как председателю комиссии все три папки. Теперь читатель получит уже полюбившееся ему произведение без пропусков.

Недавно, 12 декабря прошлого года, когда мы в семье Гроссмана отмечали день его рождения, я узнал, что черновик романа Гроссман отдал своему другу (ставшему и моим другом) В. И. Лободе. Мне неизвестно, как и когда это произошло, Гроссман об этом мне не сказал — и правильно сделал. В те годы человек не должен был знать больше того, что ему знать полагалось.

Я увидел этот черновик: машинопись, густо исправленная хорошо знакомым мне мелким почерком. Сопоставление некоторых — на выбор — страниц с сохраненным мною беловиком показывает, что черновик окончательный.

9.1.1989

СЕМЕН ИЗРАИЛЕВИЧ ЛИПКИН

Вторая дорога

Литературно-художественное издание

Редактор Т. Д. Дажина
Технический редактор В. В. Гурьянов
Корректор О. В. Борисова

ЛР № 07190 от 16 октября 1991 г.

Подписано в печать 25.04.95. Формат 60х90 ¹/₁₆. Бумага типографская. Гарнитура «Таймс».
Печать высокая. Усл. печ. л. 17,0. Уч.-изд. л. 20.00. Заказ № 162

Редакционно-производственное агентство «Олимп».
103031, Москва, Неглинная ул., 18/1.

Оригинал-макет изготовлен в ТОО «Компания ДЛШ».
Москва, Народная ул., д. 14, оф. 63, тел. 912-05-34

Отпечатано в тип. ИПО «Полиграф». 125438, Москва, Пакгаузное ш. 1

